

ISSN 0132-2036

ЮНОСТЬ

8 '90





Нина ДАНИЛЕНКО г. Кишинев. «Сон». Пастель.

Смотрите третью страницу обложки.

ЮНОСТЬ

8 (423)

'90



ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЖУРНАЛ
ОСНОВАН
В 1955 ГОДУ

Главный редактор
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Редакционная коллегия:

Анатолий АЛЕКСИН

Татьяна БОБРЫНИНА

Борис ВАСИЛЬЕВ

Юрий ЗЕРЧАНИНОВ

Натан ЗЛОТНИКОВ

Фазиль ИСКАНДЕР

Римма КАЗАКОВА

Кирилл КОВАЛЬДЖИ

Олег КОКИН

Александр ЛАВРИН

Виктор ЛИПАТОВ

(заместитель главного редактора)

Игорь ОБРОСОВ

Мария ОЗЕРОВА

Юрий ПОЛЯКОВ

Виктор РОЗОВ

Юрий САДОВНИКОВ

(ответственный секретарь)

Александр СЕРЕБРОВ

Евгений СИДОРОВ

Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ

Издательство ЦК КПСС «Правда»
Москва

Игорь БАСЫРОВ СКАЗКА О НЕЗДЕШНЕМ ГОРОДЕ

Повесть



Игорь БАСЫРОВ родился в 1967 г. в Новгороде. Учился в МИРЭА и в военном училище, работал токарем на заводе. Живет в Москве. Публикуется впервые.

Дебют в
«Юности»

Рисунки Георгия Мурышкина
Фото Леонида Шимановича

«В одном труднодоступном, нездешнем городе жили-были люди...»

Написав эту фразу, я подумал: а стоило ли ее писать? Ведь читателю может показаться, будто я сочиняю сказку. И, с одной стороны, он будет прав, потому что того, о чем я рассказываю, никогда не было. А с другой стороны, кто знает... В конце концов такова, наверно, природа любой сказки. Ведь если Конька-Горбунка никогда не было в реальности, то это совсем не значит, что его не было вообще...

Итак, в одном труднодоступном, нездешнем городе... Но что за город? Откуда ему взяться на карте мира, вдоль и поперек исчерченной следами пытливых человеков?... Чтобы вопросы эти не мучили моего читателя, приведу краткую историческую справку.

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА.

Нездешний город был основан в незапамятные времена, но поначалу находился в другом месте. На нынешнее место его перенесли лет тридцать или шестьдесят тому назад. А до того в течение долгих веков он стоял километрах в двадцати севернее, на возвышенности. Такое географическое положение приносило городу немало бед, ибо со всех сторон он обдувался различными ветрами. В течение года не было ни одного тихого дня, и если северный и южный ветры приносили с собой лишь холод или тепло, а больше ничего не приносили, то западный и восточный несли горожанам массу несчастий. Вместе с западным ветром приходило лихорадочное оживление. Жизнь в городе начинала пульсировать с удвоенной силой. Целыми днями люди носились как угорелые, не помня ни о чем, кроме главной задачи дня, ночью на два-три часа забывались непрочным, тревожным сном, затем вскакивали и мчались дальше. В это время облик города резко менялся: ломались старые постройки и возводились новые; тот, кто раньше держал лавку, принимался за разведение гороха, и наоборот; трудоспособная часть населения запруживала широкие улицы, беспрестанно сталкиваясь друг с другом, о чем-то договариваясь, ссорясь и заключая перемирие; извозчики выходили на центральные площади и лепили из алебаstra автопортреты в натуральную величину, в то время как их лошади одиноко и бессмысленно ржали в кривых переулках. Лошадей кормили с рук добрые бабушки. Среди историков существует мнение, что кипучая деятельность при порывах западного ветра вполне могла бы привести обитателей города к Высшему Смыслу, благо головы у них варились неплохо, но ветер менялся, на смену западному приходил восточный. При первом же его порыве цепкая усталость охватывала людей проволочными сетями, валила их с ног. Город мертвел. Расцветившая силой воображения сухой исторический текст, нетрудно представить, как одинокий путник, шатаясь на подогнутых от усталости ногах, некоторое время шел, перешагивая через тела спящих прямо на мостовой людей, затем падал среди них и предавался всеобщему покою. Так проходило несколько суток. Днем уснувшего пекло горячее солнце, ночью освежала холодная луна. Светила безошибочно сменяли друг друга, с недоумением взирая на непонятный город, и только забытые извозчиками голодные лошади беспомощно ржали, запрокидывая головы и обращаясь к своему гривастому богу.

Постепенно люди просыпались, встряхивали головами и расходились по домам. Пока они медленно

тащились по улицам, казалось, что город оживает, но проходил час-другой, и вновь одинокий ветер гулял по пустым площадям, обдавая их мелкой горячей пылью. Люди запирались в своих домах и целыми днями пили чай, перекидываясь ленивыми словами, а по ночам скрывались в объятиях жен. Так тянулось до очередной перемены ветра.

Лишь северный и южный ветры, как уже было замечено, приносили с собой дыхание нормальной жизни, и тогда у жителей Нездешнего города все было в меру, они с ужасом вспоминали кошмар последней лихорадки, весельчаки складывали о ней анекдоты, а извозчики ловили одичавших лошадей и запрягали их в свои повозки. Но, прежде чем приступить к работе, они ехали на центральную площадь, и каждый из них перевозил скульптурный автопортрет в свой палисадник. Эта традиция вызывает у ученых особый интерес, ибо таким образом, по их мнению, сама собой происходила профилактика культа личности.

Конец эпохе ветров и начало великому переселению на теперешнее место, в низину, положил случай почти анекдотический. Исторические хроники так излагают его содержание. В пору западного ветра один человек решил снести свой дом и построить на его месте пекарню для выпечки французских булочек (какой-то путешественник подарил ему рецепт; надо сказать, что в Нездешнем городе никто никогда не пробовал французских булочек, и человек этот рассчитывал иметь немалую выгоду от задуманного предприятия). Он взялся за выполнение своего проекта с энергией, присущей в эту пору всем жителям города. Через некоторое время пекарня была готова и выдала своему счастливому обладателю первую продукцию. Новоявленный пекарь помчался в магистрат, чтобы договориться о сбыте, но, к несчастью, переменялся ветер. С востока потянуло мертвящей расслабленностью, герой наш перешел с бега на шаг, потом на медленный шаг и в конце концов заснул, лежа на мостовой. Как водится, проспал он несколько суток, проснувшись, размял затекшие конечности и поплелся домой, мечтая о чашке чая, домашнем уюте и ласковой жене. Каково же было его отчаяние, когда вместо дома он обнаружил остывшую пекарню. Человек впал в состояние, близкое к трансу, пустился бродить по пустынным улицам, бормоча под нос бессмысленные фразы, и, скорее всего, сошел бы с ума от неприкаянности, если бы восточный ветер вновь не сменился западным. Когда город только-только начал оживать, незадачливый предприниматель умчался в неизвестном направлении, что ничуть не удивило обитателей Нездешнего города, поскольку такое поведение было нормально для поры западного ветра.

Прошло несколько дней, и город был потрясен страшной силы взрывом. Пекарня для выпечки французских булочек взлетела на воздух, разрушив множество соседних строений и покрыв близкие улицы налетом белой муки, вырвавшейся на волю из тесноты кладовых. По счастливой случайности жертв не было. В тот же день с небес обрушился невиданной силы ливень, плотной стеной оградивший всю округу от воздействия всяких ветров.

Как сообщают хроники, подрывник был арестован, но суд присяжных оправдал обвиняемого, а сразу после суда стало очевидно, что дальше так жить невозможно. Было принято кардинальное решение о переносе города в низину, куда не мог залететь ни один, даже самый шальной, ветер.

Вот с той поры и спрятался Нездешний город в Долине Безветрия. Жизнь успокоилась, люди перестали бросаться из крайности в крайность, зажили чинно, спокойно, без вызова. Чтобы

избавиться от психологических атавизмов, люди вознесли над собой Канон. Канон — это свод правил, единогласно принятый воодушевленными переселением в низину нездешнегородцами. Он объявлял предосудительной всякую излишнюю активность в жизненных проявлениях, а также излишнюю пассивность в оных. Измученные бесконечными ветрами люди считали свой Канон великим даром свыше. Здесь позволю себе привести еще один анекдот. Один бывалый нездешнегородец рассказал землякам, что где-то очень далеко, за морями, горами и пустынями, есть удивительная страна. Ее жители проводят свободное время в рассматривании какого-либо незначительного предмета, например, камня или собственной ноги. Даже глаза у них с годами становятся уже от сосредоточенности. «Люди эти достигают невиданных успехов в своей общественной и хозяйственной жизни», — утверждал рассказчик. Послушав его, нездешнегородцы сдержанно покачали головами, не особо доверяя образу жизни иноземцев после происшествия с французскими булочками. Но в глубинах их душ незаметно для них самих родилась искренняя симпатия к далеким узкоглазым людям. На короткий период у нездешнегородских женщин даже появилась мода носить маленькие прищепочки у краешка глаза. Но эта мода не прижилась, поскольку ходить с проколотыми ушами и заземленной кожей было неприятно.

Коротко о современном положении. В настоящее время Нездешний город процветает под сенью Канона. Ни одно движение воздуха не просачивается на его мирные улицы. Есть, правда, некоторые неудобства в обволакивающей город духоте, но горожане считают ее необходимой и сносной данью, уплачиваемой за благоденствие. Вера людей в незыблемость Канона безгранична, что, впрочем, не мешает им вносить в его текст сообразные с течением жизни дополнения. Так, например, запрещены любые устройства, вызывающие колебания воздуха.

Мироощущение среднестатистического горожанина оптимистично. У Нездешнего города есть одна особенность. Обычная жизнь города вследствие неподвижности атмосферы переплетается с жизнью иной, нездешней, как сам город. Ночью горожанам снятся сны. В этом нет ничего удивительного, они снились им и раньше, но тогда на рассвете сны обычно уносились ветром. Сейчас ветра нет, и сны остаются. Они плавают над городом и создают свой особый мир сновидений. И чем дальше, тем теснее срастается этот мир с городом, образуя невиданный реально-иллюзорный мегаполис. В нем явь становится сном, а бывает и так, что сны становятся явью. Действительность перетекает из одного состояния в другое, и как-то постепенно случилось так, что Канон материализовался. Это произошло лет десять или сорок тому назад. Канон принял форму чего-то огромного и человекоподобного, завис над городом в прозрачном океане сновидений, тараща выпуклый мутный глаз. Впрочем, материализация идей случается в Нездешнем городе крайне редко, поскольку запрещена Каноном.

Таковы основные черты истории и современности Нездешнего города на тот момент, с которого начинается наш рассказ. Возможно, я упустил из виду какие-то детали и нюансы, поэтому оставляю за собой право вносить некоторые дополнения по ходу дела. Ну, а теперь самое время перейти к сути.

2.

Переулок был кривой, обшарпанный и носил название «проспект Великого Переселения».

Впрочем, здесь было тепло, тихо, и уютная кривизна создавала впечатление патриархальности быта. Приземистые двухэтажные домишки, крытые черепицей, ласково смотрели друг другу в окна и почти соприкасались открытыми дверями. В плане переулочек имел форму буквы «Г» с приделанной снизу бессмысленной закорючкой, создававшей ужасные трудности при передвижении. Зато верхняя палочка фактически была отделена от переулочной неразберихи. Здесь стояли три двухэтажных домика.

Надо сказать, что жители проспекта Великого Переселения очень гордились названием своего переулка. Они считали, что название превращает их в узелки всеобщей связи времен, а шутники прибавляли: и народов. Прибавляли шепотом и с улыбкой; шепотом, потому что Канон не позволял шутить такими вещами, а с улыбкой оттого, что горожане сильно сомневались в существовании других народов, кроме народа, населявшего Нездешний город. Возможно, где-то существовали иные племена, но они жили так далеко отсюда, что их как бы и вовсе не было. Сами горожане назывались двойко: в просторечии — нездешнегородцы и официально — канониры (то есть следующие великому и справедливому Канону). Канониры-нездешнегородцы наделяли друг друга латинскими именами, из чего я заключаю, что на самом деле они были римлянами. Однако говорили они по-русски; это наводит меня на мысль, что я ничего не понял в их этногенезе.

Итак, на короткой палочке буквы «Г» жили: Циркулус, Симплициссимус, Табулус, Квипроквокус и Лапус с женами и детьми. Нет, виноват, ко времени начала нашей истории Квипроквокус жил уже без жены. Но о каждом по порядку.

Циркулус был кругл и добродушен. Может быть, даже более добродушен, чем кругл. Одним словом, он был добродушен беспредельно. Это добродушие очень мешало ему в жизни. Он занимался садоводством и огородничеством, выращивал вкусные огурцы и красивые тюльпаны. Огурцы он продавал на рынке, а тюльпанами усыпал свои сновидения. Я уже говорил о том, что сновидения занимали очень важное место в жизни Нездешнего города, но для Циркулуса они были важны вдвойне. Дело в том, что Циркулус был женат. Женат на женщине из своих снов. Да, не удивляйтесь, брак был официально зарегистрирован в городском магистрате. Циркулус встретился со своей будущей женой во сне. Он видел ее недолго и успел только узнать, что зовут ее Дормия. Сон настолько понравился ему, что на следующую ночь встреча повторилась. Прошло какое-то время, и Циркулус понял, что это судьба. Ради своей судьбы он и занялся разведением тюльпанов. Судьба благоволила ему, но, когда он впервые заикнулся о женитьбе, она пришла в ужас.

— Твои родители никогда не благословят этот брак, — сказала Дормия.

Но у Циркулуса не было родителей, и, узнав об этом, она согласилась. Циркулус был рад безмерно, ведь, чтобы подольше видиться со своей избранницей, он готов был спать целыми сутками и не представлял, как он будет жить, если Дормия не согласится стать его женой. Но, к счастью, брак был заключен, и медовый месяц Циркулус провел в летаргическом сне. В положенный срок Дормия родила ему очаровательных двойняшек, и не было на земле отца и мужа, более счастливого, чем Циркулус.

Когда дети немножко подросли, они полюбили игру в прятки. Но, сыграв с ними несколько конов, Циркулус стал избегать этой игры. Он постоянно проигрывал, и ему было обидно. Он придумал для своих детей другую игру. Игра называлась

«путешествие». Циркулус садился в мягкое кресло, закрывал глаза и принимался мечтать. Он вызывал в своем воображении самые фантастические страны, самых удивительных волшебников и чудовищ и сочинял прекрасные сказки. При этом он непременно помещал детей в придумываемые им истории, даря им эффект прямого присутствия. Дети с наслаждением сражались с чудовищами, бродили по неведомым дорожкам и спасали попавших в беду принцев и принцесс. А фантазии Циркулуса становились все более изощренными, он все глубже погружался в придуманную им самим игру. Он уединился, почти перестал видиться с друзьями, и если выходил из дома, то только на рынок, чтобы продать партию огурцов. Но зато не было во всем Нездешнем городе детей счастливее, чем его дети.

Ну так вот. Однажды вечером семейство Циркулусов сидело дома и играло в «путешествие» (Дормия тоже обожала эту игру). На «огонек» к ним забежал сосед Квипроквокус. Он сел в уголке и стал наблюдать за игрой. По комнате носились обрывки мечтаний, цельного образа для постороннего глаза никак не складывалось. Квипроквокус следил, как вокруг сидящего с закрытыми глазами Циркулуса из воздуха неожиданно возникают то голова ребенка, то королевская мантия, то нога жены. Квипроквокусу стало скучно.

— Послушай, Цирк, тебе не надоела такая жизнь? — громко спросил он.

Циркулус открыл глаза. Было слышно, как Дормия с детьми вышла из комнаты, осторожно прикрыв за собой дверь.

— Нет, — ответил Циркулус лениво и с досадой.

— Не понимаю тебя, — претенциозно заявил Квипроквокус, закидывая правую ногу на левую.

— А что бы ты сделал на моем месте?

— Не знаю, Цирк, что-нибудь бы да сделал... Хотя бы вывез на рынок тюльпаны, а огурцы бы закинул в сновидения. Там ведь тоже питаться нужно. Не представляю себе, как твоя жена живет на одних тюльпанах.

Циркулус презрительно взглянул на своего соседа. Квипроквокус подошел поближе.

— Нет, ей-богу, Цирк, сделай так только один всего разочек, по-соседски тебя прошу. Я поспорил с одним человеком. Если завтра утром на рынке будут огурцы, а не тюльпаны, я должен буду отдать ему очень много денег, а у меня их нет. Выручи, брат, ну что тебе стоит?

И Циркулус согласился.

Утром следующего дня на проспекте Великого Переселения появилась огромная повозка, доверху набитая тюльпанами. Поплутав немного в извилинах проспекта, она выехала на длинную и узкую улицу Доблестных Канониров и медленно поплыла к рыночной площади. Циркулус сидел на козлах, а Квипроквокус бежал впереди и сзывал людей пронзительным криком:

— Самая красивая повозка во всем Нездешнем городе! Все на рынок! Невиданная в нашем городе торговля! Доблестные канониры, не упустите свой шанс!

В сущности, предприятие в рекламе не нуждалось, а личностью глашатая доверия не вызывала. Квипроквокус был известен в городе как человек пустой и никчемный. На него никто и не обращал внимания, однако он, ничуть не смущаясь этим обстоятельством, продолжал оглушать прохожих воплями. Толпа же собралась вокруг повозки Циркулуса, расхваливая невиданный товар, и Циркулусу пришлось начать торговлю, не доехав до рынка. Надо сказать, что в Нездешнем городе многие выращивали цветы, но никто не торговал ими. Просто не было традиции. Поэтому идея Квипроквокуса была обречена на успех.

За неделю Циркулус выручил столько денег, сколько не получал раньше за год. Город был засыпан тюльпанами, а сны Циркулуса — огурцами. Игра в «путешествие» теперь приобрела ярко выраженную огуречную направленность. Змеи Горынычи, Дракулы и Кошчи Бессмертные давились зелеными хрустящими плодами. Все бы хорошо, но вскоре начались серьезные неприятности. Огурцы Циркулуса стали проникать в сны других нездешнегородцев, а затем угрожающе заполнили все пространство сновидений. Ведь сны горожан составляли единую систему, накрепко связанную с реальной жизнью города. Огурцы теперь снились всем — влюбленным юнцам и дряхлеющим старцам, базарным попрошайкам и respectable работникам магистрата. Кумушки, встречаясь утром на базаре, судачили так:

— Как спалось, кума?

— И-и, милая, какой там сон? Вся голова огурцами набита!

В конце концов возникла угроза того, что неконтролируемая масса огурцов вытеснит из мира сновидений Канон. И Канон возмутился! Ворочая мутным взглядом, он объявил несчастного Циркулуса персоной нон грата. Одиозный огородник был арестован. Что касается Квипроквокуса, то он укрылся на окраине города у какой-то путанки, благо его никто и не думал искать.

3.

— Глубокоуважаемые присяжные заседатели! Дорогие канониры! Вы собрались сегодня здесь, чтобы оценить проступок огородника Циркулуса. Нет смысла излагать суть его провинности, о ней говорят все обитатели нашего с вами замечательного и неповторимого города. — Адвокат Дефендиус перевел дух и сделал глоток из стакана. — В силу долга и убеждения я хочу доказать вам, доказать общественному мнению, что проступок этот не так уж и страшен и не заслуживает слишком сурового наказания. Не к милости зываю я, но к справедливости!

Обвинение сформулировано сурово и бескомпромиссно: подрыв авторитета великого Канона. Нужно ли говорить о том, что для нас с вами означает Канон? Канон, избавивший нас от зубодробительных передряг эпохи ветров; Канон, обеспечивший благоденствие и процветание нашему прекрасному городу! И что должен чувствовать добропорядочный и законопослушный канонир, слыша страшные слова обвинительного заключения? В воображении законопослушного и добропорядочного канонира возникает образ кровавого злодея, злоумышляющего на благоденствие честных канониров и ехидно щерящегося на их маленькие, вполне простительные слабости. Но задумывался ли кто-нибудь о том, что возникновение такого образа представляет собой страшную опасность? Мне ли объяснять вам, что означает подобный образ для нашего города, не одиночный образ, говорю я, а образ, возникший одновременно в головах тысяч канониров? Кем бы ни был на самом деле несчастный торговец, этот независимый от него образ грозит занять доминирующее положение в пространстве сновидений. И что тогда будет с нами? Я спрашиваю, что тогда будет с нами? — Адвокат сделал решительную паузу. — Я защитник, но сегодня я обвиняю. Я обвиняю прокурора в попытке сотворения угрозы для благоденствия Нездешнего города.

По залу прокатился сдержанный гул. Циркулус сидел на скамье подсудимых, отрешенно рассматривая барьер. Никто не заметил, как открылась боковая дверь и в зал суда ввели бледного, взъерошенного Квипроквокуса. Заметил это лишь адвокат. Он удовлетворенно кивнул и продолжил свою речь.

— Посмотрите на торговца Циркулуса. — Адвокат простер правую руку к подсудимому. Циркулус поднял глаза и тут же опустил. — Разве похож он на злоеущий образ, нарисованный прокурором? Вот сидит он перед вами, тихий, добрый семьянин, добропорядочный канонир, по случайности, я повторяю, по случайности попавший в эту нелепую переделку. Разве не говорит в пользу обвиняемого тот факт, что женился он на женщине из мира сновидений? Не говорит ли это о возвышенности натуры Циркулуса? Кто из сидящих здесь может сказать о себе, что совершил поступок, аналогичный по возвышенности поступку Циркулуса? Обвиняемый зарекомендовал себя как образцовый семьянин, имеет двух детей...

— Как это он умудрился детей-то прижить с привидением?

— Попрошу соблюдать тишину! — Председатель суда постучал колотушкой по столу. Адвокат снисходительно обвел зал глазами. — Как вы видите, уважаемые канониры, не все из присутствующих способны хотя бы понять поэтическую душу Циркулуса. И вот его, этого тонкого, возвышенного человека, хотя бы представить кровавым злодеем, для него, для этого нежного, оранжерейного цветка, взращенного в благодатных условиях нашего великого города, прокурор требует смертной казни. А подумал ли высокочтимый прокурор о том, что расстрел для Циркулуса означает также расстрел для его жены и детей, расстрел в буквальном смысле, поскольку они существуют исключительно в снах обвиняемого?

Адвокат гордо возвышался над притихшими присяжными. Циркулус поднял глаза над барьером. В них впервые блеснула надежда.

— Хочу коротко остановиться еще на одном обстоятельстве. — Заученным усилием адвокат спрятал выпиравшее наружу торжество и деловито пошелестел бумагами. — Весь, с позволения сказать, сыр-бор разгорелся после того, как сны Циркулуса были наводнены огурцами. Но ведь до того в течение нескольких, я бы даже сказал, многих лет Циркулус ради любви к своей жене усыпал свои сны тюльпанами и никто, я подчеркиваю, никто не возмущался этим фактом. Вы скажете, что любовь, тюльпаны, — адвокат неопределенно покрутил рукой в воздухе, — это вещи такие нематериальные, что о них не стоит и говорить, а огурец (резкий, рубящий жест) — предмет вполне осязаемый, имеющий вес и цену. И вот тут-то вы попадете впросак, ибо для правосудия тюльпан и огурец — предметы равнозначные, а материальность тюльпанов доказывается непреходящим рыночным спросом на них в течение целой недели. Адвокат сделал заключительный глоток из стакана. — И наконец. В ходе предварительного следствия допущена грубейшая ошибка, а именно: не выявлена роль Квипроквокуса, лица без определенных занятий. А между тем если принять во внимание роль этой личности, то дело Циркулуса предстает совсем в ином свете. Ведь это именно Квипроквокос подбросил Циркулусу идею поместить огурцы в пространство сновидений. Причем он сделал это, коварно прикинувшись другом и умоляя Циркулуса помочь ему выиграть некое пари. У меня имеются неопровержимые доказательства, что никакого пари не было. Да и сам Квипроквокос признает это. И вот наивный, добродушный Циркулус оказывается на крючке у коварного провокатора, и что мы видим в итоге? В итоге мы видим несчастного Циркулуса на скамье подсудимых и мы видим, как торжествует гнусный Квипроквокос. — Голос адвоката достиг высшей силы трагического звучания; взъерошенный Квипроквокос сжался в комочек и превратился в ничто. — Из каких же побуждений Квипроквокос подвел своего соседа Циркулуса, по-простому выражаясь, под монастырь? А вот из каких. У меня

имеются неопровержимые доказательства того, что в беседе с ремесленником Кракусом Квипроквокус говорил о своей зависти к Циркулусу и о глубоко скрытой страсти к его жене. Я передаю суду имеющиеся у меня документы.— Адвокат вышел из-за стола, отдал бумагу председателю суда и вернулся на место.— Что же мы видим, уважаемые канониры? Мы видим в итоге, как низменная, подпольная страстишка мелкого человека Квипроквокуса губит возвышенного, мечтательного Циркулуса. Истощенный запретной и неудовлетворенной похотью и неспособный возвыситься до таких вершин духовной жизни, кои демонстрирует нам всем Циркулус, Квипроквокус затеял подлую провокацию, свидетелями финала которой мы с вами сегодня являемся.

Итак, подытоживая все сказанное, я прошу у суда: а) оправдательного приговора Циркулусу, б) привлечения к уголовной ответственности Квипроквокуса, в) вынесения частного определения в адрес прокурора. Не к милости взываю я, но к справедливости!

Зал взорвался аплодисментами. Со сладостным чувством исполненного долга адвокат опустился в свое кресло. Воспользовавшись вдохновенной сумятицей, Квипроквокус пробрался к Циркулусу.

— Цирк, а Цирк,— подергал он его за рукав,— не верь им, Цирк! Я не виноват.

— Какая разница, Кви? — устало вздохнул Циркулус.

— Нет, правда, Цирк, я и не думал о твоей жене... Да я и не могу так вот... со сновидением... Правда, не могу.

— Суд удаляется на совещание! — прогремел над залом голос председателя.

— Каков сегодня наш Дефендиус?

— Вития, просто вития...

— Уважаемые канониры, прошу не отвлекаться! Нам предстоит выработать важнейшее решение... Прошу высказываться.

Присяжные задумались. Председатель мерно отстукивал костяшками пальцев трехсекундные интервалы. В принципе каждый уже имел свое мнение, но Канон предписывал показать озабоченность важным общественным процессом, именуемым Правосудие. Поэтому присяжные напустили на свои лица выражение тягостного раздумья, хотя на самом деле все ждали, когда же председатель отступит необходимое число интервалов. Председатель тоже стучал неспроста. Он наострился отмерять трехсекундные промежутки с точностью электронного хронометра и с гордостью демонстрировал эту способность новичкам. Наконец прозвучал шестидесятый удар. В недрах присяжных душ одновременно зародились два возгласа. Вместе родившись, они в одно мгновение выплеснулись в объем комнаты.

— Надо оправдывать!

— Оправдывать нельзя ни в коем случае!

— Обоснуйте свое мнение, Примус! — Председатель ткнул карандашом в грудь сидевшего по левую руку.

— А что тут обосновывать? Дефендиус все сказал. Готов подписаться под каждым словом!

— А вы, Ультимус?

— Склоняюсь к противоположному мнению.

— Ну, обоснуйте же!

— Оправдывать нельзя ни в коем разе. Подумайте хорошенько, Примус, что вы нам тут предлагаете. Повашему, нам следует оправдать Циркулуса и привлечь к суду Квипроквокуса? Хочу вам заметить, что вы позволили себе непростительную слабость, подпав под влияние красноречия Дефендиуса и забыв о великом Каноне! А что предписывает нам Канон? Он предписывает игнорировать личностей, подобных Квипрок-

вокусу. Их не существует для Канона, они вне общественного мнения. Ах, бедный Циркулус, ах, гнусный Квипроквокус! — Ультимус спародировал адвоката.— Между тем Циркулус в отличие от Квипроквокуса существует для Канона и, как честный канонир, обязан отвечать за свои поступки, обязан не иметь ничего общего с личностями, подобными Квипроквокусу, а уж подпадать под их влияние — это вообще возмутительно!

— Что ж теперь, расстрелять его?

— Нет, уважаемый Примус, расстреливать его нельзя. Это единственное, в чем я согласен с Дефендиусом. Но за поведение, порочащее звание честного канонира, Циркулуса необходимо выслать из города вплоть до полного исправления.

— С конфискацией огурцов?

— С конфискацией огурцов и тюльпанов! — подытожил председатель.

После недолгой дискуссии это мнение восторжествовало.

4.

Если с проспекта Великого Переселения выйти на улицу Доблестных Канониров, пройти по ней до рыночной площади и, миновав бульвар Мирных Наслаждений, свернуть на проезд Добродетели, то прямоком очутишься на шоссе Утраченной Радости. Эта магистраль ведет к единственному выезду из Нездешнего города. В принципе никаких стен вокруг города нет и окраинные дома свободно смотрят в поле, но улицы, доходя до окраин, как-то причудливо изгибаются и, словно помахав ручкой городской черте, возвращаются к центру. И только шоссе Утраченной Радости безрассудно врзается в границу города и, преодолев ее, уходит в неизведанную даль. На неприглядного человека шоссе Утраченной Радости производит странное впечатление. На нем нет домов, одни трибуны для зрителей. Когда я впервые очутился в Нездешнем городе, я принял это шоссе за вытопанное футбольное поле, уродливо вытянутое в длину. Но это всего лишь впечатление наивного новичка. На самом деле шоссе Утраченной Радости полностью соответствует своему названию. По нему уходят из города высланные в судебном порядке. Быть высланным из Нездешнего города — это одновременно и наказание, и честь. Это честь, потому что ее удостоиваются только добропорядочные канониры, так или иначе скомпрометировавшие себя. Для уголовного элемента существуют другие наказания. И в то же время быть высланным — это наказание, потому что идущий по шоссе Утраченной Радости на неопределенный срок отлучается от Великого Канона, становится сирым и беззащитным в чужом, неведомом мире. Поэтому нездешнегородцы считают дурной приметой наступить хотя бы одной ногой на поверхность этого шоссе. И когда по нему проходит очередной осужденный, весь город выстраивается на трибунах по обе стороны дороги, молчаливо скорбит о судьбе отступника, безмолвно клянется никогда не повторять его ошибок и глубоко в душе восхищается величием Канона.

Вот этим путем в один из пасмурных, бесцветных нездешнегородских дней прошел Циркулус. Он шел медленно, тяжело переставляя ноги, точно с каждым шагом преодолевал невыносимую боль. Ему было трудно продираться сквозь острия тысяч взглядов, впивавшихся в него с обеих сторон. Пусть не все из них сочлились злобой, но Циркулус вообще не любил чужих взглядов. Сейчас с ним была его семья, никто из канониров не видел ее, но Циркулусу казалось, что видят все, что его любимую женщину, что детей, рожденных от него этой женщиной, отрывают

от его тела, пригвождают злыми взглядами к полотну шоссе и оставляют в этом городе заложниками. Циркулус шел, стараясь броней своей души оградить семью от острых стрел, летящих отовсюду. Ему было больно.

Откуда-то сбоку на шоссе выскочил Квипроквокус. Маленькой, никчемной точкой, нарушив неписанные традиции Нездешнего города, он метнулся вдогонку за Циркулусом. Он бежал под гробовое молчание зрителей, которым Канон запрещал улюлюкать. Он догнал осужденного и, переводя дыхание, пошел рядом с ним; маленький, живой рядом с тучным, отрешенным Циркулусом. Так они прошли метров двадцать или пятьдесят, затем Квипроквокус забежал чуть вперед и заглянул Циркулусу в глаза. Он по-прежнему вымаливал прощение, хотя Циркулус не сердился на него.

— Цирк, я здесь, ты видишь меня?

Циркулус кивнул. Ему казалось, что Квипроквокус оттянул на себя часть стрел, летевших в его, Циркулуса, семью, и он был благодарен своему соседу.

Городская черта приближалась неумолимо. (На последних метрах шоссе, у самых ворот, места обычно занимали члены городского магистрата. Они получали какое-то труднообъяснимое, почти садистское наслаждение, наблюдая, как осужденный перешагивает последнюю черту. И чем труднее давался ему этот шаг, тем выше было наслаждение. Некоторые из осужденных не выдерживали и бросались на колени перед трибуной, умоляя о помиловании. Тогда вставал верховный член магистрата, мягко улыбаясь, разводил руками и говорил:

— Ничего не подлаешь, милый, правосудие.

И поднимал палец вверх, после чего доблестные канониры выталкивали осужденного за ворота...)

Циркулус подошел к черте и остановился.

— Иди домой, Кви!

— Я с тобой, Цирк! Ведь это моя идея, с огурцами...

Циркулус в последний раз оглядел трибуны с каким-то смешанным чувством облегчения и обиды, затем перевел взгляд на Квипроквокуса, на черту и сделал четкий, почти строевой шаг вперед. Оказавшись по ту сторону, повернулся вокруг своей оси и протянул руку Квипроквокусу:

— Ну!

Бессмысленно шевеля губами, Квипроквокус смотрел на протянутую к нему руку и на Циркулуса, в одно мгновение ставшего бесконечно чужим. За спиной Циркулуса тянулась пустынная, пыльная дорога, терявшаяся в складках неровной местности. Квипроквокус опустил голову и боком, словно боясь повернуться к Циркулусу спиной, пошел в сторону трибуны, затем развернулся и, неуклюже спотыкаясь, побежал обратно, к центру города.

Народ начал расходиться, и только самые любопытные из окон окраинных домов смотрели вслед Циркулусу, пока тот не скрылся вдали.

5.

Путь Циркулусу предстоял не так чтобы очень далекий. Обычно осужденные на изгнание останавливались километрах в десяти от Нездешнего города. Здесь образовался своего рода бивак, городок из сотен шалашей и временок. Многие из осужденных жили здесь уже не первый десяток лет и за это время могли бы обзавестись приличным домом и хозяйством, но не считали нужным, поскольку жили только одним: ждали разрешения вернуться в Нездешний город. О Нездешнем городе складывались песни, сочинялись сказания. Вообще изгнанники были людьми весьма поэтического склада.

Когда я впервые побывал в Поселке Изгнанников, я обратил внимание на одно характерное отличие

этого населенного пункта от Нездешнего города, а именно: на различную структуру мира снов. Векторы пространства сновидений, зарождаясь в Поселке Изгнанников, стлались по земле, не превышая уровня колена, и уходили в сторону Нездешнего города. И уже там, над альма-матер, разворачивались огромным куполом, покрывая собой весь город.

Глядя на бродящих по колону в сновидениях изгнанников, Циркулус испытывал раздражающий дискомфорт, поскольку силовые линии местных снов прижимали к земле его семью. Дормия стала непривычно маленькой, и он то и дело смотрел вниз, боясь наступить на нее. Повсюду ему попадались мелкие хибарки, недостроенные шалаши, бесцельно бродящие, оборванные изгнанники. Циркулуса очень удивило то, что во всем поселке невозможно было найти следов какой-либо созидательной деятельности. Только палящее солнце, праздношатающиеся люди, обрывки бредовых бесед...

Пробродив около часа в этом хаосе, Циркулус нашел наконец старейшину поселка. Это был заросший, неузнаваемо грязный изгнанник, едва прикрытый лохмотьями одежды, с постоянно бегущими, мутными глазами. Циркулус содрогнулся. Глаза старейшины напомнили ему единственный глаз Великого Канона. — А, новенький, — тонким, дребезжащим голосом сказал старейшина, пряча глаза от сумрачного взгляда Циркулуса. — За что к нам?

— Дискредитация звания канонира.

— Ясно. Не ты первый, не ты последний. — Неожиданно старейшина бросился ничком на землю, тело его задергалось в судорожных конвульсиях. Циркулус с удивлением смотрел на него. Ему показалось, что старейшина хочет соблазнить его уменьшившуюся в размерах жену. Но тот поднялся на ноги так же неожиданно, как упал. Теперь он выглядел посвежевшим, точно после купания в чистой, стремительной горной речке. Циркулус заметил, что у старейшины гнилые зубы.

— Я двадцать девятый год в этом поселке. Дольше всех. Зовут Ректификатус. — По-прежнему бегая глазами, он протянул Циркулусу иссохшую руку.

— Где мне жить? — спросил Циркулус.

— Иди туда, — старейшина кивнул в неопределенную сторону, — там есть свободные участки.

Циркулус помедлил.

— Есть вопросы?

— Да... Чем вы здесь питаетесь?

Старейшина странно посмотрел на новичка, пожал плечами.

— Надеждами. И все сыты.

Циркулус нашел себе место на краю поселка, у обрыва. Это был небольшой клочок земли, пять на пять метров, выжженный жестоким солнцем почти полностью. Только кое-где сквозь трещины пробивалась жухлая, желтая травка. С трех сторон этот клочок был окружен участками других изгнанников. Поначалу Циркулус никак не мог научиться различать лица соседей. Забегая вперед, скажу, что он не научился этому и впоследствии. Соседи были до странности похожи друг на друга, были похожи друг на друга их хибары, были похожи их семьи... Когда Циркулусу становилась невмоготу рутина изгнаннического быта, он обращал свой взгляд в четвертую сторону. Там открывалась прекрасная картина: плоская равнина, на которой располагался Поселок Изгнанников, круто обрывалась и внизу простиралась безбрежная даль. Эта даль была необходима зажатому среди хибар Циркулусу не только для духовной улады, но и для нормального существования его семьи. Не имея возможности бороться с силовыми

линиями изгнаннических снов, направленных в сторону Нездешнего города и прижимавших к земле Дормию с детьми, Циркулус направил свое личное поле сновидений вниз, в обрыв, обеспечив тем самым нормальное функционирование своей души среди всеобщего помешательства. В итоге через некоторое время он пришел к выводу, что низ есть тот же самый верх, а точка отсчета не имеет решающего значения, ибо высота столба снов в том и в другом случае одинакова. В новой точке отсчета даже были определенные преимущества, так как раньше сновидения находились над Циркулусом, а теперь Циркулус находился над сновидениями и в каком-то смысле уподоблялся Канону. Разве что глаз у Циркулуса было вдвое больше.

Циркулус всерьез занялся изучением своего нового положения. Вскоре он обнаружил, что в этой ситуации, помимо плюсов, присутствуют и минусы. Так, например, намечалась реальная угроза того, что жена, прежде бывшая для Циркулуса верным другом и помощником, теперь очутится в положении подневольном и зависимом. Ведь она по-прежнему могла существовать только в сновидениях своего мужа, но, помимо этого, теперь находилась ниже и в пространственном отношении. Эта несуразность вывела Циркулуса на глубокие теоретические рассуждения на тему: может ли материя быть выше духа и сохранить при этом свое качество? По некотором размышлении Циркулус пришел к выводу, что это возможно при условии, если материя достаточно цивилизована.

Покончив со сложными теоретическими вопросами, Циркулус перешел к более насущным проблемам. Это было характерно для него — наперекор всему человечеству идти от сложного к простому. Итак, от вопросов бытия Циркулус перешел к проблеме питания. Наблюдая за своими безликими соседями, он убедился в том, что они действительно ничего не едят. Время от времени, словно подражая своему старейшине, они бросались на землю и совершали конвульсивные телодвижения, и Циркулус понял смысл этого странного деяния. Если над Нездешним городом сновидения размывались в пространстве, то здесь они были сконцентрированы в очень узком воздушном слое над поверхностью почвы; концентрация надежды в силовом поле сновидений была невообразимо велика, местами доходила до ста процентов, и тогда бестелесная надежда превращалась в полновесные калории. Ими-то и питались изгнанники.

Этот расклад пришелся Циркулусу не по нраву. — Вы питайтесь чем хотите, а я буду есть огурцы, — ворчал он, устраиваясь на своем пятачке. Возвышенной душе Циркулуса ничего не стоило извлечь из сновидений разбросанные там овощи, тем более что теперь он был над сновидениями. Хотя суд и вынес приговор о конфискации огурцов, привести его в исполнение было не так-то просто. Попробуй конфискуй огурцы, растасканные по чужим снам. Это ведь не по квартирам шарить! Но, как и следовало ожидать, у Циркулуса процедура изъятия не вызвала затруднений. Это еще раз подчеркивает верность мысли, гласящей, что наша надежда покоится на тех людях, которые кормят себя сами.

Одним словом, в Поселке Изгнанников Циркулус устроился совсем не плохо. Правда, начались некоторые трения с соседями. Уподобившись (в какой-то мере) Канону, Циркулус настолько увеличил потенциал поля своих сновидений, что соседские хижины сами собой сдвинулись на несколько метров в сторону. Их обитатели вылезли на свет божий и принялись наперебой выражать Циркулусу свое возмущение. Циркулус разводил руками и извинялся, но был не в силах что-либо изменить. Конфликт усугубился после того, как Дормия, вдохновленная силой своего мужа, приобрела вполне материальные очертания и взяла

за обыкновение разгуливать по поселку, прельщая изгнанников соблазнительной наготой и совершенством форм. Не стоит забывать, что Дормия была родом из снов, поэтому воплощала в себе идеал женской красоты. И одичавшие изгнанники, в мареве надежд забывшие о радостях жизни, забросили своих отощавших на идеалистических хлебах жен и гудящей толпой ходили вслед за откормленной первоклассными мужниными огурцами Дормией, внося дополнительный беспорядок в хаотичную жизнь поселка. В конце концов выведенные из терпения жены стали запирают своих мужей в хижинах, в результате чего поселок обезлюдел. Удивленный этим обстоятельством, Ректификатус лично посетил Циркулуса и потребовал объяснений, но, увидев Дормию, стушевался и какими-то неловкими, растерянными движениями стал поправлять на себе лохмотья, пытаясь прикрыть свое немоющее тело и скорбно размышляя о бесцельно прожитой жизни.

В итоге Циркулуса и Дормию оставили в покое, чему и тот и другая были несказанно рады. Они зажили счастливо и безбедно. Целыми днями они возились с детьми (также материализовавшимися), путешествовали по пространству снов или лежали на краю обрыва, заглядывая вниз и мечтая о будущем. И при этом совершенно не обращали внимания на бестолковую жизнь поселка. И в поселке как-то забыли о них, особенно после того, как двое чересчур страстных изгнанников попытались подойти к Дормии непозволительно близко и были на глазах у всех отброшены мощным силовым полем, которым Дормия была обернута, словно плащом, и без которого не могла существовать в реальном мире. Дормия после этого случая перестала гулять по поселку и не выходила за пределы своего участка, чтобы не искушать больше судьбу, а Циркулус и без того был не склонен к прогулкам. Так они и жили: поселок сам по себе, а Циркулус с Дормией сами по себе. Никто не переступал невидимой границы, разделившей эти две территории. Со временем эта граница как-то незаметно сделалась видимой, потом по обе стороны от нее почва стала опускаться, возникли провалы. Каждое утро Дормия ходила смотреть, как ведет себя почва, и с удивлением замечала, что провалы становятся все глубже и постепенно превращаются в пропасти. Она с тревогой рассказывала об этом Циркулусу, но, судя по всему, Циркулуса это не волновало.

Несколько лет тому назад я побывал в Поселке Изгнанников, постоял на смотровой площадке, расположенной на краю бездонного обрыва. Картина, открывающаяся с площадки, оставляет странное впечатление. Прямо под ногами начинается пустота. И в этой пустоте, метрах в тридцати от наблюдателя, повисла верхушка скалы. С площадки отчетливо видно, как на этой скале играет с детьми прекрасная Дормия. А чуть поодаль, венчая столб собственных снов, богом над бездной возвышается тучный Циркулус.

Часть 2.

Мы приближаемся к событиям, положившим начало новой эпохе в истории Нездешнего города. И по мере приближения события эти набрасывают мрачную, бредово-фантастическую тень на наш рассказ. Автор пытается, насколько это в его силах, противостоять такому влиянию, убедить себя и читателей в том, что ничего страшного не случилось, потому что финал оказался счастливым. Да он и не мог быть другим, иначе не стоило вообще рассказывать эту сказку. Но все же... Не иллюзия ли этот финал?

Одним словом, продолжим. Задача наша облегчается тем, что основные действующие лица волей судьбы проживают на знакомом нам участке проспекта Великого Переселения. Туда мы и вернемся.

1.

Симплициссимус носил бороду и жил на втором этаже. Этими двумя обстоятельствами объясняются специфические особенности его жилища. Во-первых, оно было заставлено растениями самых разных пород и видов, словно пародировавшими его бороду, с одним только отличием: борода росла сверху вниз, а растения — напротив, снизу вверх. Если бы Симплициссимус был знаком с теоретическими изысканиями изгнанника Циркулуса, то ему было бы известно, что между верхом и низом нет принципиальной разницы и что первопричина может находиться как здесь, так и там. Впрочем, Симплициссимус и без Циркулуса знал об этом. Он был достаточно умен, чтобы из сходства своей бороды с растительным миром не делать ни трагедии, ни предмета для изучения. Во-вторых, из того, что Симплициссимус жил на втором этаже, вытекало то, что на первом этаже жил торговец Табулус, потому что, не будь Симплициссимуса, Табулус занял бы весь дом. Однако это не мешало им быть не только соседями, но и хорошими друзьями. Лишь изредка Табулус говорил:

— Эх, Симплициссимус, не будь тебя, занял бы я весь дом!

На что Симплициссимус отвечал избитым афоризмом:

— Всяк сверчок знай свой шесток!

Как я уже сказал, Табулус был торговцем и имел своеобразный талант в этом деле. Он торговал буквально всем и поставил свое предприятие на широкую ногу, что не исключало, однако, некоторой возвышенности его наклонностей. Именно вследствие этой возвышенности он и терпел над своей головой Симплициссимуса. Нет, не надо думать, будто Симплициссимус был поэтом либо мыслителем. Поэтов и мыслителей в Нездешнем городе не было вообще, поскольку Канон запрещал слишком сильно отрывать от земли. Но Симплициссимус за свою жизнь сменил огромное количество занятий, что, по мнению Табулуса, свидетельствовало о постоянной работе ума. Как бы там ни было, в настоящее время работающий ум Симплициссимуса привел его к вынужденному безделью. Он жил пока на накопленные средства, ожидая, когда же они наконец закончатся, чтобы с новыми силами испробовать себя на каком-нибудь не испытанном еще поприще. Оставалось, правда, неясным, есть ли в Нездешнем городе такое поприще. Симплициссимус перепробовал все ремесла, все виды торговли, занимался земледелием, заседал в магистрате, был судьей, прокурором, адвокатом, и вообще кем только он не был! Вот этим-то непостоянством и заработал Симплициссимус глубокое уважение Табулуса.

Как-то вечером, в то время, когда Циркулус был уже в изгнании, Квипроквокус — в необъяснимых с точки зрения здравого смысла бегах, а Лапус — неизвестно где и на верхней палочке буквы «Г» светились всего два окна, Табулус, поднявшись по скрипучей лестнице, постучался к Симплициссимусу.

— Кто там? — заинтересованно спросил хозяин.

— Сосед к соседу, — чопорно отрекомендовался гость. Симплициссимус открыл дверь и впустил Табулуса.

— Я к тебе по вопросам бытия, — начал Табулус, располагаясь в уютном кресле.

— Всегда рад. — Хозяин был суховат.

— Чем живешь, сосед?

— Надеждами.

— Смешно жить надеждами. Нечем жить, так вступи ко мне в долю. Деньжата-то еще не перевелись?

— Ты, кажется, пришел по вопросам бытия?

— О них и толкую. Вернулся из лавки, брюхо набил, посмотрел в окно — пусто на нашем проспекте Великого Переселения, темно... Дай, думаю, поднимусь к соседу, может, из его окна чего-нибудь увижу.

— И что увидел?

— Кислую рожу Симплициссимуса!

— Стоило ли подниматься?

— Спуститься никогда не поздно. Только знаешь что? Давай спустимся вместе!

— Что я у тебя не видел? Если из моего окна ни черта не разглядишь, то из твоего и подавно. Разве что булыжники на нашем проспекте...

— А мы не станем глядеть в окно, а выйдем на те самые булыжники и поищем что-нибудь на них.

— Вот ты о чем... Не надо, Табулус, ночные прогулки не одобряются Канонам.

— Да ты будто первый год в нашем городе живешь! Неужели тебе нужно объяснять, что на Канон можно плевать, оставаясь при этом честным каноником, только плевать нужно аккуратно и в собственный карман, чтобы не загрязнять нездешнегородские улицы.

— И все-таки я тебе не попутчик!

— Ты что, Симплициссимус, не узнаю тебя... Ты заболел?

Симплициссимус ответил не сразу. Некоторое время он молчал, мусоля в голове какую-то тревожную мысль.

— Да нет, просто хочу жениться. А магистрат может не зарегистрировать брак с человеком, разгуливающим ночами по городу.

— И очень хорошо сделает! К чему тебе женитьба? Я, например, не знаю, как от своей жены избавиться!

Симплициссимус деликатно промолчал, стараясь не выдать волнение.

— Мой тебе совет, — продолжал ничего не замечивший Табулус, — если хочешь жениться, то придумай себе жену, как сделал наш Циркулус, и будешь самым счастливым из всех счастливых каноников.

— Да, интересный был человек, — задумчиво сказал Симплициссимус, глядя в черное окно.

— Почему был? Я думаю, он и после всей этой нелепой истории жив, здоров и вполне доволен жизнью. Я завидую таким людям, что бы с ними ни случилось, они ничего не воспринимают всерьез. А действительно, что ему волноваться, все свое он всегда носит с собой. А еще, честно и между нами говоря, я вдвойне завидую ему, потому что он сумел выбраться из нашего города.

Табулус замолчал, видя, что Симплициссимус никак не реагирует на его слова. Тот по-прежнему не отрываясь смотрел в окно, словно пытаясь угадать в темноте очертания дома Циркулуса. Табулус встал:

— Ладно, пойду спать.

— Погоди... Пойдем прогуляемся перед сном.

— Вот тебе и раз! Ты же только что хотел жениться!

— Канон в отличие от тебя видит разницу между ночной прогулкой и вечерним моционом...

Прихватив с собой фонарь, друзья спустились вниз и вышли за дверь. Едва переступив порог, они окунулись в черную плазму ночного города, где ни зги, ни путеводной нити. Табулус хлопнул себя по карманам:

— Я, кажется, оставил у тебя спички.

Его голос был сырым и незнакомым.

— На, возьми мои. — Симплициссимус протянул руку в темноту и держал ее некоторое время, пока не почувствовал, как его кисть обхватили липкие пальцы Табулуса.

— Ты что, сосед?

— Да нет... Здесь очень душно.



Табулус чиркнул спичкой, и в ее дрожащем пламени Симплициссимус успел заметить, как в один миг изменились черты лица торговца, не успевшего натянуть на себя маску спокойствия при рождении огня. Еще подрагивающей рукой Табулус отодвинул стеклянную заслонку фонаря и поднес спичку к фитилю. За мутноватым стеклом вспыхнули блики света, закачались и выровнялись. Плазма ночи отступила от двух друзей, затаилась по краям светлого круга.

— Ну что, идем? — Симплициссимус взял Табулуса под руку и шагнул вперед. Путешествие началось.

Два человека с фонарем мерно прорубали путь в ночном безлюдье, звук их шагов гулко отражался от спящих стен. Постепенно они привыкли к мраку и тишине настолько, что, дойдя до улицы Доблестных Канониров, обрели способность беседовать, хотя еще не скоро сумели привыкнуть к собственным голосам.

— Как странно смотрится наш город в эту пору! — Табулус безуспешно пытался отыскать в гамме своих чувств нотку самоуверенности. Симплициссимус крепко держал его за локоть, словно находя в этом дополнительный источник сил для себя. Чем дальше уходили они от дома, тем сильнее Табулусу хотелось повернуть обратно, но Симплициссимус шагал вперед неторопливой, уверенной походкой, и его попутчику пришлось поглубже спрятать свое малодушие. Симплициссимус продолжал напряженно размышлять о чем-то, и Табулус чувствовал, как в его друге растет какая-то непонятная уверенность, и растет тем быстрее, чем дальше они удаляются в глубину черных, глухих кварталов.

— Ты даже не сказал жене, что мы уходим на прогулку, — обронил Симплициссимус, когда кривыми переулками они вышли к торговой площади. Недобрые чары ночи, отступая, прибавляли ему решительности.

— Господи, — Табулус воздел руки к небу, — да пропади она пропадом. Мне просто не хотелось лишней раз видеть ее.

— Зря ты так... Твоя жена — прекрасная женщина. — Я тоже так думал в первый месяц после свадьбы. Но потом пришел к выводу, что в нашем городе есть множество еще более прекрасных женщин. — Настроение Табулуса заметно улучшилось при воспоминании о множестве женщин. — Ты поймешь меня, когда женишься. Да и вообще, с какой стати ты вспомнил про мою супругу? Ведь так хорошо гуляли...

— Я женюсь на ней, — выдохнул Симплициссимус.

— Ты женишься на моей жене? — Табулус едва не выронил фонарь.

— Осторожней, ты оставишь нас без света... Да, я давно должен был сообщить тебе о нашем решении... Ведь ты уже несколько лет не интересуешься ее жизнью.

Табулус поставил фонарь на землю и расхохотался:

— Жаль, что я в свое время не выкурил тебя из нашего дома. А ведь хотел, ей-богу, хотел... Он поднял фонарь и двинулся в сторону бульвара. — Слушай меня, Симплициссимус. Пять минут назад я разговаривал с тобой, как с другом, и по инерции скажу тебе, что даже рад избавиться от этой глупой бабы...

— Не смей...

— Подожди... С той минуты, как ты сообщил мне о своих намерениях, мы больше не друзья!

— Изволь. Перейдем на «вы»?

— Смеяться будешь потом... Как честный канонир, хочу сказать тебе, Симплициссимус, что не одобряю твоего поступка, который противоречит Великому Канону. Как честный торговец, я не могу допустить, чтобы надо мной смеялся весь город. Кроме того, должен предупредить тебя, что магистрат не регистрирует твой брак с моей женой по той простой причине, что она моя жена.

— Об этом я и хотел с тобой говорить... И, пожалуйста, забудь хоть на полчаса про Канон, ведь ты прекрасно умеешь это делать... Могу тебя заверить, что ни один человек в городе не узнает об этом браке, так что репутация твоя не пострадает.

— Не понял тебя.

— Пойми, Табулус, я не идиот и отдаю себе отчет в том, что такой брак никто не регистрирует. Я не хочу распространяться о своих чувствах, но я люблю Флору и, зная, что ты к ней безразличен, хочу предложить тебе компромисс. Флора просто перейдет жить ко мне, и об этом, кроме нас троих, не будет знать никто. Пойми, несмотря ни на что, я обращаюсь к тебе, как к другу. Ты избавишься от надоевшей тебе женщины, и репутация твоя при этом никак не пострадает.

Табулус молчал. Казалось, он окончательно забыл о подсознательных страхах ночного города и теперь решительно шагал рядом с Симплициссимусом, с головой окунувшись в собственные мысли.

...Двое канониров заблудились в кривых линиях центральных проспектов, и утомленный Канон лениво смотрел на них с высоты купола снов, закрывая луну и звезды своим огромным туловищем, окутывая подконтрольный город мраком и благоденствием. И в головы тысяч спящих людей мерно журчащей, сладостной струей вливалась мысль, что благоденствие возможно только во мраке...

— Хорошо, Симплициссимус,— нарушил молчание Табулус,— ты говоришь разумно. Но меня не устраивает одно обстоятельство: если я соглашусь на твой вариант, то повисну у тебя на крючке. Ты будешь держать меня в руках и в любой момент сможешь втоптать меня в грязь, огласив наш с тобой договор. Давай поступим, как пристало поступать деловым людям: я пойду тебе навстречу, но и ты мне поможешь в одном деле. Скажу тебе прямо, дело щекотливое и опасное, ты вправе отказаться, но тогда, извини, я откажусь отпустить к тебе Флору. Ну что, договорились?

— В чем я должен тебе помочь?

— Об этом я скажу позже. Можешь не сомневаться в моей честности по отношению к тебе, я не беру за горло, у тебя будет время на раздумье. И вообще, хватит о серьезном. Этой ночью мы нарушили все заповеди Канона, так давай чудачить до конца! Симплициссимус, милый, посмотри на себя! Ты стал похож на мумию, ты лишился образа и подобия канонира из-за любви к моей жене. Я не могу смотреть спокойно на это безобразие, я хочу предоставить тебе шанс убедиться в иллюзорности семейной жизни! А для этого мы сейчас пойдем к Циркулусу.

— К Циркулусу?..

— А что, боишься? Или опять скажешь, что магистрат не регистрирует твой брак? Милый мой, его и так не регистрируют. Или, может, ты веришь в приметы и не хочешь своей драгоценной ступней наступить на камни, которыми вымощено шоссе Утраченной Радости? Или боишься утратить радость?

Симплициссимус рассмеялся. Его подмывала волна вырвавшегося на свободу восторга, долго таившегося внутри, задавленного тревогами, сомнениями, мучительной нерешительностью. Все это не ушло, осталось, но был сделан первый шаг, и Симплициссимус знал, что обратно уже не вернуть. Оттого сейчас ему хотелось куража, если бы была возможность, он бы с удовольствием прошелся по канату.

— Идем к Циркулусу! И поторопимся: до рассвета осталось часа три...

Бывшие друзья и нынешние сообщники, весело переговариваясь, отгоняя лучом света ночные страхи, вышли на шоссе Утраченной Радости. От былой растерянности перед черной громадой, залившей го-



род, не осталось и следа. Они быстро, едва не бегом продвигались по шоссе, торопясь успеть до рассвета. Мимо проплывали пустые трибуны, отсветы фонаря таинственно дрожали на скамейках и барьерах. Городская черта приближалась. Симплициссимус с интересом вглядывался в темноту, пытался представить себе состояние изгнанника, шествующего по шоссе Утраченной Радости сквозь взгляды тысяч канониров. Ему стало не по себе. Возникло впечатление, будто эти взгляды висят в неподвижном воздухе независимо от их обладателей, будто они сгустились над головами двух святотатцев и грозят им неминуемой гибелью. То же почувствовал и Табулус. Остановившись, он на ощупь нашел руку Симплициссимуса.

— Может, вернемся?

Симплициссимус упрямо шагнул вперед, но Табулус задержал его. В воздухе зародился странный гул, нарастая со всех сторон одновременно, он занимал все большее пространство, закладывал уши, придавливал к земле. Стало трудно дышать. Расширенными от ужаса глазами двое людей наблюдали, как со стороны городской черты, до которой оставалось не более сотни метров, возникла и стала надвигаться светящаяся громада, сжатый до предела сгусток тьмы, превратившийся в свою противоположность. Он приближался медленно, неторопливо, источая сознание превосходства над двумя жалкими людишками, возникшими на его пути. Гусеницы гулко лязгали по брусчатке, громадная глыба вбирала в себя линию шоссе. Страх сковал конечности, липкое оцепенение залило разум, заглушив все эмоции, кроме страха. И лишь в глубине пульсировал первобытный инстинкт. И в тот момент, когда в лица пахнуло жарким, разгневанным дыханием, инстинкт вырвался, разорвал оцепенение и заставил двигаться свернувшуюся в жилах кровь. Животное чувство властно диктовало свои законы: спастись, уйти от надвигающейся смерти. Рука Табулуса онемела, сжимая фонарь холодными, мокрыми пальцами: остаться без света значило погибнуть, исчезнуть в лабиринтах взбунтовавшегося мрака. Спящие дома покорно проносились мимо, и грохочущая громада стала отставать, успокаиваться и скоро затихла в отдалении, сонно лязгая гусеницами по умиротворенной мостовой.

В тусклых проблесках занимающегося рассвета по кривым улицам Нездешнего города бежали два человека. Они кидались то в один переулок, то в другой, возвращались обратно и вновь начинали безумную гонку по старому маршруту. Из открытых окон доносилось бессвязное бормотание спящих горожан, сны которых нарушались потоками воздуха, взбаламученного проносящимися мимо ночными путешественниками.

Табулус с Симплициссимусом остановились, очутившись на проспекте Великого Переселения. Фонарь погас. Они стояли напротив своего дома, понемногу отряхиваясь от наваждения.

— Что это было? — спросил Табулус.

— Канон?! — полувопросительно проговорил Симплициссимус.

— Не может быть!..

Из полуподвального помещения соседнего дома пробивался узкий лучик света.

— Смوتри! Оказывается, не мы одни бодрствуем сегодня ночью.

Подвальное окно было забито досками. Симплициссимус заглянул в щель между ними. В лицо повеяло свежим воздухом, сочившимся из отверстия. Внутри что-то глухо жужжало.

Прильнув к отверстию, Симплициссимус разглядел большие, в человеческий рост, лопасти, неторопливо вращавшиеся вокруг оси. Скорость их вращения постепенно нарастала, наконец мелькающие крылья

слились в большой прозрачный круг. Воздушный поток, сочившийся сквозь щель, усилился, и Симплициссимус с наслаждением подставлял лицо его чистым струям. Казалось, что свежий, прохладный воздух, смешавшись с частичками света, создает особую субстанцию, чудотворное зелье, пропитывающее каждую клеточку прикоснувшегося к нему организма, очищающее и обновляющее усталую душу.

Машина остановилась. Между лопастями показалось испачканное лицо человека, возившегося в ее моторе. Это был Лапус.

2.

Из всех канониров, обитавших на верхней палочке буквы «Г», самым загадочным был, безусловно, Лапус. Он почти не поддерживал контактов с соседями, вместе со своей семьей занимал целый двухэтажный дом, так что ни один человек не имел возможности даже невзначай заглянуть в его потаенную жизнь. Правда, некоторое время назад Лапус серьезно и бесповоротно рассорился со своей женой и, поскольку разводы, как читатель должен был понять, не одобрялись великим Каноном, отселил ее на второй этаж, где она вольна была устраивать свою жизнь, как пожелает, а сам уединился на первом этаже. Это увеличило таинственность, окружавшую существование Лапуса, тем более что жена его отличалась не менее замкнутым образом жизни. Честно говоря, я не совсем понимаю, чем же все-таки вызывался этот таинственный ореол, поскольку, на мой взгляд, в Лапусе не было ничего загадочного. Это был неразговорчивый, угрюмый человек, по профессии — извозчик, ни внешностью, ни поведением своим не отличавшийся от других почтенных канониров. А между тем к нему относились настороженно и с некоторой боязнью, и в таком отношении, как выяснилось впоследствии, был определенный резон для канониров. Но это выяснилось лишь впоследствии, а если бы мы задались целью провести социологический опрос среди жителей Нездешнего города до начала описываемых событий, то мы бы так и не получили разумного ответа на вопрос «Чем вы объясняете свою неприязнь к Лапусу?». Обобщенный смысл полученных ответов наверняка бы свелся к бессмысленной формуле «Лапус — это Лапус». И больше ничего! А разве нужно что-то еще для выработки устойчивого общественного мнения?

Если бы канониры только знали, что причина бед, которые в недалеком будущем обрушатся на Нездешний город, заключается в извозничьей профессии Лапуса, они бы, без сомнения, запретили ему заниматься этим родом деятельности. Но, может быть, был великий смысл в том, что горожане не могли отвести беду от своего города? Может быть, город заслужил эту беду? Нет, уверяю вас, тысячу раз нет, ибо не было во всем огромном мире города более благопристойного, более законопослушного и канонобоязненного, чем Нездешний. Аминь!

Все предки Лапуса были извозчиками, так что профессию свою он получил по наследству. Его предки возили седоков еще в старом городе, на возвышенности. Об этом напоминали десятки скульптурных автопортретов, выполненных собственными руками дедов и прадедов во времена западного ветра. Теперь они горделиво украшали жилище Лапуса, напоминая о былых суматошных временах. Кроме профессии и коллекции скульптур, по наследству к Лапусу перешла страсть к быстрой езде. Правда, эта страсть оставалась неудовлетворенной в новом городе, ибо правилами Канона извозчикам предписывалась езда солидная и неспешно-добропорядочная (благодаря этому количество дорожно-транспортных происше-

ствий в Нездешнем городе неуклонно стремилось к нулю). Лапус подчинялся, но что поделаешь с кровью предков и голосом генов? Глухими ночами он запрягал своего конька и мчался по городу, мчался всласть, загоня лошадь до кровавой пены, доводя себя до иступленной усталости. Какое тайное сладострастие было в этих ночных скачках, нехорошее, порочное, но что мог Лапус с собой поделаться? Днем он был прилежным канониром, чуть ли не идеалом благочиния, ложась спать, давал себе клятву не поддаваться на внутренний голос, но сдержаться мог максимум неделю. И вновь, возмутительнейшим образом нарушая заповеди Канона, мчался по спящим улицам. Никто не знал об этом пороке, но не объяснялась ли инстинктивная неприязнь канониров к Лапусу тем, что они подсознательно чувствовали существование какой-то скрытой страсти в неразговорчивом извозчике? И не та же ли страсть была причиной семейных неурядиц Лапсуса? Впрочем, о семейных неурядицах судить не берусь, ибо информация о личной жизни извозчика покрыта такой завесой секретности, с какой не могут сравниться даже самые секретные наши архивы. Ни исторические хроники, ни устные предания не сохранили ни имени жены Лапсуса, ни каких-либо описаний ее внешности. Да нам и не нужно этого, поскольку жена Лапсуса не играет никакой роли в нашем повествовании.

Дотошный читатель скажет: как же так? Не вешает ли автор лапшу на читательские уши? Как могло случиться, что в благочинном и добронравном городе возникла улица, на которой по соседству сосредоточились сразу четыре диссидента,— Циркулус, Табулус, Симплициссимус и Лапус,— разбавленные безответственным разгильдяем Квипроквокусом? Что за очернительская фантазия? Не знаю, как ответить. Может быть, это простая случайность, хотя я в глубине души уверен, что случайностей в жизни не бывает и всякая случайность — это скрытая предопределенность. Может быть, над этим отрезком проспекта Великого Переселения возникла какая-нибудь воронка в пространстве сновидений, что-то типа неизученного атмосферного явления. А может быть, на других улицах и переулках Нездешнего города происходило то же самое. Не знаю. В конце концов пусть читатель разбирается сам, а я вернусь к Лапусу.

Когда Лапус достиг зрелого возраста, его тайный порок принял вполне устойчивый характер, истерическое наслаждение, получаемое от ночных скачек, постепенно исчезло, и на смену ему пришла почти физиологическая потребность в регулярном отправлении этого странного ритуала. Лапус с каменным спокойствием запрягал лошадь, разгонял ее до бешеной скорости и летел по городу с невозмутимостью бронзовой статуи, полностью уйдя в себя, прислушиваясь только к собственным ощущениям. Лошадь сама бежала с заданной скоростью по заданному маршруту, эта привычка вошла и в лошадиную кровь. Лапус же предавался наблюдениям за собственным состоянием, иногда, эксперимента ради, менял скоростной режим или маршрут. Все это позволило ему понять природу своей страсти и найти первопричину влияния быстрой езды на психику канонира. Открытие пришло к нему внезапно, когда он, вернувшись домой после тяжелого рабочего дня, никак не мог попасть ключом в прорезь замка и, разозлившись, изо всех сил рванул дверь на себя. Дверь резко распахнулась, обдав Лапсуса потоком потревоженного воздуха, и Лапус замер на пороге. Открытие настолько поразило его, что он надолго отказался от удовлетворения своей страсти, заперся у себя и предался размышлениям. Затем несколько раз выехал на ночные прогулки, скрупулезно сравнивая свое самочувствие при разной силы потоках встречного воздуха. Затем

снова заперся и погрузился в математические вычисления. (В скобках следует заметить, что все предки Лапсуса имели ярко выраженные способности к математике и технике и вообще обладали аналитическим складом ума. Все это перешло по наследству к Лапусу, что еще раз подтверждает мысль о предопределенности случая.) Выводы были поразительны: сила встречного потока воздуха влияет на психологическое состояние. Умеренной силы встречный ветер стимулирует активность, работоспособность и критический настрой ума, создает участки, недоступные для сновидений, и (Лапусу поначалу боялся признаться в этом самому себе) парализует влияние великого Канона. При дальнейшем усилении ветра происходит возвышение над Каноном, затем — взрыв энергии, наконец... Для того чтобы понять, что происходит наконец, Лапусу пришлось углубиться в историю, вспомнить легенды о старом городе, о периодах западного и восточного ветров, приносивших с собой то взрыв активности, то сонное оцепенение (см. краткую историческую справку). Исследователь-самоучка понял, что это было возможно только при естественной смене ветров и что в условиях нездешнегородского безветрия искусственный ветер слишком большой силы приводит к частичной или полной потере контроля над своими действиями. Горя желанием подтвердить свое открытие экспериментально, Лапус занялся изготовлением вентиляторов. В языке нездешнегородцев не было слова для обозначения этого механизма, поскольку не было самого механизма, но Лапусу пришло на ум слово «вентилятор», то есть именно то слово, которым данный механизм обозначается у цивилизованных народов. Случайность это или пример, подтверждающий общность прогресса на всех широтах, не мне о том судить.

Лапус изготовил несколько действующих моделей малых и средних размеров. Выкладки блестяще подтвердились. Тогда он взялся за изготовление большого вентилятора для проверки чисто теоретического расчета о воздействии самых сильных ветров (достигать таковых при быстрой езде Лапусу не удавалось). Вот за этим-то занятием и застал его любопытный взор Симплициссимуса.

Как-то вечером Лапус сидел у камина и смотрел на огонь. Смотрел долго, до боли в глазах, пока язычки пламени не стали сливаться в одно целое, превратившись в живой, пляшущий призрак. Медленно текущие мысли окутывали прошлое и настоящее, ширясь, вырывались из пределов комнаты и начинали жить сами по себе. Лапус встал, прошелся по комнате, подошел к комоду, достал из ящика стеариновую свечу, зажег, затушил камин. Сел в кресло, поставил свечу на подлокотник. Тусклый огонек швырнул густую тень в угол комнаты, сконцентрировал в своем маленьком язычке дрожащее дыхание живого среди неживых вещей. Лапус стал играть с огоньком, подставляя ему свои ладони; то укорачивал пламя, то выпускал его на свободу, то лепил из огня загадочные фигуры. Ласковый, ручной огонек не сердился на Лапсуса, послушно играл в его руках, высвечивая на стене радостные рожицы.

Стукнула дверь. Лапус не запирался на ночь в том случае, если не работал в своей подвальной лаборатории. Дверь не запиралась, но никто не спешил войти в этот дом, поэтому Лапсуса удивило появление позднего посетителя. Он повернул голову в сторону двери, убрал ладони от свечи. Сделав несколько шагов, гость вошел в круг света. Это был Симплициссимус.

— Садись, сосед,— не вставая с кресла, Лапус придвинул гостю стул,— разожги камин, если хочешь. — Не стоит. В городе и без того духота.— Симплициссимус цепким взглядом скользнул по лицу хозяи-

на. Лапус смотрел на свечку. Симплициссимусу было не по себе. Вызывал отвращение характер поручения Табулуса, коробил сам факт заключения сделки, сделки, предметом которой была Флора. Но другого выхода он не видел.

Лапус не проявлял интереса к мучительным колебаниям гостя. Он спокойно сидел в кресле, словно забыв про Симплициссимуса. Так прошло несколько минут. — Слушай меня, Лапус,— начал Симплициссимус.— Я пришел к тебе не по своей воле и пришел с поручением, характер которого позволяет тебе выставить меня за дверь. Но я все же хочу, чтобы ты меня выслушал. Это будет полезно и для тебя тоже. — Говори. Никто и не думает тебя выставить: сам пришел, сам и уйдешь.

Симплициссимус вновь замялся. То, что ему предстояло сказать, казалось настолько омерзительным, что захотелось встать, уйти и больше не вспоминать об этом... На колено ему легла большая рука Лапуса:

— Ну, что у тебя, сосед? Давай помогу: от кого у тебя поручение?

— От Табулуса.

— Что хочет этот торгаш?

— Твой аппарат. Тот, что в подвале.

Лапус снял ладонь с колена Симплициссимуса, задумался. Симплициссимус, выпалив главное, почувствовал облегчение.

— Откуда он узнал о моем аппарате?

— Ты сделал ошибку, сосед,— Симплициссимус взял сдержанно-фамильярный тон Лапуса.— По ночам из твоего подвала пробивается свет. И, значит, каждый любопытный имеет возможность заглянуть на огонек, а заглянув, увидеть...

Лапус сделал движение, чтобы приподняться с кресла, затем вновь опустился в него.

— А как же Канон?

— При чем тут Канон?

— Канон, предписывающий обязательный ночной сон.

— Но ты же не спал!

— Да, но...

— А почему ты думаешь, что другие хуже?

Лапус заходил по комнате. Глядя на свечку, Симплициссимус ждал, когда тот заговорит.

— Право же, Симплициссимус, мне трудно уложить все это у себя в голове... Выходит, теперь весь город узнает о моем изобретении?

— Пока что о нем знаем только мы с тобой и Табулус.

— Что он хочет от меня?

— Я же сказал, он хочет иметь твою машину, кстати, как она называется?

— Вентилятор.

— Красивое слово...

Лапус бросился к Симплициссимусу и едва не схватил его за горло:

— Почему он не пришел сам?

Симплициссимус с трудом освободился из цепких рук хозяина и, вскочив, на всякий случай загородился стулом.

— Прошу тебя, Лапус, не волнуйся! Поверь, мне самому тошно вести этот разговор. Табулус потому и не пришел сам, что боялся тебя. Ведь ты мог убить его, похоронив тем самым свою тайну. Табулусу нужен был свидетель, и он выбрал меня.

— Ты с ним заодно?.. Этого надо было ожидать. Ты неплохой парень, Симплициссимус, но жизнь в одном доме с прохвостом даром не проходит...

— Ты не прав, Лапус!

— Тогда какого же черта ты здесь делаешь?

— Прошу тебя, сядь и не бросайся больше на меня с кулаками.

— Ладно!..

Они сели. Симплициссимус без особых затруднений, откровенно рассказал Лапусу о том, что заставило его принять участие в этом деле, то есть о Флоре и о договоре с Табулусом.

— Понятно.— Лапус помолчал.— Прощелыга Табулус держит на крючке и тебя, и меня... Даже больше тебя, чем меня. В конце концов я не пропаду и в изгнании, а вот ты связан с женщиной, следовательно, влип по горло... Но зачем Табулусу эта штукавина?

— Видишь ли, Лапус, Табулус не так прост...

— Ну, это я, положим, знаю. Страшнее всего иметь дело с умным подлецом.

— Я знаю Табулуса немного лучше, он не законченный мерзавец, но если он задался целью, то способен на все.

— И что же он хочет?

— Он понял, что твоя машина способна ликвидировать пространство снов или хотя бы пробить в нем брешь.

— Да, это так.

— Между тем среди конкурентов Табулуса большинство составляют канониры убежденные и добропорядочные. А для них нет худшей беды, чем остаться без своих снов. Табулус хочет поэкспериментировать с твоей машиной, чтобы получить орудие воздействия на конкурентов. Он еще не знает, как это сделать конкретно, но он будет искать. Он своего рода ученый...

— Ученый подлец!.. Впрочем, чутье его не подвело, он вышел именно на то, что ему нужно...

— Ты принимаешь его условие?

Лапус вновь принялся ходить по комнате.

— Я не знаю... Я никогда не думал об использовании своего аппарата, мне просто было интересно работать над ним. А теперь... Мне бы не хотелось, чтобы моим изобретением пользовался Табулус.

Симплициссимус покачал головой:

— Я понимаю, Лапус... Но пойми и ты меня...

— О чем ты? Ах, да...

— Флора...

Лапус раскрыл окно. Булыжник проспекта Великого Переселения плавился, разморенный снами канониров.

— В каком идиотизме мы все живем,— заговорил Лапус.— Ты бы понял меня, Симплициссимус, если бы хоть разок вдохнул встречного ветра. О, это совсем другое, совсем непохожее на нашу душную жизнь. Ну скажи, почему для того, чтобы в нездешнем городе совершить честный поступок, нужно с ног до головы извлекаться в грязь, после чего и самое чистое намерение покрывается коркой грязи? Почему у нас все перевернуто с ног на голову? Молчишь? А я спрошу еще, почему ты носишь имя Симплициссимус, которое даже трудно выговорить, хотя тебя зовут совсем по-другому? И меня зовут по-другому, и Табулуса, и Циркулуса, и вообще всех!

Лапус резко захлопнул окно, волна воздуха загасила свечу. В наступившей темноте Симплициссимус увидел, как бешеными огоньками засветились глаза Лапуса.

— Пойдем! — Лапус подскочил к попятившемуся Симплициссимусу, схватил его за руку.

— Куда?.. Я не хочу!.. — Симплициссимус пробовал отбиваться, но мощные руки извозчика загребли его в охапку, подняли в воздух.

— Нет!.. Оставь меня!

Лапус открыл дверь в подвал, стал спускаться по лестнице, но на первых же ступеньках Симплициссимус вырвался у него из рук. Но Лапуса было уже не остановить. Он тащил Симплициссимуса волоком вниз, голова Симплициссимуса билась о ступеньки, и на несколько минут он потерял сознание. Очнулся

от порыва свежего ветра. Рядом работал вентилятор. Звон в голове уменьшился, тело стало приобретать упругость, но вставать с пола не хотелось. Симплициссимус чувствовал, что боится оторваться от воздушной струи, боится вернуться в духоту города. Лежать под вентилятором было невыразимо приятно, но чем дольше он лежал, тем больше хотелось встать, выключить механизм, но сохранить в себе это ощущение легкости, простоты существования, когда сила — в тебе самом и нет вовне сил сильнее твоей силы. Симплициссимус поднялся, влажными от ветра глазами оглядел залитый светом подвал, потянулся к кнопке.

Когда вентилятор замер, из-за ширмы появился Лапус.

— Теперь ты понял? — спросил он.

3.

На следующую ночь, в тот час, когда в наших широтах нездешние светила проглядывают на плоскости осененного тучами неба, а в Нездешнем городе лишь сновидения бродят среди безлунного и беззвездного мрака, в этот час на проспекте Великого Переселения раздалось нетерпеливое цоканье копыт. Косясь одним глазом, запряженная в повозку лошадь волновалась при виде незнакомого предмета, который выкатывали из подвала хозяин с соседом.

Лапус с Симплициссимусом выкатили из подвала детище сумрачного гения, повозившись, погрузили его на повозку. Они работали молча, без крикательства, без ругани, стремясь не тревожить спящий город в последние минуты его покоя. Погрузив аппарат, Лапус сел на козлы и взял в руки вожжи. Повозка медленно покатила по мостовой.

В окнах Табулуса заметались огни. О, как ему хотелось остановить эту повозку, не оттого, что его не устраивал ее маршрут, а просто от досады, от злости, что все выходило вопреки задуманному. Он сутки провел у окна, не спуская глаз с дома Лапуса, гадал, что же могло случиться с исчезнувшим в недрах этого дома Симплициссимусом. На исходе суток Табулус уже не сомневался в том, что Симплициссимус мертв, и хотя порой торговца пронзала острая боль раскаяния, но все же в глубине души он был рад, что не пошел к Лапусу сам. И вот, когда все уже казалось ясным, он увидел эту повозку и Симплициссимуса рядом с ней. Он понял, что его обманули. Симплициссимус с Лапусом действовали заодно, и Табулус мог догадаться о том, что они задумали. У них не было другого пути, он сам лишил их возможности выбора. А значит, он является косвенной причиной того, что произойдет в эту ночь. Но что же делать, как остановить их? Весь город спит, надеяться не на кого! Табулус метался по дому, зажигал и гасил свет, отбрасывал попадавшие на пути стулья... Увидел Флору, грубо схватил ее за руку, затащил в подвал и запер дверь. Затем погасил огонь и вышел из дома.

Повозка с вентилятором не торопясь продвигалась по улице Доблестных Канониров в сторону рыночной площади. Двое мужчин, сопровождавших повозку, молчали: Лапус был по обыкновению неразговорчив, а Симплициссимус — подавлен тем, что предстояло сделать.

Табулус незаметно шел за повозкой. Он не знал, с какой целью следит за ней, но осторожно пробирался вдоль стен, опасаясь быть замеченным, стараясь не шуметь. В голове его не было ни мыслей, ни планов; может быть, им двигало одно лишь любопытство.

Повозка выехала на площадь. Табулус притаился на углу, наблюдая за ее медленным ходом. Его охватило странное чувство: он с нетерпением ждал, когда

же *это* начнется, и одновременно боялся *этого*, словно вслед за *этим* рухнет все, чем можно еще жить. Проснулось сладостно-страшное чувство неизбежной катастрофы, ладони покрылись чем-то холодным и липким. Когда повозка остановилась и Лапус с Симплициссимусом стали прилаживать к ней мостки, чтобы спустить вентилятор на землю, Табулус метнулся в сторону и побежал по периметру площади. В голове мелькнула мысль: «Они хотят спустить аппарат с повозки, чтобы не испугать лошадей!» Табулус бежал к окну, распахнутому на площадь, в неосознанной надежде предотвратить неизбежность. Он добежал до окна, рывком подтянулся, сел на подоконник, спрыгнул в комнату. Увидел белеющую в темноте постель, шагнул к ней, но тут же увяз в сновидениях. Они связывали его по рукам и ногам, не давали ни шагнуть, ни вздохнуть полной грудью. Табулус барахтался в вязкой тине, пытаясь добраться до спящего канонира, разбудить его, закричать во все горло, поднять на ноги город... Но все было тщетно. Заслышав донесшееся с площади мерное жужжание, он прильнул к подоконнику. Неспешно раскручиваясь, вентилятор набирал обороты, словно разминаясь, наконец заработал в полную силу. Струя ветра ударила в лицо торговца. Держась обеими руками за подоконник, он увидел, как площадь зажглась среди ночи ярким солнечным светом. Солнце зажглось прямо над головой, осветило самые темные закоулки Нездешнего города, разбудило спящих. Одурелые со сна люди вскакивали с постелей и окидывали свои комнаты взглядами новорожденных. Никто не мог видеть, как пространство снов трещало и ломалось на куски под напором искусственного ветра, и люди, лишившись привычной опоры, забывали себя, лишались прошлого и начинали жить заново, отсчитывая время с момента внезапного пробуждения. В атмосфере, разбуженной вентилятором Лапуса, поднялись невообразимые вихри, и стройный купол снов, расколовшись, обратился в хаос. Обрывки сновидений, перемешиваясь с воздушными потоками, образовывали безумную, болезненную картину мироздания. Много дров было наломано тогда. Но Табулус не знал об этом. Стоя в чужой комнате, он не сводил глаз с работающего вентилятора. И не заметил, не услышал, как пробудившийся хозяин без колебаний, с размаху опустил массивную трость на голову непрошеного гостя. Первая жертва новой эпохи упала ничком, залил кровью чужой подоконник...

4.

Симплициссимус бежал по городу. Он спешил, он чувствовал, что спешить необходимо, что можно опоздать... Вентилятор работал уже второй день. Город сошел с ума от непривычного, пьянящего вихря. Люди по-разному реагировали на случившееся. Одни из них круглосуточно перемещались по городу, сбивались в стаи, стаи сталкивались друг с другом и вновь разбегались по углам. Толпы людей с восторгом встречали бегущего Симплициссимуса, тысячи рук обнимали его. Ведь если человек бежит, значит, он свой, значит, он не из тех, что заперлись по домам и, укрывшись в тюфяках и перинах, оплакивают остатки ушедших снов. К таким на улицах испытывали глубокое презрение, и когда презрение выходило из берегов, люди врывались в запертые дома, вытаскивали укрывшихся и если оставляли их в живых, то уводили с собой. И увиденные вскоре забывали свой дом и свои слезы.

Симплициссимуса долго носило по городу, кидая из одной толпы в другую. Через трое суток он добрался до проспекта Великого Переселения, и здесь, в толпе, он увидел Флору. Толпа громила пустующий дом Лапуса. Симплициссимус остолбенел.

— Флора!

Она не узнала его. Ее растрепавшиеся волосы развевались в вихрях ветра, она металась в толпе, безумно хохоча, ее широко раскрытые, невидящие глаза были страшными и чужими.

— Флора!

Она повернулась, перестала смеяться, вгляделась в зовущего... Но через мгновение новый порыв ветра подхватил ее в свои объятия, родное лицо исказилось новым приступом смеха, и она исчезла в мельтешении человеческих тел.

Лапус, исхудавший, обросший, сидел на мостовой рядом со своим аппаратом, застывшим взглядом смотрел на взбесившийся мир. В его лице не было ни торжества, ни ликования, он словно уснул среди всеобщего пробуждения, и только где-то глубоко под окаменелой оболочкой бродила бессонная мысль. Много интересного мог он увидеть за эти дни. Прошел сильный ливень, и на площадь потянулись промокшие люди в надежде обсушиться у вентилятора. Они шли медленно, понурые, промокшие до нитки, понемногу приходили в себя, когда их тел касался живой ветер, останавливались в почтительном расстоянии от аппарата и возвращались к жизни. Оживился и Лапус, он поднялся с земли, его захлестнула волна нежности к этим людям, он улыбался и протягивал к ним руки. Но странное дело: обсохнув, люди смелели, подтягивались ближе к аппарату. Лапус шел им навстречу, преображенный, оттаявший, сбросивший с себя всегдашнюю угрюмость. Толпа приятно волновалась, свежее дыхание пробегало по ней упругими волнами, но в тот момент, когда, казалось, еще один миг, и Лапус вольется в эту толпу полноправной каплей, он, ужаснувшись, замер. Он увидел, как, по мере приближения к вентилятору, лица людей взрываются кровавыми брызгами, исчезают в багровой пелене, но люди, не замечая этого, движутся дальше. Они прошли сквозь Лапуса, сквозь вентилятор, они шли с развороченными черепами, и Лапус с ужасом смотрел, как, дойдя до противоположного угла площади, толпа превратилась в безукоризненно ровный строй, четко выполнивший неслышимую команду «Правое плечо вперед». Колонны людей с дырявыми лицами выполняли на площади строевые экзерциции. Не в силах наблюдать эту картину, Лапус потянулся к кнопке. Но кнопка не действовала, остановить вентилятор было невозможно.

Обрывки сновидений, лишившись своих владельцев, гроздьями падали на многострадальный город, наводнив его улицы фантастическими существами. Чего здесь только не было! Конечно, были здесь и огнегневные львы с синими волами, но, помимо них, на канониров просыпалось великое множество очень неприятной твари. Уму непостижимо, сколько мерзости было заключено в канонирских снах! Корчащийся в предсмертной агонии Канон плевался в город огромными, в человеческий рост, пауками, тарантулами и мокрицами. Улицы кишели чудовищными насекомыми, все это ползало, перекачивалось друг через друга и питалось падалью. К счастью, дары неба облюбовали не все городские магистрали, а выборочно группировались возле определенных домов. Может быть, это обстоятельство и спасло Нездешний город от неизбежного вымирания.

Лапус не видел этого. Постоянно работающий над головой вентилятор отпугивал упавших с неба животных. Но он смутно ощущал, что в городе творится что-то неладное.

...После пятидневного отсутствия на площади наконец появился Симплициссимус. Он прискакал на существе, отдаленно напоминавшем верблюда. Извозчик крепко обнял друга.

— Как там? Да на тебе лица нет! Нашел Флору?

— Да. Только... Она совсем не похожа на себя. Я едва узнал ее. Я не могу понять, в чем дело. Это будто бы не она.— Симплициссимус устало опустился на землю.— Кажется, я любил другую женщину.

Лапус присел рядом.

— Я должен был предупредить тебя об этом. Но когда ты пришел ко мне, я еще сам понимал не все. Знаешь, мы все теперь другие. Мужчины могут узнать друг друга, хотя и с трудом, но вот узнать женщину... Вряд ли.

— Может, не нужно было всего этого?

— Я думал... Я не знаю.— Лапус ударил кулаком по жужжащему аппарату, помолчал.— Что там, на нашей улице?

— Табулус исчез. Квипроквокус выстроил баррикаду и отбивается от пауков...

— В городе пауки?

— С тебя ростом. И другие гады.

— Ясно.— Лапус встал.— Завтра утром мы уходим.

— Куда?

— Куда подальше. Нужно увезти из города вентилятор.

— И что тогда?

— Все войдет в норму. Люди сами разберутся, как им жить. Канона больше нет. Если по городу бродят ожившие сны, значит, Канон умер, а все эти твари скоро вымрут вслед за ним, потому что их нет в природе... Ты берешь с собой Флору? — Симплициссимус медленно покачал головой.— Наверно, ты прав. Теперь все будет по-другому...

На рассвете Лапус с Симплициссимусом пересекли городскую черту. Лапус сидел на козлах, Симплициссимус шел рядом с повозкой. Жужжащий вентилятор выводил свою монотонную песню, заставляя лошадь коситься на него недобрый глазом. Не успевшее проснуться солнце лениво освещало безжизненную холмистую пустыню и забывшийся в болезненной дреме Нездешний город. Над городом в лучах восходящего солнца плескалось освобожденное от снов небо.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

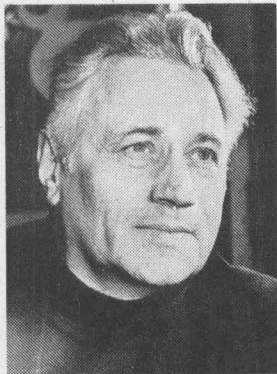
Недавно я вновь побывал в Нездешнем городе. Меня поразили его неузнаваемо широкие, омытые весенним цветением улицы. Не верилось, что несколько лет тому назад город лежал в руинах.

Я не нашел в городе старых знакомых. Я стал расспрашивать о них и с удивлением узнал, что нездешнегородцы не носят больше латинских имен. Теперь их имена чем-то напоминают греческие. Но более всего меня поразило то, что prospect Великого Переселения переименовали в Маросейку, а шоссе Утраченной Радости — в Воздвиженку. Я не поверил своим глазам, когда увидел таблички с этими наименованиями, однако пробежавший мимо мальчик заверил меня, что это действительно так.

Побывал я и в Поселке Изгнанников. Там теперь музей. Ветхие халупы ежемесячно обновляют и водят по поселку экскурсии. И только над обрывом щемящим сердце анахронизмом висит островок, где обитают Циркулус, Дормия и их повзрослевшие дети. Это единственные старые знакомые, которых мне удалось встретить во всей округе. Но как же больно было глядеть на их постаревшие лица, отделенные от людского мира зыбким маревом тумана.

P.S. Уже вернувшись домой, я получил сведения о том, что Лапус жив, здоров и полон новых планов. Сейчас он строит висячий мост, который соединит островок Циркулуса с большой землей. Сведений о Симплициссимусе у меня пока нет.

КОНЕЦ.



Виталий
КОРЖИКОВ

☆☆☆

Воспоминания о флоте —
О молодой железной плоти,
О поте — от Курил до Поти,
О злой работе — за гроши! —
Но больше все-таки о взлете —
Да-да, конечно же, о взлете.
Конечно, о свободном взлете
Неразбазаренной души.

☆☆☆

Сбылись для них пророчества,
Сбылись для двух пророчества.
Бывало, всё — по отчеству,
Бывало, всё — по отчеству.
И вдруг — не до пророчества:
Впервые — не по отчеству.
Сошлись два одиночества,
Два давних одиночества.
И та её — по имени
И та её — по имени.
И та глядит: — Прости меня.
И та глядит: — Прости меня!
Что там случилось в давности,
Какие были ревности —
Все затерялось в явности,
Все оказалось в древности.
И эта в старом платице,
И эта в давнем платице,
И только слезы катятся,
Все катятся и катятся.
И прошлое не пишется,
Одно лишь только слышится:
— Прости меня...
— Прости меня...
— И ты меня...
— И ты меня...

☆☆☆

Это мамино юное горе:
Маму били в тюремной камере,
А за стенкой пускали в расход
Боевой восемнадцатый год.
Девятнадцатый тоже пускали,
И семнадцатый год не ласкали.
Их — в подбор. Да и прочим годам
Предпочтения не было там.
И писали (случалась записка):
«Это наша последняя качка!» —
На подтеках лубянской стены
Капитаны гражданской войны.
А Лубянка плевала на ранги,
Только — пли! — И работали шланги,

Вымывая из наших знамен
Кровь и гордость прекрасных имен.
Это — был. Это видела мама.
И не в толк, что же в ней так упрямо
Ни на миг не давало пропасть —
Сквозь похлебки тюремной каморы,
Сквозь насилия этой Гоморры —
Вечной вере в советскую власть.

☆☆☆

Сколько в мире лесного шума! —
Даль, немереные края!
И у каждой травинки дума —
Всё о родине, но — своя.
То Поморье, а то Полесье,
Бег тропинок среди жнивья.
И у каждой тропинки — песня:
Всё о родине, но своя.
Слышу небо и поднебесье,
Призадумываюсь, пою —
То ли песенку, то ли песню
Вместе с родиной, но свою.

☆☆☆

Свет за окном едва мерцал — печальный свет зимы.
Молчал понурый комиссар, пришедший с Колымы.
Бутылка терпкого вина, притихшие цветы...
Сидела старая жена, вернувшись с Воркуты.
Одной судьбой, одной бедой им выдало седин.
И третьим с ними был седой отвоёвавший сын.
Вот и собрались в общий круг
В печальной зимней мгле.
Три пары горько сжатых рук
Лежали на столе.
Молчали... Губы — добела.
И наступала мгла.
А между ними жизнь была,
Которая прошла...

☆☆☆

Открыли — безусловно, до самой сердцевины:
Виновные — виновны, невинные — невинны.
Они не излиняли ни в Воркуте, ни в Бресте,
Они не изменяли ни родине, ни чести.
Но кто-то начинает помешивать колоду,
Но кто-то начинает мутить живую воду.
Мутит в угаре винном условность с безусловным,
Винное с невинным, невинное с виновным,
Чтоб выудить — дословно — заветную картину:
Невинные виновны... виновные — невинны!

Шторм

Надрывался рев стальной,
Содрогалась даль,
И стонала под волной
Палубная сталь.

Там, скрежещущий злодей,
Вздыбленный злодей
Превращал больших людей
В крохотных людей.

И смотрел любой отсек,
Видел каждый трап,
Кто сегодня — человек,
Кто — дерьмо и раб.

А простор в единый миг
Вдруг вздыхал — владей!
Превращал в больших людей
Маленьких людей.

И у тех, кто вдруг воскрес,
Кто воспрял хоть раз,
Разверзался до небес
Обновленный глаз.

И любой людской недуг
Океан прощал:
Это он в бессмертный дух
Души превращал.

Леонид
БОРОДИН
РАССТАВАНИЕ

Роман

— На рыбалку? — спрашивает таксист, глядя, как я корячусь на сиденье в обнимку с удочкой.

— Завтра.

— На Автозаводской, говорят, караси в полкилограмма, только жрать их нельзя, керосином пахнут. Разговорчивый таксист для меня кара небесная. Я откидываюсь на сиденье, делаю вид, что дремлю.

«Сегодня надо покончить со всеми делами» — так говорю я себе, хотя какие у меня дела, кроме Ирины?

В прихожей, только взглянув на нее, вижу: она подозревает, предчувствует. Традиционный поцелуй не состоялся, и не по моей вине, я потянулся было, но она, очень естественно, отшатывается, машет руками.

— Я намазалась.

Раньше она никогда не делала этого перед моим приходом.

— С рыбалки, что ли?

— Завтра собираюсь. Женька халтуру подкинул.

Я всматриваюсь в нее, делая это так, чтоб она не почувствовала моего взгляда. Я всматриваюсь и давлюсь жалостью. В сравнении с Тосей она не просто проигрывает, она вообще не смотрится, и мне ужасно обидно за Ирину — и стыдно, что я сравниваю ее с другой, которая просто моложе. Мне кажется, что она не заслуживает, чтобы ее с кем-то сравнивали.

Крашенные волосы ее, как всегда, немного растрепаны. Она носит «прямую» прическу, то есть ничего с волосами не делает, а только расчесывает их вдоль плеч. Надо бы ей делать прическу, ведь волосы хорошие, что угодно можно сообразить. Но разве у Ирины найдется время для прически? Разве можно сравнить ее ритм жизни и Тоси? У Тоси на все времени много, оно течет вокруг нее медленно и плавно. А вокруг Ирины вихри и смерчи, я бы сказал — суета, но сейчас не хочу о ней ни одного недоброго слова. Я вижу все морщины у глаз и у губ, и какую-то замученность в походке, и ту самую деловитость, что скрадывает наполовину ее женственность. Ничего этого мне бы сейчас лучше не видеть!

— Есть хочешь? — спрашивает она.

— Что ты натворила в студии? Женька мне в общих чертах нарисовал...

Пошло говорить о второстепенном, а главное — оставлять на потом, как камень за пазухой. И она дает мне понять, что видит мое влияние.

— Во всяком случае, это не столь серьезно, чтобы об этом говорить после столь долгой разлуки. — И переспрашивает настойчивей: — Есть будешь?

Я, как назло, до головокружения хочу есть. Но невозможно же в такой момент. А отказаться — тоже какая-то жалкая демонстрация.

— Так есть будешь?

Такой своеобразный щелчок по носу. Не юли и будь мужчиной. И я говорю решительно:

— Нет, есть не хочу.

Лицо ее на мгновение каменеет, и тут же она вновь сама собой.

— Пойдем в комнату.

Она гасит свет на кухне, и мы проходим в комнату. Я сдерживаю себя, чтобы не плюхнуться на кушетку, спокойно сажусь в кресло. Мне нужно сосредоточиться, но отвлекает комната, где мне хорошо было с Ириной. Я знаю, что мне нужно сделать — на минуту зажмуриться и отчетливо представить Тосю.

— Поговорим. — Это не я, это Ирина начинает вдруг и присаживается напротив меня на краешек кушетки. Она хочет взять инициативу на себя? Я не могу этого позволить. Я боюсь потерять ее уваже-

ние. Но я ничего не успеваю.— Такие дела, Геночка,— говорит она, глядя мне в глаза,— пока ты был в своей длительной командировке, произошли некоторые события.

И я поддаюсь.

— Какие?

Она усмехается, она понимает, что я поддался. Играть будет она.

— Я сошлась с другим человеком.

Даже глаза опускаю, мне жалко Ирину, мне стыдно за нее, что она вынуждена так играть.

— Надеюсь,— продолжает она все с той же усмешкой,— мы избежим шумных объяснений?

Я поднимаю голову, смотрю в ее настороженные, в ее дорогие мне глаза, и мне хочется упасть перед ней на колени и просить прощения, а после прощения, которое, конечно же, последует, просить благоговения на счастливую жизнь с другой!

— Я тоже хотел тебе сказать...— бормочу я.

— Как, и ты тоже? — спрашивает она с откровенным притворством.

— Ира...— бормочу я растеряннo, вскакиваю с кресла, делаю шаг к ней. Она смотрит на меня, а я, накалываясь на ее взгляд, содрогаюсь от... От чего? От любви к ней?! Но это нелепость! Или просто жгут меня те три года, что мы были вместе.

— Но это же хорошо, Гена! — говорит она.— Мы останемся друзьями. У нас ведь и не было ничего серьезного. Тем более,— она опускает голову,— что у меня, кажется, будет ребенок.

— От кого ребенок? — спрашиваю я внезапно оспившим голосом.

— Я же тебе сказала: я сошлась с другим.

— Ира,— говорю я с угрозой в голосе,— если это игра, то неумная.

Она делает большие глаза.

— Понимаешь, все было очень необычно, ну, ...не так, как у нас с тобой, и я похалатничала. Но я не жалею.

Я перестаю что-либо понимать. Сажусь в кресло основательно и удобно. Мне нужно преодолеть шок, собраться с мыслями и осмыслить Ирину сюрприз.

— Кто он? То есть от кого ребенок?

— Тебя это не должно интересовать, Гена,— говорит она вкрадчиво.— Как я поняла, у тебя тоже кое-что изменилось.

— А меня, представь себе, интересует, от кого у тебя ребенок, потому что... я... потому что, если все это правда, то ребенок может быть моим...

Она хочет что-то сказать, но я перебиваю ее своей мольбой:

— Ира, не лги мне! Я все равно не поверю!

— А когда рожу, согласишься? — Это она говорит достаточно холодно и даже зло.— Успокойся, ты знаешь этого человека. Но я его пока не назову, потому что он сам еще не знает, да и я не совсем уверена. В понедельник пойду к врачу.

Что же это? Ирина мне изменила, да еще с кем-то из моих знакомых. Я пытаюсь новыми глазами взглянуть на эту женщину, и постепенно в мозгу возникает, вырисовывается слово «катастрофа». Если все правда, значит, я совершенно не знал Ирину, значит, она вся, решительно вся, осталась для меня неузнанной. Я пытаюсь вспомнить последние дни перед моим отъездом, как я от нее уезжал на вокзал, а она заказывала такси, и такси пришло немного раньше, чем ожидалось, и мы оба были этим раздосадованы. Она, правда, не провожала меня, как обычно, но была ночь... Тут я спохватываюсь и говорю себе, что безоблачность нашего прощания не помешала мне самому влюбиться в Тосю. Но, черт возьми, Ирина же не влюблена, да и нет среди моих знакомых никого, к кому бы я мог ее ревновать! Женька? Но они сто

лет знакомы. Ничего нового у нее с ним быть не могло...

— Ира, если ты все это придумала...

— Хватит, Гена,— обрывает она меня устало и с какой-то болезненной гримасой.— Хватит. Я тебе сказала все. Про тебя я не спрашиваю, потому что для меня это уже не имеет значения. И уже поздно...

Злоба захлестывает меня, я уже не думаю ни о какой справедливости, я просто не могу проглотить эту обиду.

— Да, у меня тоже изменения. Я влюбился, как мальчишка. Влюбился! А ты? Тоже будешь говорить, что влюблена? Знаешь, ты кто?!

— Я будущая мать не твоего ребенка. Ты же интеллигентный человек, ты именно это хотел сказать?

Я вижу, она сейчас заплачет, я знаю, она будет плакать, когда я уйду, я не понимаю только, почему она будет плакать. Мне нужно уходить, скоро закроется метро, а на такси у меня больше нет денег, но уйти я не могу.

— Не уйду, пока не скажешь мне все.

— Как хочешь.

Она поправляет волосы, отворачивается, но я догадываюсь — слезы.

— Можешь оставаться,— говорит она, приняв какое-то решение,— спи на кушетке.

Она быстро уходит в спальню и мгновенно закрывает за собой дверь. Я врываюсь за ней.

— Не смей входить,— говорит она тихо, но решительно. А лицо уже в слезах, они выплеснулись в одно мгновение, как только она закрыла за собой дверь!

Я переполнен жалостью и раскаянием. Я забываю обо всем, сжимаю ее плечи.

— Не смей прикасаться ко мне,— шепчет она.

— Молчи! — отвечаю я тоже шепотом.— Ты действительно беременна?

Она кивает.

— И это мой ребенок, да? Ну, мой же?

— Нет,— еще тише говорит она,— не твой.

— Тогда скажи: кто он? Я прошу! Я очень прошу!

Она осторожно высвобождается, отходит к дивану, над которым висит в грубой раме подлинник известного и модного художника, о котором Ирина когда-то писала. Помню, с каким бешенством я принял появление этого подарка с дарственной надписью: «Очаровательнейшей из женщин...» Это была весна нашего с нею романа. Я поносил этого художника, как только мог, она только смеялась. Уж не этот ли художник?..

Рядом с диваном шкаф, Ирина открывает дверцу и подает мне плед.

— Иди туда, я принесу постель.

А мне бы сейчас в мою комнату! Я устал от загадок, и вообще устал, день был не из легких. Но брать у нее деньги на такси... Я устал. Я хочу спать. Депрессия...

Любимый мой!

Я получила твое письмо. И плакала. Совсем другие слова, и все другое, и я не слышу тебя! Если я получу еще такое письмо, значит, все, что было, приснилось мне. Папа говорит, что очень трудно положить на бумагу думы человеческие. Ему иногда приходят в голову такие проповеди, что если бы их произнесли в храме, сколько зла не сделалось бы людьми! А начнет писать, и ничего не получается.

Но это же совсем другое дело, правда? Ведь умная проповедь — это больше от ума. А если от сердца, то разве бумага помеха?

Я молюсь, чтобы все тебе удалось, хотя не понимаю, зачем столько много денег! Но тебе виднее.

Только прошу тебя: не пиши мне таких писем! Я боюсь их!

У нас также тепло, а по телевизору говорят, что в Москве дожди. Показывают Москву, улицы, и я смотрю, вдруг ты идешь...

Я люблю тебя! Я молюсь за тебя, Любимый!

Я уже устала без тебя!

Твоя

2.

Уже неделю я вкалываю как проклятый. В музее со мной расстались без особого сожаления. Я и не рассчитывал на другое, но было обидно.

Раньше не замечал, а сейчас подумалось, что такая принципиальная ненужность — это, должно быть, дефект воли. Литературные «лишние люди» мне всегда казались плоскими и пошлыми. По-моему, только наше время выявило простую истину, что в противостоянии личности своему времени нет ничего оригинального и уж тем более выдающегося. Все это становится похожим на затасканный сюжет — та же поза, те же слова, — и я сильно подозреваю, что все эти «лишние», о которых столько намотано рассуждений, выстроено концепций и исписано бумаги, были очень похожи на меня, ну, а себе-то цену я знаю! Я просто размазня, у меня слишком много чувств, чтобы хоть какое-нибудь из них стало моей волей. Но хочу я всего того же, что и прочие, не «лишние», — какого-то успеха, уважения, любви и, пожалуй, именно в такой последовательности. По крайней мере так было до сего времени.

Сейчас я делаю ставку на любовь, мне нужен тыл, прочный, надежный, куда при случае можно исчезнуть из основного мира, если он осточертеет. Само сознание, что есть куда отступить, должно придать легкость слову и делу, привнести своеобразный игровой момент. Неудачники, по-моему, это люди, слишком серьезно относящиеся к своей деятельности, к своим поступкам и реакции на них. Подлинный успех должен быть немного театрализован. И только в тылу, в семье должно быть все прочно, естественно. И вот я делаю ставку на любовь. Я ставлю карту на Тосю, поповскую дочку. И вот я делаю последнюю свою халтуру, которая обеспечит мне материальную базу для устройства гнезда.

Правда, дело оказалось серьезнее, чем я думал, и я побаиваюсь, как бы мне не увязнуть. Каждое утро, прежде чем начать работать, я повторяю себе, что делаю «халтуру», что это калым, что увлекаться этим нельзя, потому что и те, для кого я это делаю, тоже ждут от меня только «халтуру». И все же, кажется, увязваю...

Все началось чисто, по Женькиному плану. Однорукое я нашел быстро. Пристроился рядом, и, по счастью, не было клева. Я достал бутылку, предложил. Потом — вопросик, другой, и вот у меня сюжет для проходной, тиражной книжицы! Андрей Семенych — бывший дивизионный разведчик. Когда он начал повествовать мне о своих подвигах, я подумал, что заливает, но у себя дома он показал мне свой орденский иконостас. Жена его, Полина Михайловна, ни во что не ставит былые подвиги супруга и проклинаяет его пристрастие к рыбалке, которая каждую осень укладывает его в больницу.

На мое предложение написать о нем он ответил серьезно и с достоинством: «А чего? Кино смотрю, книги читаю про войну, у меня кое-что и похлестче было. Валяй!»

Нынче военной темой забита вся пресса. До меня эта тема дошла через Ремарка. Что действительно интересно для меня из всей памяти о войнах, так это отношение к смерти. Вечерами, обрабатывая магни-

тофонные записи, вдруг в какой-то фразе или даже интонации моего героя улавливаю что-то глубоко философское, бездонное по смыслу, сталкиваюсь с психологией незнакомого, непонятного мне бытия. Вот, например, такая фраза: «Доползли мы с этим армянином до бугра, и тут очередь. Прижались. А время-то — секунды остались! Я его локтем в бок, поперли, мол, дальше. А его уже и нету. Пополз один».

Я снова и снова слушаю о том, как он «пополз один», и не могу понять, почему эта фраза вызывает во мне дрожь. То ли, что в течение секунд был какой-то армянин, а потом не стало, то ли, что через секунду второй пополз дальше, как будто ничего не случилось? Мне хочется понять, что такое привычка к смерти, ведь героизма здесь, пожалуй, нет, то есть нет волевого преодоления. Я думаю, что миллионы не могут быть героями и термин «массовый героизм» — такая же нелепица, как «массовая гениальность». Но и привычка — тоже не точно, потому что страх смерти не исчезал, он был... Я боюсь смерти и поэтому не смогу пройти по карнизу девятого этажа, какая бы в том ни была необходимость, страх становится моей волей, и эта воля не даст мне шагнуть на карниз. Что же происходило с психикой людей на войне, если страх не становился их волей? Может быть, действовала другая, более могучая воля, а скорее всего, она была составной из ненависти, команды и неизбежности? Еще вера в удачу. Еще профессионализм...

При встрече всматриваюсь в лицо Андрея Семенychа, в его фотографии военных лет, и пытаюсь понять или догадаться, что у него было определяющим в его привычке к смерти, к своей смерти и к чужой. Спрашивать бесполезно.

У него двенадцать наград за боевые действия, или так называемые подвиги, и я раскладываю их по типам. Два из них — чистая удача, которая могла выпасть каждому. Пять — итог высокого профессионализма. А вот остальные пять — результат риска, игры с жизнью, их я уверенно назову подвигами, то есть действиями, противоречащими инстинкту самосохранения, самому могучему инстинкту всего живого. И об этих подвигах я выпрашиваю его особенно тщательно, придирчиво, заставляю копаться в памяти, раздражаю его своими расспросами. Он не может понять, чего я от него хочу, да и сам я не очень-то отчетливо сознаю, что пытаюсь найти, уловить в чужой памяти. Словно что-то здесь касается меня самого, будто не в нем, бывшем солдате, жажду я разобраться, а в себе. ...но что мне до войны, у меня войны не было. Но вдруг заползает сомнение: так ли это?

Короче, есть опасения увязнуть в материале. И я снова вдальбливаю себе: это халтура, это калым, и нос следует держать строго по ветру, то есть по конъюнктуре. А конъюнктура требует от меня всего лишь сносного описания фронтовых подвигов дивизионного разведчика во имя социалистической родины. И мне жаль, что приходится работать на конъюнктуру, когда в руки сама идет тема, на которой можно выложиться с потрохами. Но... кому это нужно?

А между тем этот Андрей Семенych меняется у меня на глазах. Куда-то деваются пустое балагурство и загнанность, что были во всем — в фигуре, в походке, в голосе. Он выпрямляется, а в его глазах, вчера еще робко моргавших, слезившихся, сегодня будто и цвет появился, и блеск, и прищур этаким, обращенный куда-то в себя, и я не узнаю того безрукого выпивоху и болтуна, которого встретил на рыбалке в Царицынском парке. Кстати, как раз вчера мы снова побывали с ним на рыбалке, и надо было видеть, как он разговаривал с рыбаками и со мной в их присутствии, как держал удочку и как

несуетливо, без былого хвастовства, снимал карасей с крючка...

Вчера же он поразил меня еще одним рассказом, а вернее, признанием. Я перед этим рылся в архивах, куда отец выбил мне доступ, и установил некоторые хронологические неточности в рассказах Андрея Семеныча. Об этом я сказал ему, и он обиделся и настоялся:

— Значит, проверяешь, не брешу ли?

Я объяснил ему как можно тактичнее, что если он, скажем, перепутает сентябрь с декабрем, то ничего страшного, но если я в книге допущу эту неточность, это брак в работе, за который мне будет стыдно, когда на него укажут. Андрей Семеныч некоторое время молчал хмуро, а потом со вздохом сказал:

— Одну туфту я тебе кинул, чего доброго, докопаться в этих архивах, кто знает, что там хранится про нас. Не на mine я руку оторвал. По-другому это было.

И вот что он мне рассказал: по развалинам дома, заросшего бурьяном, ползет человек, ему нельзя ни на сантиметр оторваться от земли, и вдруг удар в руку, а под рукой что-то скользкое, извивающееся, и еще удар, и вскрикнуть нельзя — смерть! Так, с дважды укушенной рукой, он ползет дальше, рука немеет и опухает на глазах. «С тех пор змей видеть не могу. И если б мне руку не оттапали, воевать все равно не смог бы. Земли боюсь. Травы боюсь. На всю жизнь. Везде змеи мерещатся. В кино змею увижу, тряхнуться начинаю. Из деревни уехал, где родился да пацаном рос. Ненавижу землю! Теперь только на асфальте себя нормально чувствую. На пенсию не проживешь, картошку с женой сажаем за Востряковом. Сажать еще ничего, а копать... Все промеж кустов что-то ползает. Такое дело».

Андрей Семеныч не понимает, какая это будет выгрышная страница. Наконец, что-то живое. Какие причудливые вещи случаются на войне — из-за чего мог крестьянин возненавидеть землю!

Но боюсь, у меня это вычеркнут, мне нужно гнать мою конъюнктуру, и я начинаю испытывать стыд.

Вся надежда на моего отца, он знает ключ, как мою вынужденную халтуру превратить в феномен нормы. Я стучусь к нему и слышу: «Входи!» Это значит, отец не работает и готов говорить со мной. Он сидит на диване с книжкой в руках и жестом приглашает меня шлепнуться в его рабочее кресло, настолько удобное, что я в нем никогда бы работать не смог.

— Расскажи о войне, — говорю я коротко.

Отец удивленно вскидывает брови, а затем молча указывает на полку, где выстроена военная мемуаристика и прочие книги о войне.

— Нет, — отвечаю я, — расскажи о своей войне. Что для тебя была война?

— С чего это ради? — удивляется он.

— Халтура у меня на военную тему.

Отец не видит в моих словах кощунства, он реалист.

— Но ты же знаешь, моя война не в счет. У меня одна медаль «За победу», которую давали всем.

— Но ты несколько раз писал заявления, просил-ся на фронт. Почему?

Он пожимает плечами.

— Мне было девятнадцать. Кругом фронтовики в медалях и орденах, brave, речистые. Я же салага, тыловик. Девушки на таких не смотрят. Я даже был огорчен, когда война кончилась. Щенок был.

Да, мой отец не источник информации.

— Тогда скажи, столько лет прошло, почему наше мирное сообщество по сей день играет в войну: студенческие десанты, отряды, бойцы, командиры, погоны и в кино взрывы и выстрелы? Почему нужно все это помнить и ничего не забывать? Почему нормальная мирная жизнь не рождает у нас символов и при-

ходится спекулировать на военной тематике?

Отец задумывается, это с ним редко случается, обычно ответ у него на языке. Я так и спрашиваю:

— Ты в затруднении?

— Пожалуй, — соглашается он, — не знаю, на каком уровне тебе ответить.

— На твоём, разумеется.

— Видишь ли, система наша является замкнутой, так сказать, по определению, то есть замкнутость есть своеобразная необходимость ее совершенствования. И в некотором смысле враг мой — друг мой. Чем отчетливей лики наших врагов, тем крепче мы стоим на ногах. Улавливаешь?

— Ты хочешь сказать, что разрядка не в наших интересах?

Ясные отцовские глаза искрятся иронией.

— Ваше поколение пренебрегает диалектикой, а зря. Диалектика тренирует мысль, учит рассматривать явления с разных точек отсчета. Разрядка — на пользу социалистическому лагерю, а напряженность цементирует социалистическую структуру. Потому социализм и непобедим. Понятно?

Я тупо смотрю на отца. Глаза его смеются, и мне кажется, что надо мной потешается нечто иное, огромное, непостижимое — и могущественное.

— Разрядка привносит в нашу экономику перспективы, возможности роста, но она разбалтывает структуру, и очередная холодная война, которую, конечно, объявляем не мы, а те, кто раздосадован нашими выгодами в разрядке, вызывает к жизни центристские тенденции. И новым букетом... — Отец поднимает палец вверх. — ...новым букетом расцветают все цветы социализма, а все приобретенное в период разрядки остается при нас. История работает на социализм. Осознают ли это малявки, фыркающие на величайшую реальность истории?

Отец уже откровенно смеется. Я не смеюсь.

— Допустим, но при чем здесь военная символика? — При том, что социализм побеждает тогда, когда защищает свои завоевания.

— Ты можешь говорить проще? — Я уже злюсь.

— Проще, Гена, можно говорить о простом. Коли уже у нас военная тема на повестке, я бы сравнил социалистическую тенденцию с пулей нарезного оружия. Убойность и дальность такой пули зависит от ее вращения, заданного нарезками в стволе. Торжество социализма зависит от степени ортодоксальности его структуры. Заметь, наш строй пользовался наибольшей популярностью в мире именно тогда, когда он был, ну, скажем, не очень-то привлекателен, я имею в виду сталинскую эпоху...

— Ты хочешь сказать, что сталинизм — это ортодоксальный...

— Ни в коем случае, — поспешно перебивает отец, — все эти ГУЛаги лишь издержки становления.

— Щепочки?

— Издержки! — не соглашается он. — Ортодоксальность социализма многогранна. Но цели в то время были очерчены яснее и определеннее. Бескомпромиссность — это самая обаятельная сторона социалистического идеала. Ваш Солженицын, поди, думает, что это он своими писульками настроил Запад против нас. Ничего подобного. Это Хрущев скомпрометировал наш социализм, он нарушил принцип не-критикуемости пути.

Я вскакиваю с кресла.

— Слушай, папа, почему бы тебе не сказать обо всем этом в своих лекциях?

Я нарушаю неписанный закон нашего общения — не переходить на личности. И отец мгновенно словно маску натягивает.

— Я пытался говорить с тобой, как с мужчиной.

— А чего, по-твоему, мне не хватает до мужчины?

— Мужества,— говорит он, и мне становится больно, будто меня ударили по ране. Я пытаюсь вернуться к разговору.

— Значит, ты считаешь, что игра в войну — это своеобразный способ укрепления структуры? Так?

— Так,— нехотя соглашается отец,— если мыслить совсем уж просто.

Но я это знал и до него. Что же я хотел услышать? Пожалуй, то, чего не знаю, разве не думаешь иногда, что все-то и дело в том, что ты чего-то не знаешь.

— Возможно, ты говорил истину, то есть факты...— Я усиленно тру ладонью лоб.— Ну, а если я не принимаю эту истину, если она мне отвратна?..

— На истине это никак не отразится.

— ...Как тогда я должен жить, чтобы уважать себя?

Он смотрит на меня, словно оценивает мои способности к восприятию высших и горьких истин.

— Бороться с миром объективных вещей — дело сумасшедших!

— Что же остается?

— Наверно, уйти из этого мира.

Господи, да что же он за человек! Сказать такое собственному сыну, не моргнув глазом, не вздрогнув...

— А если я последую твоему совету, ты не будешь испытывать угрызений совести?

— Нет,— говорит он спокойно,— если человек добровольно выбирает смерть, значит, жизнь для него еще хуже.

Мне очень хочется кричать: «Ты не человек! Ты монумент, марксистская скрижаль на мраморе!» Я не кричу. Я иду к двери, но отец окликает меня:

— У меня тоже есть к тебе кое-что...

Отец смущен, он тербит прядь на виске, и это признак чрезвычайного волнения. Я снова сажусь в его кресло, а он стоит напротив.

— Я хотел бы познакомить тебя с Валентиной.

— Это необходимо, папа? — спрашиваю я как можно мягче. У меня нет никакого желания знакомиться с этой женщиной. Отец тербит висок, странно видеть его в такой позе, даже неловко за него.

— Необходимости, конечно, нет, но я просто не смог ей объяснить, почему этого делать не нужно.

Мне все понятно. Если она хочет познакомиться со мной, значит, имеет на отца далеко идущие виды. Понимает ли это отец?

— Извини, только один вопрос.

— Конечно,— соглашается он.

— Ваши отношения перспективны или...

— Понимаю,— опять торопливо отвечает он,— я могу только еще раз спросить тебя, согласен ли ты на эту встречу?

Наивный, я надеялся, злоупотребляя ситуацией, заставить отца хотя бы чуть-чуть раскрыться. Увы!

— Конечно, папа, только согласуем сроки, я сейчас пашу, как савраска.

— Я скажу тебе за два дня.

— Договорились.

Я выхожу из комнаты, в голове у меня пустота — и полная неспособность работать. Устало просматриваю листки, бросаю их на стол, и рука сама тянется к телефону. Я даже чувствую, как аппарат радостно вздрагивает, неделю я не прикасался к нему.

Первое в голове — Ирина. Но нет, звонить я ей не буду. Я просто не в силах сейчас. Женька? Я набираю — номер молчит. Матери звонить? Это тоже сложно. Что же это такое? Не с кем потрепаться просто так, для отдыха. Открываю наугад записную книжку. Пожалуйста, Олег Скурихин, профессиональный телефонный трепач, щелкопер из бывшей Ирининой компании, откуда я ее выудил.

— Ты объявился? — радостно кричит он.— Наконец-то! Где Ирка?

— Наверное, дома.

Меньше всего мне хочется говорить про Ирину.

— Как дома? Ты ее не видел? И ничего не знаешь? Ее же выперли с ТВ, она там репортажик заделала...

— Про репортаж знаю. Когда ее уволили?

— Вчера. Слушай, дуй ко мне, тут вся наша шарага, мзгуем, что делать. Нельзя же ее на съедение отдать.

— Еду,— отвечаю я и кладу трубку.

«Вся шарага» — это прежде всего сам Олег, полнеющий, лысеющий и лоснящийся бронет, на круглом его лице чаще всего — дурашливость. Но журналист он проворный, бойко пишущий, котирующийся. Его жена Мария, исполняющая какие-то не очень ясные обязанности на «Мультфильме», характера деспотического, голоса категоричного. Она имеет обыкновение вмешиваться в любой разговор, особенно любит завершать его какой-нибудь многозначительной репликой. По-моему, глупа, как любая женщина, демонстративно претендующая на ум.

Феликс Рохман, постоянный Иринин оператор, сутливый, говорливый, долговязый еврей, всегда напичканный информацией из жизни киношной богемы.

Анатолий Дмитриевич Жуков, Иринин режиссер, самый старший в «шараге», медлительный и многозначительный.

Лена Худова, полностью оправдывающая свою фамилию, очень милая девица переходного возраста и странного социального положения, она всегда при Жукове. Он представляет ее как свою ассистентку, но, боюсь, не в согласии со штатным расписанием студии ТВ.

И, наконец, Юра Лепченко, молчаливый и немного вялый, на редкость добрый человек и плохой поэт, недурно, однако, зарабатывающий.

В общем, все вместе — мы милая и непритязательная компания, почти стабильная, если не считать Женьку и меня самого. Мы лишь периодически всплываем в этом омутке приятного времяпрепровождения. Женька не частый гость по причине несоответствия уровней, он гений и делец, я же, оторвав Ирину от этой компании три года назад, избегал появляться с ней, она мне меньше нравилась вместе со всеми.

У Олега отличная трехкомнатная квартира, дети почти всегда у бабок. Я застаю всю компанию в большой комнате, оборудованной под гостиную. Все по углам, стол, заставленный тарелками, рюмками и бутылками, одиноко в центре. Мягко ухает стереофоника. От одного стула к другому важно перемещается огромный черный кот Фырка.

С моим приходом все стягиваются к столу, над рюмками взлетает бутылка. Я с жадностью глотаю водку, плачу горлом и глазами, но быстро обретаю форму.

— Значит, так,— говорит Мария, жестикулируя пухлой ладонью,— мы обсудили и пришли к мнению, что это прямое беззаконие, надо принимать меры.

— Какая формулировка приказа? — спрашиваю я Жукова.

Мария его опережает:

— Какая формулировка? По собственному желанию, конечно.

— Ах, она сама...

— Что значит сама?

— Дело в том,— вмешивается Жуков,— что мы не можем ее найти, как в воду канула. А подробности важны.

— Какие еще нужны подробности! — кричит на него Мария.

Олег напоминает ей, что у нее в руках рюмка,

а пока она пьет, морщится и закусывает, мы торопимся обменяться репликами.

Феликс, потрясая кудрями, нависает над столом.

— Известно, что она была в кабинете у главного больше часа.

— Но ведь есть цензор, он несет ответственность...

Феликс торопливо разъясняет мне.

— Новенький, прошляпил. Ирина сказала на просмотре, что в обкоме одобрили. Цензор тоже вылетит, будь спокоен.

— Еще бы,— вставляет Жуков,— этот чинуша принимает иностранные делегации от имени горисполкома, а мы его высекли, как стрелочника.

— А на кой черт это было нужно? — спрашиваю я, глядя Жукову в переносицу, где уютно водружены очки в серебряной оправе.

Он удивлен моим вопросом и высказывает удивление всей мимикой. Подает голос Леночка Худова, как и положено ассистентке:

— Ну, что ты, Гена! Это нужно! Они должны бояться гласности, они должны чувствовать свою подотчетность!

Не поворачиваясь к ней, Жуков уточняет:

— Дело не в них в конце концов, дело в нас, хотя бы иногда мы обязаны использовать оружие, к кото-

рому допущены.

Я уверен, что «мы» здесь ни при чем, все сделала одна Ирина, а режиссер и оператор — лица второстепенные. Ни Жуков, ни тем более Феликс самостоятельно не чихнут, Ирина сделала из них «мы», и они ужасно довольны, что сами ничем не рискуют.

Я понимаю вдруг, что думаю о ней не как о чужой, и вспоминаю то новое обстоятельство, что так осложнило наше расставание. Если она действительно беременна, то уволить ее не могли. Она согласилась на увольнение,— значит, либо не хотела воспользоваться этим обстоятельством, либо... его нет?!

— В общем, мы решили писать телегу в ЦК,— резюмирует Олег, и немедленно включается Мария:

— Подпишешься?

Я не поворачиваю к ней головы.

— Надо бы знать мнение Ирины на этот счет, желает ли она заступничества.

— Слушайте,— вклинивается Феликс,— а, может, евреям подкинуть информацию?

— Каким евреям? — настораживается Мария. — Диссидентам. Завтра же «голоса» протрубят!

Я знаю, Феликс ужасно гордится, что среди диссидентов много евреев, хотя сам он вполне благополучный москвич.



Вмешивается молчавший до сих пор Юра Лепченко:
— Твоим евреям сейчас не до нас, их самих шерстят.

Все смотрят на меня. Я здесь самый близкий к диссидентам, потому что Люська — активистка.

— Не думаю,— говорю я,— что Ирина это одобрит.

Вижу, как все, в том числе и Феликс, соглашаются со мной. Но молчат. И только Мария не может не закрыть тему.

— Да, не хватало, чтобы Ирку в диссиденты зачислили!

Кот Фырка запрыгивает ко мне на колени и тянется лапами на стол. Мария шлепает его по морде, и Фырка проворно исчезает под стульями.

— Совсем обнаглел!

— Итак,— подвожу я итог,— нужна сама Ирина и ее мнение, а до тех пор нет смысла что-либо принимать.

И опять все радостно со мной соглашаются, и все перекладывается на меня — мне встречаться с Ириной, выяснять, принимать решение. Для этого я и зван.

Появляется еще одна непочатая бутылка.

— Кто разбогател? — спрашиваю.

Олег тычет пальцем в Юру Лепченко.

— Гонорар! Зарифмовал «вы хотели — двигатели». Вознесенский лежит плашмя! Из-под носа рифму увел!

Юрины стихи — постоянный объект юмора. Он не обижается. То ли сам сознает халтурность своих стихов, то ли, напротив, мнит себя непонятым гением.

— Как там, в российских глубинах? — спрашивает меня Жуков.

Я отделяюсь пожатием плечами.

— Города Урюпинска не встречал? — Это Олег, и, значит, будет анекдот.

— Экзамен по истории КПСС. «Расскажите о решениях двадцать третьего съезда», — говорит преподаватель. «А разве такой был?» — удивляется студент. «Вы откуда свалились?» — «Я из Урюпинска». Преподаватель обхватывает голову руками: «То ли «два» ему поставить, то ли бросить все к чертям да уехать в Урюпинск?»

Мы все гогочем.

— Братцы! — восклицает Олег. — Неужели в этой стране нет города Урюпинска? Хочу в Урюпинск! Марья, уедем в Урюпинск?

Жена смотрит на него снисходительно, она знает, что никуда ее Олег не уедет, и никто из нас не променяет Москву ни на какой Урюпинск, буде он есть на этой земле. Мы все дети эпохи, мы в ней, в нашей эпохе, как рыба в воде...

Леночка Худова пьяненькая, ей хочется петь, но она терпеливо ждет, чтобы кто-нибудь попросил ее. Я говорю:

— Леночка!

Она кидает взгляд на своего режиссера, Жуков бровями позволяет, и она бежит к инструменту. Она поет русские романсы, она заботится о своем репертуаре, у нее всегда есть сюрприз. И по первым аккордам я уже знаю, это что-то новое, то есть что-то очень старое, как рыба в воде...
Леночка Худова пьяненькая, ей хочется петь, но она терпеливо ждет, чтобы кто-нибудь попросил ее. Я говорю:

— Леночка!

Она кидает взгляд на своего режиссера, Жуков бровями позволяет, и она бежит к инструменту. Она поет русские романсы, она заботится о своем репертуаре, у нее всегда есть сюрприз. И по первым аккордам я уже знаю, это что-то новое, то есть что-то очень старое, как рыба в воде...

стула, подхожу к Леночке и целую ее в щечку, я знаю, все понимают это правильно.

Я наваливаюсь на стул сзади нее, мои губы в ее волосах, и как только голос ее замирает, я шепчу громко:

— Леночка, я люблю тебя!

И слышу сзади вялый голос Юры Лепченко:

— Что-то ты сегодня ее любишь раньше обычного.

Я оборачиваюсь и отвечаю уничтожающе:

— Молчи, пегасист проклятый. Не пачкай цинизмом светлость моих чувств. Я всю неделю вкалываю со знаком качества. У меня трудовые мозоли на пальцах от фашистской машинки «Олимпия».

— «Олимпия» — фирма ГДР, — неуверенно поправляет Феликс Рохман.

— Тебе хорошо, — говорю я Феликсу, — у тебя есть историческая родина, тетя Голда и дядя Даян, у тебя есть Стена плача, а нам, бедным шовинистам с имперским сознанием, куда голову преклонить, в чей фартук поплакаться? У нас только прошлое! Тебя в этом прошлом не было, а вот я был, и утробно помню все, и Леночка помнит. Ты ведь помнишь, Леночка? Этот романс я, молодой и усатый гусар, написал в твою честь, и это же было совсем недавно, каких-то полтора года лет назад.

— Помню! — отвечает Леночка, целует меня, и ее слезинка на моей щеке. — Помню, это было осенью, ты сделал мне предложение, а я любила другого, но мне было очень жаль тебя, и я записала твой романс в альбом и разукрасила страничку грустными виньетками из маленьких, маленьких сердечек.

— Видишь! — кричу я торжествуя. — Все было! Мы жили!

— И периодически развлекались поркой мужиков, — вставляет Феликс.

— Не помню! — возражаю я категорически.

— А может быть, он помнит! — Феликс тычет пальцем в затылок Юры Лепченко. — Именно утробно помнит.

Я отрываюсь от Леночки, подхожу к Юре и опускаюсь перед ним на колени.

— Если ты помнишь такое, можешь ли простить? Меня тоже высекла история. Жестоко высекла. У нас у всех драные спины. Так простишь?

Он протягивает мне руку.

— Прощаю. Встань, брат.

— Видишь! — кричу я Феликсу. — Знаешь, что это такое? Это наш шанс иметь общее будущее!

— Что это с тобой сегодня, Гена? — удивленно спрашивает Жуков. — Ты никак славянофильством увлекся. Вот уж на редкость скучное занятие.

— Зато модное, — вставляет Феликс.

Я возвращаюсь к Леночке, которая уже не знает, петь ей или лучше помолчать, коли мужчины заговорили на серьезные темы.

— Не знал, что это называется славянофильством, — отвечаю я, глядя на Леночку, — просто начинаю новую жизнь, и притом — не с понедельника! Так что — пой, Леночка, пой, любовь моя, не смущайся! В твоем голосе мудрости больше, чем во всех наших мужских мозгах.

Хозяйка квартиры, однако же, чем-то уязвлена:

— Спой ему, Ленка! Мужикам иногда поплакаться охота, рубашку на груди разодрать.

Леночка снова поет, и мелодия с ее голосом сливается, а будто затем только и звучит, чтоб высветить каждое слово.

За спиной у меня негромкий, но демонстративный галдеж. Это Мария не может успокоиться. Чем-то я ее раздражил. Леночка несколько раз бросает на меня вопросительный взгляд: может, больше не петь, но я поощряю ее молчаливым кивком, и она

продолжает, и мы побеждаем! Когда Леночка умолкает, все искренне хлопают. Я вижу, как блестят глаза Жукова, сейчас он любит свою внештатную ассистентку, и Феликс умолк, и Мария размягчена и даже симпатична в эту минуту. Олег и Юра-поэт одновременно протягивают руки Леночке, идущей к столу, но она смотрит на Жукова, и в ее взгляде упрек.

— Ленка, если этот пижон, — я киваю на Жукова, — не женился на тебе в текущем году, считай, что у тебя в резерве еще одно официальное предложение.

— А как же с Ирккой? — оживает Мария.

— Ирка не пропадет, — откликается Олег. — У неё в резерве Женька «Полуэтот».

— Женька? — Я мгновенно трезвею. — При чем здесь Женька?

Олег косится на жену, Мария берет объяснения на себя.

— В отличие от некоторых, — она вперяется в меня своими круглыми глазами, затем бросает взгляд на Жукова, — которым дорога свобода, Женьке «Полуэтоту» дорога Ирина. Между прочим, если б ты не возник у ней на горизонте, Ирка не корпела бы над сценариями, а рожала бы ему «квартирнцев».

Я вспоминаю осторожные, но настойчивые Женькины расспросы об Ирине, и у меня зарождается подозрение. Но я, видимо, еще недостаточно трезв, потому что тут же хватаюсь за телефон и прокручиваю Женькин номер. Он молчит. За мной следит вся компания. Я набираю номер Ирины, и он тоже молчит. Эти два молчания давят мне на виски. Я пытаюсь произнести в уме одну и ту же фразу: «А какое мне теперь до всего этого дело?» Но она никак не произносится, ворочается в мозгу, как палка, то одним концом упирается в висок, то другим, а мне нужно загнуть ее в спираль, в виток, чтобы разместить в извилине, и тогда мне станет просто и легко, ведь и действительно, какое мне дело? Вот фраза выговорена, и мысли текут уже плавно, без сбоя, причинно цепляясь друг за друга. Если Ирину устраивает Женька, это все упрощает, это освобождает меня от вины, которую я сам и выдумал из-за собственного слюнтяйства. Я свободен, а тогда — какого дьявола я здесь! Я должен быть в своей комнате, слева магнитофон, справа машинка, я должен писать и писать, потому что меня ждет Тося, и это прекраснее любой свободы... Хотя чего там! Мы все халтурщики, вся наша жизнь — халтура. Все мы что-то понимаем и чувствуем, но держим до поры в резерве — вот придет время, уж мы развернемся. Мы делаем вид, что верим в такой оборот дела, а в нынешней нашей жизни как будто нет никаких дел, все это липа! И это мы тоже понимаем, но разве наша мудрость старцев подтолкнет нас к чему-то? Увы! Единственное, на что мы способны, — это все понимать или по меньшей мере обо всем догадываться и в себе творить небывалую субстанцию духа — гордость унижения. Это почти демоническая, дьявольская форма гордости.

Понимает Юра, что такое его стихи, но не мучается этим пониманием, а гордится им. В отличие от других халтурщиков он знает цену себе и уже поэтому никого не осуждает.

Я из понимающих и не осуждающих. Если я слышу, как один художник поносит другого за халтуру, то это для меня не правдолюбец, а дурак. Но если он говорит о другом: «А все-таки в нем что-то есть!» — это мой человек, это наш человек.

Поэтому я иногда говорю Юре:

— У тебя бывают приличные строчки.

Но знаю я этих поэтов! Только похвали — и он уже задумался: «А вдруг и вправду что-то есть?» И ближайшую ночь проведет за разборкой многолетнего своего архива, отсортировывая то, где, может быть,

все-таки что-то есть, от того, где уже точно ничего быть не может. Но и то, где ничего не может быть, не разорвет, не спустит в унитаз, но аккуратно сложит в папку, завяжет тесемочками и уберет в заветное место.

Кругом неподлинное бытие: слова с двойным дном, идеи в масках, все деяния двусмысленны. И если бы мое ощущение распространялось только на наше славное общество развитого социализма! Тогда все просто! Я бы стал тогда борцом, страстным диссидентом, как Люська, ведь страсть мне не чужда, мне просто не представлялось до сих пор обратиться к ней на что-то, заслуживающее страсти.

Но нет же! И в закордонном мире, который мы из лениности и по отсутствию творчества воспринимаем как альтернативу, и в нем я тоже угадываю ту же неподлинность бытия, ту же халтуру. Может быть, не ту, а иную, но стоит ли экспериментировать, чтоб заметить одну халтуру другой?

Все мы живем в хитро устроенном богоубежище! В детской сказке читал, как искусный фехтовальщик так ловко вертел шпагой, что капля дождя не могла упасть на него. Мы тоже научились столь искусно фехтовать делами, словами, всей жизнью нашей, что Богу не пробиться к нашим душам; мы прочно защищены от человеческого идеала, что пребывает где-то над нашими головами, лишь крохотные островки в море житейском, вроде обители отца Василия, — случайные проколы в куполе всеобщего богоубежища, лишь там совершается, что предназначено было всему человечеству.

Дома меня ожидает на столике пухлая папка листов — моя последняя халтура. Покончив с ней, я покончу и с халтурой моей жизни. Еще никогда я так отчетливо не сознавал и необходимость, и возможность другой жизни. Я так ясно не представляю другую жизнь, что меня даже лихорадит немного от нетерпения. Но я ложусь и приказываю себе спать, чтобы завтра проснуться раньше и сесть за работу. Это пока единственная реальная гарантия моей будущей новой жизни. Я желаю себе хороших снов.

Спасибо тебе, любимый мой, спасибо тебе за письмо! Я такого и ждала! Я знала, что получу его! Это почти так, будто бы мы встретились, но только почти, потому что вот уже вчера мне труднее было утром вспомнить твое лицо, а сегодня труднее, чем вчера, и мне становится немного страшно. Я будто и помню тебя, но, как начинаю припоминать подробнее, все расплывается перед глазами, а ты пишешь, что еще не скоро приедешь... Милый, ну, зачем нам столько денег? И папа вот говорит, что есть у него две с половиной тысячи, и что, может быть, тебе совсем не надо так много работать... Мне с каждым утром все трудней вспомнить, как ты смеешься или сердился, а все время в глазах только силуэт, как было, когда ты у окна стоял ночью, а за твоей спиной луна висела над озером...

Расскажу тебе, что случилось у нас третьего дня в воскресенье в храме. Я на клиросе была и видела, как вошел в храм чужой человек, совсем старый уже, он на машине приехал, я потом узнала. Он долго стоял просто так, я думала, посмотреть пришел. А потом он папу позвал и о чем-то говорил с ним, и папа повел его на исповедь, учил крест накладывать и Писание целовать. Исповедовался он долго, и когда я потом взглянула на папу, он весь бледный был, а причащал когда этого человека, то у него руки дрожали, и когда этот человек выходил из храма, папа стоял как каменный и глаза у него были такие страшные, что я испугалась за него. И сегодня папа какой-то сам не свой. Я его ни о чем не спрашиваю, все равно не скажет, но вчера вечером

я плакала, потому что папа сидел весь вечер у окна и молчал, а когда я легла, он долго молился, что-то шептал. И я все думаю, что рассказал о себе человек, что папа стал больной, он ведь столько уже знает о людях, что, если бы мне его знание, я бы с ума сошла! Тот человек был обыкновенный, ничего особенного в лице не было, я хорошо его рассмотрела. Володя-дядя говорит, что, должно быть, невиданные грехи открыл папе приезжий человек. А папа, ты знаешь, он очень добрый, и я думаю, если очень страшные грехи отпустить ему пришлось, то мучается нынче он оттого, что душой не смог отпустить. Правда, это не я так думаю, а Володя-дядя.

Милый мой, мне тяжело без тебя. Я знаю, что так надо, что тебя нет, но зачем нам много денег, я хочу, чтобы ты был!

Я молюсь за тебя каждый день, тебе, может быть, это все равно, что я молюсь, но ты считай, что я просто думаю о тебе каждый день, и это тебе не все равно, ведь правда?

Я вот пишу: храни тебя Господь! И это значит, я хочу, чтобы все у тебя было хорошо, и я знаю, что все будет хорошо, потому что я этого очень хочу!

Жду тебя!

Твоя.

3.

Я не знаю человека более надежного, чем Женька Полуэктов. Он не просто надежный, он идеал надежности. Откуда берутся такие люди? Это для России какой-то новый антропологический тип, потому что нормальный русский немислим до такой степени деловым. Они, полуэктовы, придумали новую профессию — проворачивание дел, они сумели изловить всю нашу строгую, такую серьезную систему, подобрали к ней ключик из чистого золота. Я в восторге от таких людей, и мне искренне жаль наших милых русских разгильдяев, которые обречены на вымирание в новом, оперативном климате полуэктовых. Кое-кто из них, разгильдяев, тоже разохотился до кормушек, но так примитивно пробивается лбом к привилегированному пойлу, что обрывается, как шерстью, всеобщим презрением — он не умеет маскироваться, пробивать себе дорогу чужими локтями. К тому же они все действуют поодиночке или жалкой кучкой, и если кто-то один дотягивается до цели, то всех остальных тут же отбрасывают ногами. А чаще всего успех ему обеспечивают благоразумно расступившиеся полуэктовы. Пропускают, потом берут в мягкое колечко и устраивают деловой хороводик вокруг вновь образовавшейся номенклатуры: «А мы просо сеяли, сеяли! В нашем полку прибыло!»

Нет, я не осуждаю Женьку. Чем можно жить в этой системе? Борьбаться с ней? Во имя чего? Вот и остается — доить ее, стерву, раздавать, чтоб вся она, от головы до хвоста, превратилась в одно податливое, многососковое вымя.

Не нравится? Брезгуешь? Женись на поповской дочке и постигай высоты экзальтированного духа.

Я лично не верю ни во что радостное в этой стране, да и во всем человечестве. Сотворяется новая цивилизация, к которой неприменимо ни одно из прежних понятий; она, возможно, оставит существовать резервации с сентиментальными дураками, с попами и поповскими дочками, но выработает по отношению к исключениям и чудачествам такую несокрушимую иронию и снисходительность, что ей не только не придется сражаться с рудиментами, но, напротив, они будут записаны в Красные книги и охраняться законом, как какой-нибудь сумчатый медведь или живородящая цапля.

В рудиментарности своей найдут себе удовлетворение все те, чей комплекс неполноценности окажется непреодолимым в условиях ежечасно обновляющейся действительности, кто выпадет из ритма времени, кто потеряет скорость в погоне за благами, кто не удержит в зубах посланный Богом кусочек сыра.

И я знаю, мне суждено оказаться именно среди «отставших, уставших, ведущими не ставших». На людях я, конечно, буду держать марку, делать хорошую мину, как бы ни была плоха моя игра, но сам перед собой признаваться в зависти к современникам, жизнь которых — восторженный галоп с препятствиями, как и ныне, какой-то частичкой души я завидую Женьке Полуэктову. Зависть эта бесцельна, я не только не могу обрести Женькиного ампула, но у меня нет и ни малейшего желания к тому. Желания нет, а зависть есть, и в этом моя суть.

Женька — гигант! Он как сквозь землю провалился на целую неделю, но объявился именно тогда, когда я уж было засомневался в нем. «Привет, старик!» — возгласил он по телефону. Терпеть не могу этого обращения, но на душе моей стало спокойно.

И вот у меня в одном кармане договор, а в другом — солидный аванс. Мне кажется, я мог бы все это проделать и сам. Главы из будущей книги сделаны на совесть, и я мог бы миновать Женькину номенклатуру. Но я знаю и другое — сегодня, сейчас ни договора, ни аванса у меня еще не было бы. Тут явное преимущество Женькиной системы, то есть даже самое патриотическое издание не может обойтись без Полуэктова.

Все это было бы грустно, если бы не было реально, а реальность требует к себе уважения и признания.

С Женькой мы встречаемся у метро «Каширская» и следуем в гости — к герою моей будущей книги. Мы отмечаем удачу, и по этому поводу у меня в обеих руках сумки. Прохожие, честные советские люди, заинтересованно поглядывают на мои сумки, откуда с наглядностью выпирают нетиповые горлышки буржуазных бутылок.

Я чувствую себя фарцовщиком, торгующим индийскими презервативами.

Но рядом Женька. Солиден и скромн. Очки в изящной оправе. При этом одет Женька искусно просто. Мы идем в гости к простому советскому человеку, и демонстрировать ему парижские моды неуместно, мы будем демонстрировать интеллект и принадлежность к сильному миру сего, чтобы сердце его зашло радостью общения с «писателями».

Женька на подъеме, он сияет более чем обычно, подвижен, размашист.

— Итак, старик, ты уходишь в народ.

Сквозь очки Женькины глаза смотрятся как в проемах долговременной огневой точки, в них уверенность и въедливость.

Я жду, когда он пояснит свой намек. Мы стоим в хвосте десятиметровой очереди на автобус.

— Честно тебе признаюсь, старик, всегда считал, что Ирина не для тебя.

— А для кого?

— Для меня! — отвечает Женька, и тщетно я пытаюсь пробиться к его зрачкам; небо отсвечивает в стеклах очков и перекрывает глаза.

— Мы бы с ней такими делами ворочали! Ирка — это же не просто энергия, это аккумулятор. Ты, старик, смотрел рядом с ней как балласт. А вот поповская дочка — это как раз для тебя. Ты, надеюсь, понимаешь, что я не принижаю тебя и не ущемляю твоих достоинств.

Я неопределенно киваю головой, я еще не решил, в каком месте обрывать Женьку.

— Альянс с религией излечит тебя от склонности к диссидентству; в религии, как это ни парадоксально,

всегда присутствует здравый реализм, то есть именно то, чего тебе не хватает.

— А Ирина? — провокационно спрашиваю я. Женька увлечен и не улавливает моей интонации.

— Ира — это женщина-воин, она только не нашла еще своего поля сражения, этим и объясняются ее рукопашные потасовки на телевидении. Ты знаешь, я бы мог всю эту историю похерить, но она не захотела, до нее, кажется, дошло наконец, что она не для того создана.

— А для чего? — будто невзначай бросаю я, протапываясь к подошедшему автобусу.

Когда изрядно помятого Женьку притискивают ко мне в автобусном проходе, он ворчит зло:

— Говорил тебе, возьмем тачку.

Я искренне наслаждаюсь, спесь его сбита, индивидуальность затерта, сквозь очки сверкают оскорбленные глаза. Холеная борода смотрится совсем нелепо в толчее...

Дворами и сквериками я привожу Женьку к облупленной пятиэтажной коробке, где проживает герой моей будущей книги. Нас ждут, мы высмотрены из окна, и на втором этаже замызганного, провонявшего кошками подъезда распаивается дверь, обитая черным дерматином. Нас встречает празднично одетая жена моего героя Полина Михайловна, худая, высокая женщина, лет за шестьдесят, но энергичная, подвижная.

Ко мне она уже привыкла, я почти свой, но, увидев за моей спиной Женьку, теряется, делается угловатой, деревянной, и я ее понимаю: Женька — метр, я при нем «девятка»! В прихожую к нам выплывает мой герой — в парадном костюме, иконостас наград до пояса, на лице торжество, достоинство и абсолютная трезвость — до нашего прихода к рюмке не приронулся.

Я с трудом уговариваю Полину Михайловну взять у меня сумки с вином и продуктами. Нас проводят в комнату, где уже накрыт стол и за столом сидят старшая дочь Андрея Семеныча с мужем и еще трое незнакомых мужчин, впрочем, в одном из них я узнаю завсегдатая рыбацкого пруда Царицынского парка. Он с улыбкой старого знакомого тянет мне руку...

Самое большое счастье на лице у дочери героя, она просто сияет от внезапной возможности гордиться своим отцом, и ее радость делает почти счастливым и меня. Я, конечно, не забываю, что я халтурщик, но ведь счастливы все в этом доме, и это моих рук дело...

Женька уже водрузился над столом с бокалом в руке, и все просто почитательно, в полном смысле слова, затаили дыхание.

— Друзья! — начал Женька взволнованно. — Не позже этого года у нас в стране свершится еще одно справедливое дело. Страна узнает о доселе неизвестном герое, имя которого должно быть и будет вписано в историю Великой Отечественной войны. Дорогой наш Андрей Семеныч!.. Для нас, последующих поколений, Вы сохранили Родину и советскую власть.

А ведь потрясающая истина в Женькином трепе! Мужики, клавшие головы на фронте, сохранили советскую власть для Женьки, для всех женек, которые сегодня и пользуются системой в свое удовольствие. Все прочие — хоть в чем-то, хоть как-то — недовольны; этому недовольству я знаю цену, это — брюзжание, свойственное всем временам и системам, это не протест... Но Женька — доволен!

— ...Долгих лет вам, дорогой Андрей Семеныч! Жене вашей и детям вашим счастья и успехов!

Все поднимаются. Звякают бокалы. Смущенный герой расплескивает по столу виски, всех благодарит, заглядывая в глаза каждому, — у всех в глазах ра-

дость, гордость и некоторая ошарашенность — от Женькиного тоста.

Рыбак с Царицынского пруда восторженно таращится, он польщен приобщением к высокому кругу. Я догадываюсь, что он тоже участник войны и завидует своему приятелю, но зависть его приятна мне, в неожиданном взлете Андрея Семеныча он видит торжество справедливости к их исчезающему сословию фронтовиков.

Я же чувствую себя Хлестаковым. Но будь я проклят, если немного — и писателем. Чувствовать себя писателем — это почти ощутить воспарение, какую-то особую, активную отстраненность от реальности. Во всяком случае, что-то неотмирное должно испытываться — хотя бы в такие моменты...

Третий тост — мой. Он мне дается с трудом. Женька мешает. Он мешает мне говорить искренне, я сбиваюсь на общие фразы и кончаю так:

— Однажды в жизни человек проверяется по всем своим качествам. Для вас, дорогой Андрей Семеныч, такой проверкой была война. Дай Бог каждому пройти свое испытание так же, как прошли вы!

Проходит какое-то время, я уже всех присутствующих знаю по имени и по профессии и про семейное положение каждого. В тесной печурке уже бьется огонь, и на позицию девушка провожает бойца, и расписные Стеньки Разина челны выплывают из-за острова на стрежень... Не первая рюмка уже опрокидывается на скатерть, и не первая вилка летит под стол. Осоловевший, я апеллирую чувствами к Женьке, и Женька, сукин сын, показывает на часы.

Но через стол тянется ко мне рыбак Мишка, как он приказал себя называть, хотя он старше моего отца.

— Ты чо мне скажи, когда книжку закончишь, тебе ведь за это заплатят, поди, прилично?

Я не усекаю опасности темы, киваю самодовольно.

— А если не секрет, сколько?

Я настораживаюсь, но взгляд рыбака состоит из одного честного любопытства. Я мнусь, оборачиваюсь к Женьке и чувствую тишину, родившуюся в комнате. Я ощущаю неудобство, что-то не вписывается эта тема в обстановку, но нахожу выход, тычу перстом в Женьку:

— Он лучше знает. Сколько заплатит, столько и получу.

И все вперяются в Женьку. Ему не сладко, я это вижу по его морде, но морда у него тренированная.

— Зависит от многих обстоятельств, — отвечает он деловито и с достоинством, — от тиража, скажем, то есть сколько книг будет выпущено. Ну, и других обстоятельств: бумага, формат.

Номер не проходит, рыбак нетерпеливо перебивает:

— А самое большее — сколько?

И еще большая тишина обступает Женьку. Он двигает плечом, дергает бородой и выдавливает:

— Ну, думаю, тысяча шесть...

По тому, что Женька занижает цифру, я соображаю, насколько опасна эта тема. Я как-то одним взглядом вижу сразу всех, у всех легкий шок, а всплеск рук и хлопок ладошками — это жена героя выражает свое изумление — воспринимаю, как пощечину.

— Шесть ты... ы...ы...сяч! — лепечет рыбак. Он уже не смотрит на меня. И мой герой опустил глаза в стол, и мне неизвестно, какие чувства пытается он подавить в себе. Все меняется за столом, эту перемену я вижу в насторожившемся лице Женьки.

— Шесть тысяч! — вздыхает Полина Михайловна.

— Да-а! — многозначительно тянет рыбак. — Вот, Андрюха, лучше б дали тебе в лапу эти шесть, чем славу наводить.

— Как же это так получается? — стонет Полина

Михайловна. — Он, значит, воевал, кровь проливал, и никто ему таких денег не предлагал, а книжка об том вон каких денег стоит!

— Воронье! — уже почти рычит рыбак, а мужики рядом кивают согласно и не смотрят ни на меня, ни на Женьку. А вся моя надежда на него. Он явно растерян, я впервые его вижу таким.

— Но вы же понимаете, — старается он сохранить хорошую мину, — написать книгу это ведь не просто, этому учатся...

— Ну да! А фрица из окопа было легче утащить? — Это уже произносит мой герой, мой скромный и неловкий Андрей Семеныч. Лицо его покраснело, глаза злые, кулак на столе. Я вижу, что он пьян.

— По закону деньги пополам! — стучит рыбак по столу.

— Ну что вы говорите! Какой закон? Папка, не слушай их!

— Чего мне слушать! А обидно мне или нет?

— Правильно! Обидно! Деньги пополам! Один жизнью рисковал, а другой на нем деньги зарабатывает! Такой закон есть?

— Перестаньте! — Это милая дочка пытается объяснить отца и всех остальных.

— Эх, Андрюха! — не унимается рыбак. — А ну, прикинь, что б ты на эти деньги сотворил!

— Много чего, — бормочет Андрей Семеныч, но жена сует ему под нос дулю.

— А вот — не хочешь? Сотворил бы! Восемь лет из бутылки не вылезал, а я вкалывала как лошадь...

— Мама! — громко, отчаянно кричит дочка.

Женька кивает мне на дверь, мы поднимаемся одновременно, кто-то робко трогает меня за руку, но я высвобождаюсь и в два шага преодолеваю расстояние от стола до двери. В прихожей мы с Женькой хватаемся оба за рычаг замка, мешаем друг другу, и тут между нами возникает дочка Андрея Семеныча.

— Подождите! Пожалуйста. Не уходите. Это все так глупо! Но вы должны понять. Мама работала на двух работах, а когда болела, у нас даже хлеба не было, одна картошка... Вы не должны обижаться. Я не знаю, что сказать...

И я не знаю, что ей сказать.

— Мы понимаем, — воркует Женька, — потому и уходим. Мы понимаем. Пусть все успокоится, а потом уладим.

Врет Женька, ничего потом не уладится. Я быстро пытаюсь подсчитать, сколько успел истратить из аванса, ведь придется возвращать...

Дочка плачет, припав к чьему-то пальто на вешалке. Женька делает шаг к ней, чтобы взять ее за плечи, но руки повисают в воздухе, и Женька поспешно причешивается, потому что в прихожей появляется зять героя.

— Вот что делают с людьми деньги, — говорит она.

— А может, не деньги, — возражаю угрюмо, — а отсутствие их?

Муж успокаивает жену. Женька подталкивает меня к двери, а я отчего-то сопротивляюсь. Я еще и пьян основательно и не могу принять никакого решения. Вдруг поворачиваюсь к супругам спиной, вытаскиваю из пиджака пачку денег и сую в карман пальто на вешалке. Женька резко и зло, но молча хватается за руку, я оскальиваюсь по-собачьи — и рука моя пуста. Женька выталкивает меня за дверь, тянет по лестнице вниз, и лишь на улице у подъезда мы останавливаемся.

— Дурак! — говорит Женька. — Ты что ж думаешь, они возьмут твои деньги? Дурак сентиментальный! Ты обрек их на унизительную процедуру — возвращения твоих денег.

— Не возьму.

— Дважды дурак! Они будут унижаться перед то-

бой, пока ты не простишь их и не возьмешь. И ты возьмешь! И вот тогда они по-настоящему тебя возненавидят.

— Женька, тебе не противно жить?

— Ясно! — констатирует Женька. — До такси пойдем?

— Я хочу в Урюпинск.

— Еще куда? К маме с папой не хочешь?

— Хотел бы к маме. Но ей не до меня. А к папе не хочу. Он такой же, как ты. Я вас обоих ненавижу!

В такси меня должно бы укачать, развезти, но чем ближе к дому, тем трезвее голова, только наплывает такое отчаяние, что мне страшно вползать в свою пустую квартиру. И что в ней делать?

И вот я пытаюсь понять трезвеющей головой, что произошло в доме моего героя. Обидели меня или нет? Конечно, обидели. Но имею ли я право обижаться? С деньгами действительно получилось глупо. Было бы справедливо — все деньги пополам, но это жест, а не нравственный поступок. Я бы так поступил только по принуждению, а в сущности, я солидарен с законом, который не обязывает меня к такому жесту, даже, напротив, гарантирует мне спокойствие совести.

Но, честно говоря, я нахожусь на стадии износа, точнее сказать, я так перестроился на другую жизнь, что вся суета, все передраги этой жизни скоро будут отскакивать от сознания, как поп-музыка за стеной у соседей...

Согбенная, тихонькая женщина открывает мне дверь. Это мать Юры Лепченко. Меня она не узнает. «Юра работает!» — предупреждает она и ведет меня к его комнате. Ясное дело, когда сынок «работает», мама не рискует стучать к нему, берите, любезный, на себя смелость. Я брякаю костяшками пальцев по двери и тут же открываю. Поэт лежит на тахте, задрал ногу на ногу, в руках тетрадь и ручка. Скажите, пожалуйста, и вправду работает! Поэт при моем появлении вскакивает с тахты с таким видом, будто я застал его за неприличным занятием.

— Творишь? — спрашиваю я и нагло сую нос в раскрытую тетрадь. Целая страница сплошного амфибрахия! Юра поспешно захлопывает тетрадь.

— Понятно, секрет фирмы. — Я жму ему руку и уже искренне извиняюсь. — Понимаешь, что-то тошно стало, ты уж извини, что без спросу.

— Есть? Пить? — спрашивает Юра.

— Сыт и пьян. Слушай, если с похмелья в церковь идти, это большой грех?

— Лучше не ходить, — деликатно отвечает Юра.

— Еще только четыре... Я продышусь...

Юра подозрительно косится на меня.

— Вообще-то я сегодня иду...

— Ну и отлично. Сваришь мне кофе перед выходом — и порядок. А что там сегодня?

— Обычно. Служба, потом проповедь... беседа...

— Это то, что надо. Так берешь с собой?

— Ну, если ты будешь в норме...

— Буду. Рассол есть?

— Лучше дремани, открою окно.

Я не очень-то уверен, что это не блажь у меня. Похоже, что я просто куражусь. Решаюсь упасть на тахту по Юриному совету, он распахивает окно и выскальзывает из комнаты.

— Проспали. Надо же! Проспали.

Оказывается, он в другой комнате занимался тем же, что и я, — дрых. На часах уже шесть. Юра

некоторое время пребывает в нервной задумчивости — имеет ли смысл ехать или уже поздно? Все его маленькое личико напрягается и становится совсем детским. Наконец, он расслабляет брови и говорит спокойно:

— Поедем только на проповедь. Душ — хочешь?

— Ничего в жизни так не хочу.

Юра ведет меня в ванную, сверкающую импортной плиткой (наверняка не обошлось без Женьки Полуэктова!), знакомит с импортными кранами, выдает полотораметровое полотенце.

Струя колотит по темени почти ледяной дробью, дыхание рвется вон, но когда привыкаю, вместе с дыханием возвращается радость жизни. Это радуется тело, осознавшее себя в сопротивлении холоду, и я ощущаю его, свое тело, лишь как принадлежащее мне, но все же не мое, с моим «я» полностью не сливающееся. Тело мое готово причаститься иным мирам, а душа — какой лопатой ее выскоблить?

Юра торопит меня, и все же я успеваю отметить, что он как-то преображен, в движениях уверенность, в глазах отрешенность. Дивлюсь, но не верю: Юра не может быть верующим, это невозможно! Тогда что это?

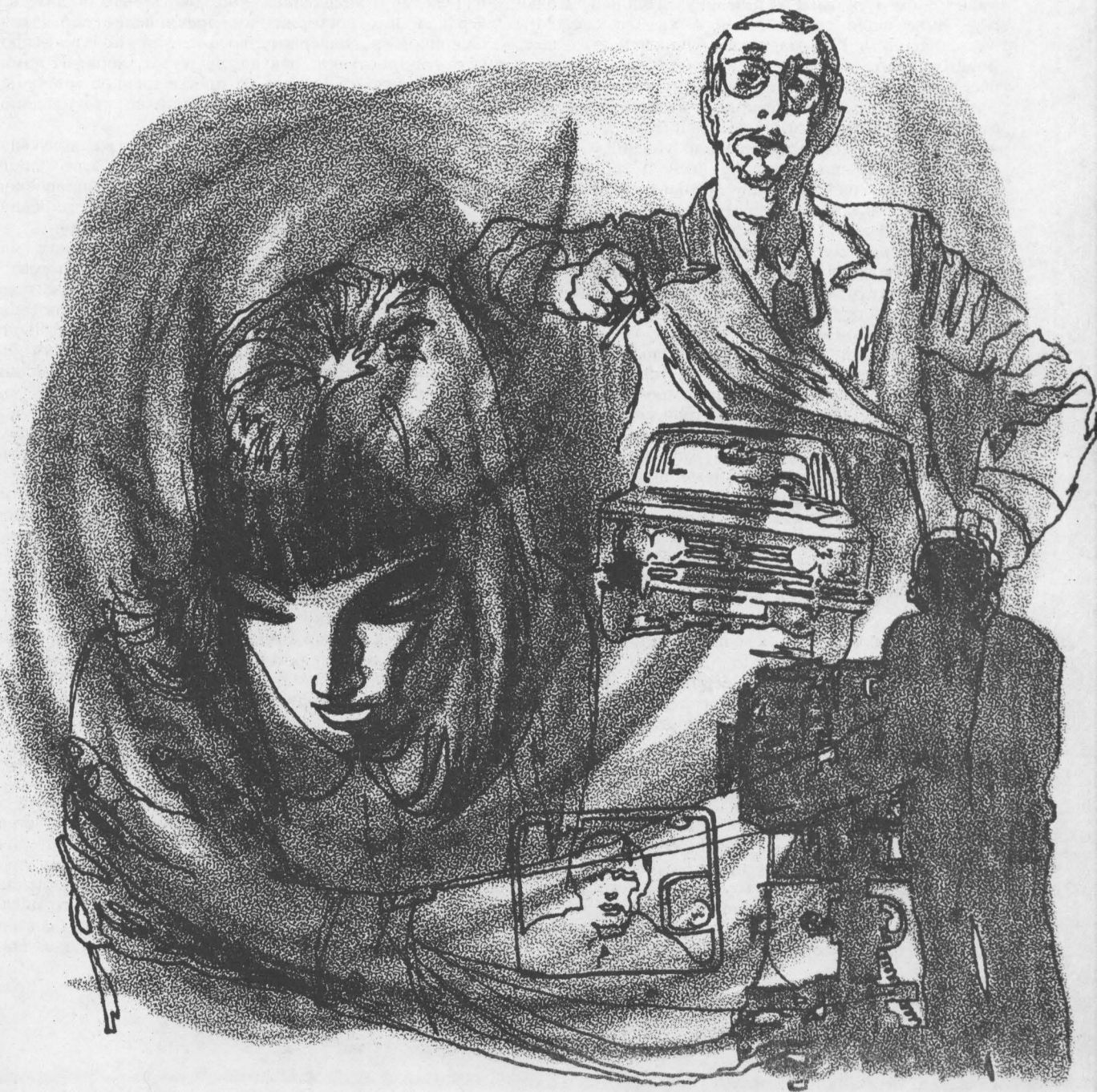
— Крест на тебе есть? — спрашивает он.

Я только ухмыляюсь. Нешто я не интеллигент, нешто я могу без креста! На мне не просто крест, а золотой, и на золотой цепочке, и освящен он не где-нибудь, а в Загорске. Вопрос Юры наивен, как если бы он спросил меня, читал ли я хатха-йогу и Кафку.

Однако в метро, по мере нашего приближения к цели, я ловлю себя на том, что не хочется умничать, что хотелось бы почистить мозги от всех ухмылок, которые отравляют чистоту восприятия, не дадут выжить ни одной светлой мысли. Но воля — она на что? Ведь обязан же я подойти к храму с предельной чистотой души. И я заставляю себя думать о чем-нибудь светлом и простом. Я говорю сам себе: я хочу думать о светлом и простом! Тут бы и подумать о поповской дочке, но — увы — там все не просто и не светло, и раскаяние входит в душу словами «дурак» и «подлец»! Ну, почему было не начать новую жизнь с чистоты, почему не остановился в неверном шаге! Ведь как сейчас было бы светло на душе! Нет же, устроил постыдство. И ей, Тосе, каково подходить к храму, если даже мне, нехристу, и то хоть мордой об тротуар!

Еще за сотню шагов мы видим толпу у дверей храма.

— Попробуй пробейся! — ворчит Юра, но вдруг



локти его становятся остры и беспощадны, ими он энергично вклинивается в толпу, и толпа уступает ему, и некий вакуум, что образуется за его спиной, всасывает и меня; я плыву сквозь толпу словно на буксире, и через несколько минут мы уже в храме. Но Юра продолжает трудиться, и вот мы почти в первых рядах, и над нами священник с Евангелием в руках. Юра крестится, и я тоже, хотя не столь усердно.

Низенький, полный, лысоватый, с круглым лицом и прищуренными глазами, с белыми пухлыми пальцами на обложке Писания, священник говорит что-то о безбожниках; похоже, бранит их, и голос его, мягкий, почти бабий, воспринимается, однако, как вполне мужественный, металлические нотки в словах, в междометиях настораживают, захватывают внимание, и с первой же полностью понятой фразы я начинаю испытывать волнение. Я уже догадываюсь, что попал не на обычную службу и не к обычному священнику. Мимолетный поворот головы моего приятеля, его взгляд, словно он подмигнул мне заговорщически, подтверждает догадку. Голос священника крепнет, рука энергичным жестом взлетает над головами паствы и замирает.

Он клеймит безбожников, он обличает их, он призывает на их головы Божий суд, Божий гнев и Божье прощение одновременно. Он говорит о страдальцах земли русской, я слышу названия: Соловки, Колыма, — я не верю своим ушам, я как во сне. Мне хочется дернуть Юру за рукав, спросить, что здесь происходит, кто он; этот обличающий поп, и почему говорит так долго и никто не врывается в храм, никто не прерывает его и купол храма не взлетает на воздух! Я слышу призыв, почти приказ: «Помолимся за страдальцев земли русской, за невинно убиенных...»

У меня на глазах слезы. Я осеняю себя крестами — раз, другой, третий, — и чьи-то троеперстия мелькают в глазах, весь храм наполняется шорохом мечущихся рук, и кажется, будто это не шорох, а шепот, и в нем не простое моление, но что-то очень серьезное, способное из шепота перерасти в нечто большее, достаточно еще одной фразы толстенького лысоватого священника — и со всеми случится невыносимое, и со мной тоже, я тоже на что-то готов, я с трепетом жду призыва. Но голос священника благоразумно удерживается на той тональности, которая лишь мобилизует готовность, по-отечески предостерегая от поспешных действий. Я утрачиваю ощущение самого себя, я лишь ощущаю свою волю как частицу общего настроения, моя воля примагничена к чему-то целому, и я воспринимаю это как преобразование, как открытие, и вместе с общей волей я устремлен всеми чувствами вперед, к белым и пухлым рукам священника.

«Что это? Что это?» — спрашиваю я себя и, пожалуй, вовсе не хочу ответа, потому что в ответе все упростится, уменьшится. Я не хочу понимания, я чувствовать хочу! Уже не раз снилось мне это чувство принадлежности к целому, но, просыпаясь, я не верил, что оно может быть не унижающим меня, а возвышающим, не верил, что оно может давать ощущение счастья...

Кто-то устремляется вперед, священник благословляет их, а нас с Юрой оттесняют к стене. Я вижу прижавшихся по углам старушек и пожилых женщин; меня сначала удивляет их деловитое молчание, но с еще большим удивлением я обнаруживаю на их лицах неудовольствие, плохо скрытое раздражение. Церковь забита молодыми, а точнее, людьми моего возраста, все прочие оттеснены к стенам и углам. Лица молодых все мне знакомы, это московские интеллигенты: русые и смуглые бородачи из нелепых и бессмысленных учреждений, нервные девицы, бородатые евреи литературно-философского круга и,

конечно, диссиденты — я узнаю их по специфическому выражению лиц, по тому, как они держатся кучкой, по их разговору, которого не слышу, но ощущаю его привычную конспиративность; и вот уже от них по рукам идет бумага, начинается сбор подписей под каким-то протестом. Бумага у Юры, он торопливо передает ее мне. Так и есть! Заявление прихожан в защиту священника, которому грозят неприятности. Я достаю ручку, подписываюсь и, долго не думая, передаю бумагу стоящей за мной пожилой женщине в сером платке. Она непонимающе смотрит на меня, на бумагу. Молодой еврей что-то объясняет ей, я слышу только: «...батюшка... батюшка...» — и ее сердитый голос: «В субботу хоть в храм не ходи. Чего понадобилось, к алтарю не подойти! Шли бы в свои театры».

Мне становится стыдно. Я пытаюсь восстановить в душе те чувства, что еще несколько минут назад держали мою душу где-то на высоте купола, но не удается.

Толпа сжимается, и в образовавшийся проход, крестя и благословляя, вступает священник. Позади него, как телохранители, — молодые волосатые парни. На улицах Москвы я принимал их за хиппи, но сейчас вижу: они стрижены под Спаса Нерукотворного — это их образ, — и, всматриваясь в глаза парней, я с удивлением убеждаюсь, что в них нет игры, в них восторженное преклонение перед священником и, наверное, вера... Мне хочется спросить: «Волосатики, откуда она у вас, вера? И сами-то вы откуда? Где оно, то просмотренное мною место в стране победившего социализма, что плодоносит верующими душами?»

Я завидую этим мальчикам, но все же допускаю толику сомнения: «А может быть, вы всего лишь российский вариант хиппи?! Ведь в России испокон веков все варианты юродства и оригинальности реализовывались через веру».

Священник останавливается напротив меня, я машинально складываю ладони, и он деловито благословляет меня. Нет, это не отец Василий! Я ничего не чувствую! Ну, да сейчас я и не способен уже что-либо чувствовать. Вот если бы полчаса назад — упал бы на колени, ударился бы в слезы и ведь обманул бы батюшку, не от веры была моя слабость, а от эмоций. И он не понял бы моего обмана.

А сколько здесь обманывают его, как я, и зачем они пришли сюда? Я — по чистой случайности. А другие? Что ищут они у бунтующего попа? Опыта веры или опыта бунта?

Кто-то чувствительно меня толкает в бок — та женщина в сером платке пробивается к священнику, она этим толчком высказалась в мой адрес. Священник благословляет ее деловито, как и меня. Неужели он, пастырь духовный, не чувствует разницы между мной и этой женщиной? Мне обидно за нее, и я недобро смотрю в спину удаляющегося попа. Мысли мои обращаются к отцу Василию, улыбчивому священнику маленькой сибирской церкви, и я ощущаю гордость: мне известно большее и лучшее, по крайней мере более необходимое мне. Я начинаю протискиваться к выходу.

На улице уже темно. На освещенной паперти, от двери до калитки, толпа. За калиткой тоже. Там курят. Деликатно по отношению к церкви!

И все же: что здесь происходило со мной и со всеми? Сейчас я спокоен, но помню же свои чувства, трепет души, некую обалделость, почти истеричность... Если представить себе, что священник продолжал бы говорить и нарастало бы то возбуждение, что испытывали я и все остальные, во что бы это могло вылиться? На что я был бы способен в таком состоянии, я, неспособный откликнуться ни на какой при-

зв? Мне немного страшно, потому что не только откликнулся бы, но кинулся бы вместе с толпой, как ее неотъемлемая частица. В чем же секрет? Неужели под куполом храма слова имеют особенную власть над душой? Ведь происходит это все на улице или в театре, куда отсылала та женщина меня и подобных мне, уверен, я стоял бы в стороне, ухмылялся бы и рефлексировал, как и подобает современному интеллигенту.

Что может предположить насыщенный информацией человек? Форма храма, его интерьер, фонетические особенности религиозного лексикона формируют особое поле, может быть, четырехмерное пространство, и в этих условиях человеческое сознание способно раскрываться неожиданной стороной, необычными свойствами, сверхвозможностями. Но в любом случае это здорово! Что-то свершается в мире, то есть в моей Москве, чего не было ранее и быть не могло, но теперь оно есть, какое-то новое качество нашей жизни! Я его просмотрел. Я же слишком мелко плавал, слишком был занят самим собой. А теперь вот и меня втянуло в круговорот происходящего. Кончается самостоятельность личностей или мнящих себя таковыми, а начинается, возможно (и неужели так?), подлинное историческое действо. И, может быть, мы тоже на что-то способны, мы, жалкое поколение халтурщиков и приспособленцев?

Что-то меня потянуло на оптимизм. Так непривычно! Равнодушные и лирический пессимизм были опознавательными знаками нашей касты; свою обреченность социальному Молоху мы рассматривали как одну из функций мировой трагедии. Но это была ложь, лишь попытка оправдать пустоту в себе, свою никчемность! Мы не умели уважать себя...

— А я тебя везде ищу! — обиженно говорит вдруг возникший Юра. — Ну, как?

— Интересно, — отвечаю я безразличным голосом.

— Здесь и политических полно, — говорит Юра почему-то шепотом. — Бывшие ээки. Хочешь, покажу? По десятке за политику отсидели.

— Не нужно, я их видел.

— Ну да, — соглашается Юра, вспомнив, что я близкий к диссидентам человек.

— А евреи, — спрашиваю я, — их здесь много, они тоже православием интересуются?

— Это, брат, такой народ — они всегда нюхом чуют, к чему дело идет.

— А к чему идет дело? — спрашиваю я с искренним любопытством.

— А ты поменьше с полукротовыми да диссидентами крутись, тогда и сам увидишь.

Я даже немного ошарашен, каким тоном он это говорит, и отвечаю неуверенно:

— Полукротов тут ни при чем. А диссиденты, так их и тут достаточно.

— Еще бы! — говорит Юра с торжествующим сарказмом. — Они это дело под себя поднять хотят.

— Какое дело? — спрашиваю я уже раздраженно.

— Понимаешь, им вождь нужен, идол. Но этот номер им не пройдет. Батюшку им не отдадут.

— О каком деле ты говоришь, я еще не понял, а вот склоку уже чувствую. По крайней мере письмо в защиту батюшки они пустили, а я что-то не видел, чтоб ты его подписал.

Маленькое личико Юры грустнеет. Он бурчит обиженно:

— От этого письма только хуже будет. Они его там как политического борца расписывают, это их старый приемчик. Кого-нибудь с работы увольт — они письмом строчат, подписей насыют, тому еще раз по шапке. И куда деваться? Подается в диссиденты...

— Ты бы другое письмо написал.

— Да. А знаешь, сколько сейчас здесь стукачей! —

Юра ежится, оглядывается. — Диссидентам-то терять нечего.

Я кладу ему руку на плечо и стараюсь говорить без подвоха или иронии.

— Юра, а нам с тобой есть что терять? Есть ли в нашей жизни что-нибудь, что имеет ценность?

Он бросает на меня взгляд недоверчивый и подозрительный, да и сам я чувствую пустую риторику в своих словах. Как бы ни была ничтожна и жалка жизнь, в ней всегда есть что терять.

Из дверей церкви вываливается толпа и тут же рассекается надвое. В образовавшемся проходе появляется священник. Он уже в костюме и ростом кажется меньше, но зато теперь видно, что это еще крепкий человек, не старше пятидесяти. Свет падает ему на лицо, и я вижу на нем нескрываемую радость, почти торжество. Бородатые мальчики окружают его и мешают проститься с ним остальной толпе. Откуда-то, как по команде, подкатывает «Москвич». Священник садится рядом с шофером. Сзади ныряют двое бородатых, и машина тут же рвет с места.

«Крепко же у них дело поставлено!» — восхищаюсь я и дергаю Юру за рукав.

— Объясни мне, почему это допускают, почему терпят?

— Батюшка их не боится, — с достоинством отвечает Юра. — Пусть они его боятся.

Я внимательно смотрю на него. Неужели он верит в их страх? Самообман? Азарт? Сколько это продлится? Во что это выльется?

Что и говорить, я испытываю потребность поблагодарить милого Юру за все, что я увидел, он и сам для меня уже не тот, какого я знал несколько лет, я смотрю на него совсем другими глазами.

Я обнимаю Юру за плечо.

— Спасибо тебе. Жаль, что я не знал обо всем раньше.

Юра горд.

— Когда-нибудь я прочитаю тебе стихи, которые еще никому не читал.

В метро я сердечно прощаюсь с Юрой. Я бы и обнял его, но он не поймет, не в том состоянии. Он прощается со мной рассеянно и торопливо, явно спешит остаться один и в мгновение исчезает в толпе.

«По закону — деньги пополам!» — вдруг слышу слова, что как оплеуха прозвучали несколько часов назад. Как бы там ни было, не представляю себе очередную встречу с моим героем после всего, что случилось. «Да провались!» — бормочу всю дорогу в метро. — Провались!» И тяжело вздыхаю в ухо какому-то мужичку, что качнулся на меня при торможении.

Я открываю дверь своей квартиры, и тотчас же из своей комнаты выглядывает отец.

— У тебя полная комната гостей.

Я слышу мужской смех, несколько голосов и женский в том числе.

На кушетке, задрав ноги, валяются Женька и Андрей Семеныч, в пододвинутом кресле — его дочь. Они режутся в карты.

— Гена, — хохочет дочь Андрея Семеныча, — они мухлюют, я шесть раз подряд в дурачках. Садитесь, проучим их.

Они, как ни в чем не бывало, тащат меня к кушетке, и Женька раскидывает карты на четверых. Последний раз я играл в карты еще при культе личности.

Андрей Семеныч хлопает меня по плечу, Женька торжествующе вопит, моя партнерша проклинает меня, через несколько минут я оказываюсь в персональных дураках.

Андрей Семеныч обнимает меня и шепчет на ухо:
— Ты забудь, что было. Глупости все.

— Понимаете... — пытаюсь я что-то сказать, но он перебивает:

— Все понимаем! Твою книжку будет читать мой внук, а может, и правнук, ты же мне жизнь продлил, разве это деньгами меряется!

«Это Женькина работа», — догадываюсь я, но тронут, обнимаю Андрея Семеныча, говорю тихо:

— Я напишу хорошую книгу. Халтуры не будет!

Наконец они выходят, за дверью еще некоторое время топот и голоса. Надо бы извиниться перед отцом. Я подхожу к его двери, она вдруг открывается, и я почти сталкиваюсь с ним.

— Гена, — спрашивает отец, — как у тебя завтрашний день?

Я не совсем понимаю его вопрос, обычно мы таких друг другу не задаем.

— Валентина придет к нам около пяти. Ты будешь?

Милый папа! Я чувствую, как труден ему этот разговор, сама поза просителя, и с радостью помогаю ему избавиться от неловкости.

— Конечно. Завтра у меня как раз свободный день. Во всяком случае, — спешу поправиться, потому что еще ничего не знаю про завтрашний день, — в пять я точно буду дома.

Отец кивает и нервно застегивает верхнюю пуговицу на рубашке. Бедный папа! Завтра ему предстоит тяжелейшее мероприятие. Но я помогу ему, я буду паинькой, я буду тем, кем он хочет, чтоб я был. К тому же я вовсе не безразличен к женщине, которую он зовет Валентиной, мне чертовски любопытен отцовский выбор, я боюсь даже, что буду нервничать, ведь я люблю отца.

— Тут мы пошумели немного, извини.

Нам больше нечего сказать друг другу, и мы несколько неестественно раскланиваемся. Я иду в свою комнату, подхожу к столу. Деньги аккуратной пачкой лежат в ящике. Я вынимаю их, швыряю на стол и пытаюсь понять, как мне нужно к ним относиться теперь, ведь не могло же пройти без следа сегодняшнее, от скандала в квартире героя до необычной церковной службы! Ведь я не толстокожая скотина, к тому же я на рубеже новой жизни. Я пытаюсь нащупать в себе состояние перехода и для этого заставляю себя сформулировать свое представление о той новой жизни, к которой столь жадно стремлюсь. Что она есть — эта моя новая жизнь? Благочестивая семья с твердыми нравственными устоями — раз? Погружение в сферу религиозных истин — два? Отречение от суеты московского безделья — три? Что же еще? Неужели это все?

Конечно, если не произносить имя, то больше и сказать нечего. Но если произнести: «Тося!» — формула новой жизни наполняется до предела, нет сомнений, я отчетливо знаю, чего хочу!

И все же спокойствия в душе нет, в мою жизнь вторглась непривычная для меня динамика, и я не справляюсь со скоростью событий. С завтрашнего дня снова садиться за халтуру. Я себя знаю, я могу работать по пятнадцать часов в сутки, но получить деньги — это еще полдела. Нужно искать блат на покупку квартиры, и тут не избежать обращаться к матери.

И еще Ирина...

Почему бы не признаться себе, что с именем Ирины связано у меня ощущение беспокойства, которое пока удается подавлять, то есть не обращать внимания? Мне нужна твердая почва под ногами, определенность.

Милый мой Геночка! Сразу два твоих письма, это такая радость! Я держала в руках конверты и танцевала по комнате. Мне повезло, я сначала прочитала второе письмо, а потом уже первое. Но все равно оно огорчило меня. Я не все поняла, дала прочитать папе. Ты не сердись на меня? Но он у меня очень хороший, он все понимает. Он говорит, что душа твоя в смятении, что это очень трудно и тяжело. Если бы я могла помочь тебе хоть чем-нибудь! Но ты так далеко, что иногда мне кажется, что тебя вообще нет на свете...

А у нас три дня шел такой дождь, что все ручьи превратились в реки. Я сидела у окна, а вокруг дома вода, и я думала, что плыву на корабле к тебе и заблудилась в океане. Ведь если плыть в океане, то это все равно что стоять на месте, и через час вода, и через день...

В этом году такая земляника крупная и сочная, я собираю в кружку и потом уже не могу есть ее, как будто для тебя ее собираю... Отдаю кому-нибудь...

Я прочитала книжку, которую ты позабыл. Может быть, я чего не понимаю, но не люблю я такие книжки, обязательно где-нибудь кто-нибудь выругается на веру или священников, мне это в школе надоело, и я никогда не понимала, почему все злятся, ведь мы никому не мешаем, папа ведь никого в храм не зазывает и не затаскивает, это они всех куда-то тащат, то на собрания, то на воскресники, и все ругают нас... Или юмор такой, как инженер тот из твоей книжки, он же ничего о нас не знает, а только шуточки...

Ты хочешь, чтобы мы в Москве жили, а я боюсь, я по телевизору смотрю — в Москве так тесно, такая жизнь, что невозможно ни во что верить, и лица все такие некрасивые, будто у них вообще души нет, они все какие-то планы выполняют и решения принимают... Я их боюсь...

Я до девятого класса тоже мечтала кем-нибудь быть и жить в другом месте, где много разного и интересного, я даже космонавтом мечтала быть, а потом, когда телевизор купили, я все на лица смотрела этих героев, когда они говорят о своей жизни, будто у них тысяча жизней или одна вечная, и мне всегда хотелось крикнуть им, что одна только жизнь бывает, а самое главное — после нее, и если про главное не думать, то зачем вообще жить, для чего? Вот и ты говорил, что главное — это интересное дело, работа, а я этого не понимаю, почему это главное, для меня главное, после самого главного, — это то, что я тебя люблю. А у тебя так быть не может, да? И мне грустно... немножечко...

А твои папа и мама? Я им не понравлюсь, так ведь? И тут ничего не поделаешь, хотя я уже их всех и сестру твою, я их люблю. Но я еще об одном скажу, что меня пугает. Мне иногда кажется, что Господь не для жизни свел нас с тобой, а для чего-то другого, потому что все, что случилось у нас с тобой, оно как бы против всех законов. Не за что тебе было полюбить меня, и что со мной произошло, разве такое можно было предполагать, ты же как с луны свалился по мою душу...

Нет! Нет! Нет! Я больше сегодня не буду писать. И вообще сегодня не нужно было писать. Я устала сильно, все из-за сена. Три раза дождик был, а тучи сколько раз набегали. Это я просто устала. А ты пиши так же часто, хорошо?

Очень жаль, что впереди осень, а не весна, мне было бы легче ждать тебя, если бы впереди весна. Целую тебя. Я и забыла, как это, когда я целую тебя, но было очень хорошо!

Твоя

(Окончание следует.)



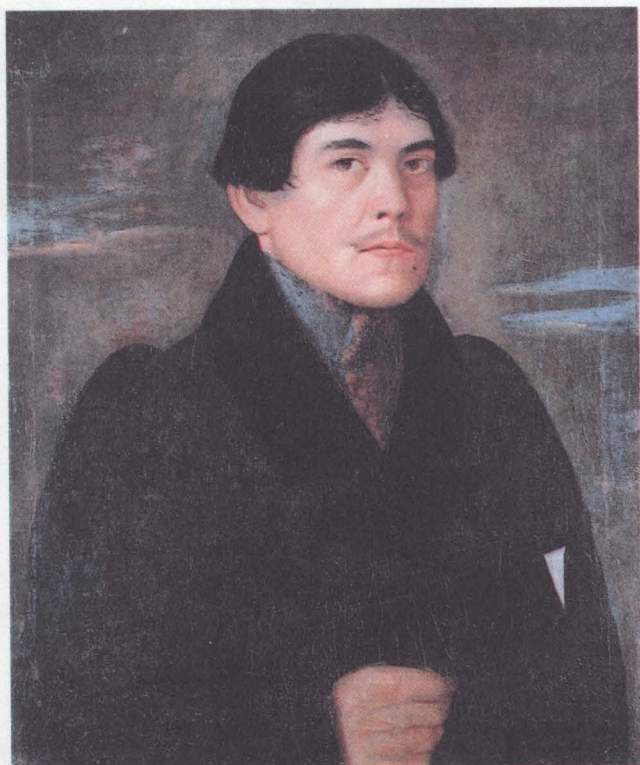
Неизвестный художник.
БОГОШЕСТВЕННАЯ ГОРА СИНАЙСКАЯ
 Вторая половина XVIII века. Холст, масло.
 Поступила из Троицкой церкви в Перми в 1936 г.
 Изображены три горы Синай и монастырь св. Екатерины.

**КРЕПОСТНЫЕ И ЗАБЫТЫЕ
 ЖИВОПИСЦЫ ПРИКАМЬЯ
 XVIII—XIX века.**

Пермская государственная художественная галерея.



С. П. ЮШКОВ. Крепостной живописец Строгановых.
Портрет графини Натальи Павловны Строгановой. 1851 г.
Портрет барона Сергея Григорьевича Строганова. 1853 г.



Неизвестный художник.
Портрет Алексея Семеновича Ужина.
Первая половина XIX века. Холст, масло.



А. У. ОРЛОВ. Пермский живописец.
Учился в Академии художеств.
Портрет соликамского купца
Валентина Ивановича Дубровина.
Холст, масло. 1853 г.



И. С. ДОШЕНИКОВ
Крепостной живописец Строгановых.
Игра купца с гостем в шашки.
Картон, масло. 1840—1850 гг.

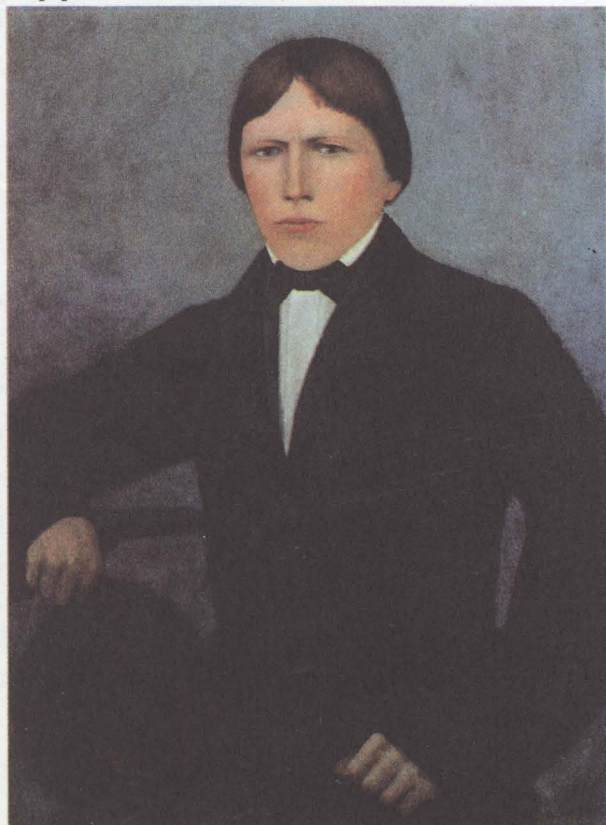


И. НЕКРАСОВ

Крепостной живописец Строгановых.
 Портрет Силы Васильевича Демидова
 крепостного крестьянина
 из села Слудка.
 После отмены
 крепостного права 1861 г.
 перешел в купеческое сословие.
 Не случайно изображение
 С. В. Демидова
 с пером в руках.
 Есть много свидетельств
 «учености»
 крепостных крестьян Демидовых.
 Холст, масло. 1830 г.

Л. И. ГОЛОВИН

Вольный художник из Чердыни.
 Портрет Колотова. Жест, масло. 1869 г.



Неизвестный художник.
 Портрет военного.
 Холст, масло.
 Первая половина XIX в.

ДВА БИЛЕТА НА БАЛ-БАЗАР

Между уральскими портретами первой половины XIX века на нашей вкладке и дневником чердынского обывателя 1890-х годов лежит эпоха — эпоха Великих реформ, преобразования российского зжтя. В записях провинциала повсюду — свидетельства ее благого прихода. Где же теперь патристический без кавычек пафос думцев и земцев? Где те традиции культуры и семейственности, которые облагораживали российскую провинцию? Задуматься над этим заставляет дневник Ивана ВЕРЕЩАГИНА.

Старейший город уральский — Чердынь раскинулся над рекой Колвой на семи холмах. Заречные таяжные дали уводят на северо-восток к Полюдову кряжу. В ясные безоблачные дни можно разглядеть далекий Помянненый камень. Там уже Вишера течет и одна за другой тянутся вершины Уральских гор...

Год назад потомки жителя г. Чердыни И. В. Верещагина передали мне небольшую по формату тетрадь, в которой все страницы оказались записанными аккуратным почерком. Записи эти — настоящая летопись Чердыни, какие, известно, были распространены в прошлом. Автор записей — Иван Васильевич Верещагин, 1870 года рождения. Его предки издавна проживали в городе и занимались торговыми делами. В Чердыни он закончил четырехклассное городское училище, в 1897 году избирается собранием городской Думы торговым депутатом, а в 1898 году — гласным городской Думы и членом городской Управы, в которой длительное время являлся кассиром.

Записи Иван Васильевич начал вести с 1896 года — со дня своей свадьбы. Любая страница тетради открывает живое прошлое, и даже краткие упоминания каких-либо событий или имен позволяют увидеть такие подробности, какие не доносят до наших дней официальные документы...

(1896 г.) «31-го марта. Когда я венчался, то мне в тот день от рождения было 25 лет, 5 месяцев и 26 дней, а Машеньке, когда венчалась, то в тот день было ей от рождения 19 лет, 8 месяцев и 2 дня...», «...января 7-го числа ездили в Покчу к Анастасии Ивановне Сокотовой сватать Марию Ивановну, ездили мамонька с крестным Павлом Петровичем Протопоповым. Потом 8-го числа ездили еще они же и дали тогда слово до Пасхи...», «31-го числа ездили в Покчу брать руку, ездили 8 человек... 2-го числа февраля я с невестой катался на лошади в Покче, 3-го числа катался на лошади в гор. Чердыни, а 4 числа еще катался в Покче и там у невесты заговлялся. С 6-го февраля и по 16-е число был в отлучке, ездил в Ильинское и Пермь за покупками для свадьбы. 18 числа, 21-го, 3-го марта по все эти вечера был я у невесты, а 10-го марта невеста была у нас в городе и приходила с Татьяной Ив. хресной к нам, пили чай, а потом мы с невестой ходили в училище на Духовной концерт, в котором в пении я участвовал... 28-го в четверг на Пасхе был вечер девишник, ездили с отцом протоиереем Петром Серебренниковым и еще гостей 15 человек всего было. 29-го в пятницу был танцевальный вечер до 5 час. утра. 30-го числа была мыльна, ездили с пирогом. 31-го марта была свадьба. Уехали из дому за невестой в 4½ часа по полудни на шести парах, а с невестой приехали в собор в 6½ часов. У собору были плошки, освещение в церкви было полное, венчали в холодной. Венчание продолжалось 1 час и 10 минут. Певцы пели, три хора — Соборные, Преображенские и Успенские. Пели

«Гряди» и потом 2 концерта «Блаженнии люди» и «Радуйтесь люди». Затем певцы были дома и пели до 12 час. ночи. К венцу ездили на санях в повозках парами. Было тихо и хорошая погода, в церкви тоже было все спокойно и хорошо, полиции было 6 человек. У дому тоже были плошки. Гостили до 4-х часов утра. На подклет свели в 3 часа после полночи. 1 апреля ездили с визитом в Покчу и в городе были в 18-ти домах. 2-го числа в Радольничу был у нас большой стол, гостили до 5-ти час. утра, 3-го числа была черная свадьба, марались сажей и плясали до вечера..., чернились только дома, никуда не ходили. 4-го числа были хлебины, у нас танцевали до утра и 5-го числа еще был танцевальный вечер, плясали тоже до утра. Музыкант был Костя Эльснер. 8-го апреля хлебины были на Покче».

Если учесть, что свадьбы в разных местах имели свои особенности, то рассказ Верещагина о своей свадьбе интересен многими деталями. Городская свадьба Чердыни проходила по тем же издревле установленным порядкам, что и крестьянская. Были сговор и рукобитье, девишник, венчание и свадебные вечера, архаические причитания и поговорки-заговоры... В Чердыни, как можно понять из верещагинского описания, разницы между городским свадебным ритуалом и традиционным крестьянским почти что не было. Бытовала специфическая городская терминология — бал, танцевальный вечер, ездить с визитом, разослать приглашение..., но за нею стояла традиционная последовательность свадебных обрядов.

(1898 г.) «11-го октября, воскресенье. Мы с Машей встали в половине четвертого часу утра и засветили в зале лампаду, положили на стол каравай черного хлеба и солоны соли. Потом разбудил братьев Васю и Мишу, так же разбудил и Сашу. Все умылись и собрались в зале молиться богу. Сорры никакой не было тогда, даже и слова, а все было скромно и тихо. Мне раньше не давали комод, а потом утром дали и его. Около пяти часов утра встали молиться богу все вместе. После моления я пал отцу в ноги и Машенька тоже вместе, он нас благословил иконой нашей же Спасителем, а сам тятенька, когда благословлял, то у него были слезы. Потом пали в ноги и мамоньке и она благословила хлебом и солью, говоря, что сами идете. Потом я и Машиа кланялись в ноги Саше и она нам поклонилась как следует. Затем простились с Васей и Мишей. Я взял икону Спасителя, которой благословляли, а Машиа взяла хлеб и соль. Мишиа взял икону Треручицу и все пошли благословлять. Я нес икону без шапки всё до квартиры. Тятинька и мамонька, Саша и Вася проводили до ворот, а Мишиа ушел с нами всё на квартиру».

Раздел семьи — событие важное и значительное как для тех, кто остается жить в родительском доме, так и для отделившихся. Как важнейшее событие в личной жизни, уход из родительского дома Верещагин описал со всей подробностью.

(1898 г.) «26-го июля. За чаем, дома я получил пакет от головы для участия закладки водопровода... 27 июля день Пантелеймона. Я ходил к Успению к заутрене и обедне. В 11 час. дня звонили на соборе, идти с иконами на закладку водопроводных зданий. Я пришел в собор, там уже собрались идти. Пошли сначала под гору... Из-под горы ушли на площадь к баку, тоже служили молебен, как и под горой... Молебствие кончилось в половине 2-го часу дня. После него я ушел в Управу на торжество. Сначала выпил 2 стакана чаю, затем всем было поднесено по бокалу шампанского и председатель земской Управы провозгласил тост за государя императора. Кричали ура! 2-й тост за губернатора Арсентьева. 3-й тост за голову и гласных, и за жертвователей, 4-й тост за инженера Ганзберга. И еще было много провозглашений, и все кричали ура! Замечательно то, (что) во время этого залетела в окно, в Управу ласточка, которую поймал в руку инспектор Илья Иванович Попов. И говорили все, что какую-то она нам принесла весть, наверное, весть добрую и хорошую. Затем он выпустил ее в окно и сказал: «Лети же ты за богом». Во время молебствия и с утра до вечера погода солнечная, жаркая, при западном ветре».

В последующих записях сообщается, что Ивану Васильевичу было поручено следить за качеством возведения насосной станции и водонапорной башни. Наблюдения он вел тщательно. Во время пребывания на стройке много рассказывал об устройстве водопровода тем, кто ради любопытства приходил сюда. Познакомил с насосной станцией и свою Машеньку. Построенный в Чердыни водопровод работал без реконструкции полвека.

(1899 г.) «13 января купил у С. А. Ляпустина мебель всю за 90 руб., именно: 2 дивана мягких, один из них с чехлом, 3 кресла тоже мягкие, 1 стул мягкой пух, 1 стол десертный, 1 дюжину венских стульев новых, 6 стульев старых, 11 гардин для штор, 1 стол письменный, вроде конторки с 5-ю ящичками, 1 стол рабочий для швейной машины, 1 тумбочку, 2 стола простеночных, 1 стол чайный, дубовый, с двумя ящичками, 1 стол ломберный, раскладной, 1 этажерка, 1 шкаф чайный, 2 круглых столика, 1 стол кухонный, крашенный, 5 табуреток крашенных, скамейка крашена, две треножки под цветы и 16 банок цветов».

Подобный набор мебели могли иметь те, кто занимался в городе торговлей и судоходством. Перечисление дает возможность представить интерьеры жилых домов, позволять судить и о ценах того времени. Старую мебель можно увидеть еще во многих домах Чердыни. Ее берегут и передают по наследству.

(1899 г.) «30 декабря. Днем крутил я билетики на бал-базар. Себе я брал билет № 4, а Маше № 5. В половине 7-го часу вечера я ушел на бал-базар, а Маша пришла потом. Получить билеты на выигрыш из урны начали с 7-и часов. Мне попал выигрышный № билета 2-й, а Маше выигрышный № билета 345. Мне под 2-м номером досталась подушка диванная бархатная, рублей в 10-ть, а Маше под № 345-м достался ножик роговой под названием фруктовый. На бал-базар всех билетов было продано у нас Управой 832 по 50 коп. на 416 руб. На бал-базаре я торговал буфетом с И. В. Ваньковым и И. М. Мичуриным. Выручили всего с чаем и пирожками 144 р. 49 коп. Народу было очень много, не менее сот пяти или шести человек, танцевали до 4-х час. утра при духовой музыке. Я ушел с бал-базара в 7 час. утра».

«Бал-базар» приурочивался к рождественскому празднику. Для Чердыни, население которой тогда составляло около четырех тысяч человек, мероприятие это в зимних условиях оставалось самым массовым, как и летняя Прокопьевская ярмарка.

...Аккуратный почерк Верещагина передает живой голос тех, кто отважился поклониться далеким священным местам христиан:

«...Июня 1 дня я стал торговать на рынке в лавке... 4 июня... в 4 часа после полдня пришел ко мне в лавку Петр М. Одинцов с письмом, полученным из Иерусалима от дяди Михаила Ивановича. Юхнёва, письмо печальное, извещающее о смерти мамашы Анастасии Иван. Сокотовой. Пишет дядя, содержание письма следующее: «Господь по среде нас. Благословение от святого Града Иерусалима. Незабвенные мои племянники и племянницы Петр Михайлович и Татьяна Ив., Иван Васильевич и Мария Ив., и любимые внуки Михайло, Анастасия и Мария Петровны. Первым долгом кланяется вам со святой горы Сионской любимая ваша мамонька и бабушка и посылает благословение родительское вековечное, которое будет существовать в вашей жизни, и при том долгий век. Пишу я вам сию весточку нерадостную, с горючими слезами. Но что делать, стало быть на это есть определение божие и его святая воля. Затем объясняю вам положение ея болезни. Мы с ней ездили в Назарет после пасхи и были на Фаворе в Тверидаде, и она купалась в теверийском море и в горячем источнике. На обратном пути она захворала в Назарете с 18-го числа апреля и ехала до Иерусалима хвоя. Приехали мы в Иерусалим 23-го апреля. Легла она в больницу 26-го апреля и пролежала там до 14-го числа мая. Скончалась 14-го на 15-е мая в начале 12-го часу ночи в Вознесенев день. Похоронили 16-го числа в 10-ть час. утра. Болезнь у нее была первоначально в животе резья, рвота и понос кровавый. Эту болезнь в больнице уничтожили, потом образовалась внутренняя лихорадка, тем и кончилась. На путь наставлена по долгу христианскому, исповедана и два раза приобщена, и оговорена. Еще я настоял ее приобщить в тот день, в которой ей умереть. Похоронил как следует, положил в гроб, потому как здесь хоронят без гробов. За гроб заплатил 6 руб. Похоронил на склоне в ряд с Михаилом Никол. Серебровым. Место выпросил положить у патриарха, кладбищем заведывают греки. На отпеве были три священника, 1 русский, 1 греческой и 1 арабской, четверт. дякон и два псаломщика. Провожало народу много поклонников. Здесь на Палестине завсегда отпевают по три священника. На похоронах на Палестине я заказывал обед с панихидой для поклонников, обедало 120 человек. На третий день служил панихиду и брал порционные билеты, и хочу ей заказать каменной памятник. Одежда, кото-

рая при ней была, по завещанию ее всю распродал по нищим. И по ее завещанию делаю подпись поминовения. Извините меня, что я вам пишу кратко, потому всю подробность нашего путешествия не могу вам описать. Когда бог велит мне возвратиться домой, тогда все наше путешествие расскажу подробно. Товарищи наши уехали за неделю до смерти ее, со мной осталась только Антонида Ерасимовна. Дай ей господи доброго здоровья за то, что она мне помогла много и обрадовала, что осталась со мной. Если б не было ее, то при таком ударе быть может я и сам бы слег в больницу. Так я был расстроен духом во время этого, что лишился хлеба и сна. В Назарет ходило народу тысячи полторы. По возвращении из Назарета много примерло народу, так что каждый день хоронят по 3 и 4 человека обоего пола, и по сие время все хоронят, в тот день после мамашы схоронили еще 2-х женщин. Болезнь происходит от воды и воздуха, дорогой воду пили сырую, а воздух жаркий, многие пострадали и от рыбы. Когда пришли в Тверидаду на первой и 2-й день ели много рыбы, некоторые варили рыбу в горячих источниках на платках и ели. Вода в ключах горячая, даже не терпит рука, и солоная. Дорогой пили воду из озерин и колодцов, в колодцах вода дождевая, где около селения, из них воду носят и тут же рубахи моют и бабы арабки бродят, и вот в тот же момент мы черпам воду и пьем, чистой воды встречалось мало. Путешествие в Назарет очень трудное, и если бы я знал, что дорога плохая, то я ни почем бы не повез сестру, дорога ужасно гористая и каменистая, станки большие, верст по 30-и и по 40-к, и горы очень высокие и крутые, на другую гору поднимались часа полтора. Мне покойная сестра сказала, если меня не свозили в Назарет, то я на тебя буду судачить до смерти, и я не смел отговориться. Взял нанял осленка за 7-м рублей верхом и ее всю дорогу хранил как маленького ребенка, взят и вперед. По прибытию из Назарета лежало народу полная больница, и здоровых мало выходило из больницы. Я хотел вас уведомить телеграммой, но на Турецкой телеграф. конторе в алфавите Чердыни не оказалось, а есть только Пермь, поэтому мою телеграмму не приняли. Большие писать нечего. Остаюсь жив и здоров, но в великой печали. Отправимся после троицы на первом пароходе из Иерусалима в Россию. М. И. Юхнев. Писал письмо 17 мая 1898 г.»

Известно и о других поездках чердынских жителей в Иерусалим, но подобных описаний не было. В письме М. И. Юхнева сообщалось родственникам о смерти и похоронах А. И. Сокотовой, а в записках Верещагина обнаруживаем сведения о том, как была встречена в Чердыни и Покче печальная весть из Иерусалима и какие поминальные обряды были совершены. На следующий день после получения письма — 5 июня — в Воскресенском соборе состоялась панихида и в двух местах — соборе и Богоявленской церкви Чердыни — заказан сорокоуст. 7 июня была проведена панихида по Анастасии Сокотовой в Покче у могилы ее мужа, а затем состоялись поминки в доме, на которых присутствовало более ста человек. Все это пришлось на 25-й день после смерти. В 40-й день вновь состоялась панихида в Чердынском Воскресенском соборе и поминальный обед в Покче. «Поминать мамашу, — пишет Верещагин, — мы посылали по селам Искор, Корепино, Серёгово, Пятигоры».

«26-го мая, среда. Отдание пасхи, погода стала теплая, Маша ходила к заутрене, а к обеду ходили вместе. После обеда была в соборе панихида о Пушкине Алекс. Серг. в честь ста лет от рождения его, были чтения и пения в приходском училище о Пушкине».

К этому событию было приурочено создание общеобразовательного музея, о котором давным-давно высказывалась общественность города и уезда. Только что заступивший на должность председателя Чердынской уездной земской управы Д. А. Удинцев поддержал инициативу учителей и служащих, и на заседании земского собрания в ознаменование юбилея было решено открыть образцовую земскую начальную школу, присвоив ей имя Пушкина, учредить пушкинские стипендии для учащихся и открыть «музей прикладных знаний», или Общеобразовательный имени Пушкина.

Публикация и комментарии Г. ЧАГИНА

Владимир
ВОЙНОВИЧ

ЖИЗНЬ И НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛДАТА ИВАНА ЧОНКИНА

Книга вторая
ПРЕТЕНДЕНТ НА ПРЕСТОЛ



Рисунки Геннадия Новожилова

Время близилось к полночи. Капитолина Горячева дежурила в приемной, ожидая возвращения своего начальника. Все было спокойно. Дважды звонили из области. Первый раз спросили, сколько сосисок осталось на складе. Капа сказала «шестнадцать». Второй раз интересовались, что слышно относительно кладов. Капа ответила, что клад пока ищут. Ей сказали: «Когда найдут, сообщите тестю».

Оба разговора были кодированы. В первом случае выясняли, сколько осталось дел, не законченных следствием, во втором — найдены ли останки капитана Миляги. Тесть — Лужин.

Звонил женским голосом какой-то мужчина и сказал, что может дать ценные сведения насчет Курта, но когда Капа спросила фамилию звонившего, он бросил трубку.

Делать было нечего. Капа попила чаю, достала из ящика стола потрепанную книгу рассказов Мопассана и погрузилась в чтение. Зачитавшись, она не слышала, как вошел майор Фигурин, и очнулась только тогда, когда он положил на ее плечо свою костлявую руку. Она смешалась и хотела сунуть книгу обратно в ящик, но майор перехватил ее, посмотрел на обложку, прочел фамилию автора. Хороший писатель, сказал он, правильно изобразил языки современного ему французского общества, но классовой сущности изображенных им же противоречий до конца не понял ввиду ограниченности собственного мировоззрения и не смог указать выхода из создавшегося положения. А выход этот был только в объединении и консолидации всех прогрессивных сил вокруг рабочего класса, вот до понимания чего Мопассан не дошел.

Обсудив с Капой достоинства и недостатки творчества Мопассана, Фигурин высказал беспокойство по поводу долгого отсутствия группы Свинцова, справившись, какие были новости, и ушел к себе в кабинет звонить «тестю».

Капа стала собираться домой, но тут опять появился Фигурин и спросил, не хочет ли она составить ему компанию и выпить с ним по рюмочке коньяку. Капа смутилась и сказала, что она никогда коньяк не пробовала, но от сведущих людей слышала, что он пахнет клопами.

— Распространенный предрассудок, — возразил майор Фигурин. — Коньяк — один из самых лучших и полезных напитков. Он изготавливается из чистейших виноградных спиртов, в отличие от водки не содержит сивухи, укрепляет стенки кровеносных сосудов и улучшает работу пищеварительного тракта. У меня, например, благодаря употреблению коньяка, всегда очень хороший стул, — сказал майор и улыбнулся интимно.

Может быть, этот пикантный довод показался Капе достаточно убедительным, она перешла в кабинет Федота Федотовича, который достал из сейфа початую бутылку, две маленьких металлических рюмочки и лимон. Подстелив чистый бланк протокола допроса, он нарезал лимон тоненькими кружочками при помощи маленького перочинного ножа, сделанного в виде дамской туфельки, и объяснил, что закусывать коньяк лимоном придумал сам Николай Второй.

*

События развивались стремительно. Уже после четвертой рюмки Капа сидела на коленях Фигурин, а он, шаря рукой у нее под юбкой, читал, рассказывая, стихи любимого поэта:

Не жалею, не зову, не плачу.

Окончание. Начало см. в №№ 6—7, 1990 г.

Все пройдет, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым...

— Будешь! — жадно и жарко дышала Капа.
— Разденься! — приказал он, дрожа от нетерпенья.

— Как? — она удивилась. — Совсем?

— Совсем! — сказал он и убежал почему-то за шкаф.

Потрясенная, она торопливо раздевалась посреди комнаты. «Интеллигент», — думала, кидая подвязки на стул. Насколько выгодно отличался майор от покойного капитана Миляги, от этой грязной свиньи, которую теперь Капа вспоминала с отвращением. Ведь это грубое животное никогда даже не поинтересовалось ее телесной красотой. Ведь этот дикарь валил ее на диван, не давая снять даже сапог.

Капа разделась и в ожидании стояла посреди кабинета, чувствуя, как покрывается от холода или от страсти гусиной кожей. Стало даже как-то неловко. А майор все еще пыхтел за перегородкой. Слышно было, как что-то треснуло, и со звоном покатились по полу латунная пуговица.

И вдруг с ликующим воплем:

— А вот и я! — майор, словно кенгуру, вылетел в высоком прыжке из-за шкафа.

— Ах! — в ужасе вскрикнула Капа и закрыла лицо руками.

Майор был совершенно гол и без всяких знаков различия, но на нем поверх дряблого и в меру волосатого тела сверкали лаком перекрещивающиеся ремни португееи, и желтая кобура с торчащей из нее рукоятью нагана хлопала майора по белой ляжке.

— Что это? — ослабевшим голосом спросила Капа, отрывая от лица одну руку.

— Это? — смутился и покраснел Федот Федотович. — Это... — он хотел объяснить.

— Нет, нет, — сказала Капа поспешно. — Я про ремни.

— И я про ремни, — еще пуще смешался майор. — Я всегда... я никогда... и нигде... без оружия... — задыхался он, толкая ее к дивану.

А потом была буря, перед которой бессильно даже перо Мопассана. Скрипели диван и ремни португееи. И плыл потолок, и качалась люстра, и рушились стены, и сквозь грохот обвала слышался отчаянный визг:

— А-а-а-а-а!

Капа только потом догадалась, что это визжала она сама.

Вдруг все стихло и невидимая труба тонко проиграла отбой.

✱

— Большинству людей непонятен смысл нашей работы, — говорил майор Фигурин, рассеянно водя мизинцем по Капиным кудряшкам. — Они нас боятся, они нас ненавидят, они втихомолку над нами смеются, они перед нами заискивают, но не понимают. А между тем, — он вскочил с дивана и заложил руки за спину, стал расхаживать по комнате, рассуждая, — смысл в нашей работе есть и смысл глубочайший. Вот представьте себе, что человек без нас. Без нас он живет, но как? Скучно. Он не знает, куда себя деть, и не знает, кому он нужен. Он ест, пьет, отправляет естественные надобности, ходит на работу, ссорится с женой, но у него все время такое ощущение, что он маленький человек, что никому до него нет дела. И вот приходим мы. И мы говорим человеку: ты

окружен врагами. Смотри, кто-то попытался отравить твой колодец, кто-то хочет украсть твоего ребенка. Мы говорим: смотри в оба, где-то рядом с тобой находится твой враг, он не дремлет. Мы говорим, что это не просто враг, не просто какой-то выживший из ума человеконенавистник, нет, он связан с международным капиталом, за ним стоят могущественнейшие силы. И человеку становится страшно, но в то же время он сам начинает себя уважать. Если на его жизнь постоянно покушаются такие силы, значит, его жизнь представляет собой...

Договорить ему не дали. Дверь распахнулась, и на пороге появился Свинцов. Сапоги Свинцова до колен были облеплены глиной, с брезентового плаща стекала вода, за спиной болтался намокший мешок.

— Ага, — сказал майор, — наконец-то явился.

Он сунул руку туда, где должен был быть карманчик для часов, рука скользнула по голому телу. Фигурин опустил глаза вниз, потом посмотрел на Капу, которая с выражением ужаса на лице сжалась в углу дивана, перевел взгляд на тупое лицо Свинцова и, вдруг осознав все, заорал не своим голосом:

— Кто разрешил входить без стука? Вон отсюда! — И огромный Свинцов, вышибя дверь, вылетел в приемную и, взмахнув руками, рухнул, причем голова его оказалась под столом Капы.

Майор тут же прикрыл дверь и закричал на Капу:

— Немедленно оденьтесь! Почему вы не по форме? Тыфу, что я мелю!

Он сам убежал за шкаф и стал торопливо приводить себя в порядок.

Свинцов очнулся оттого, что Капа лила на него воду из графина, а майор бил по щекам. Оба были одеты.

— Ну, ну, Свинцов, — говорил майор почти ласково. — Признаю, я немного погорячился. Мы с Капиной Григорьевной работали, было жарко, ну немного разделись, а вы без стука... Вставай-те же, Свинцов, по-моему, все в порядке.

Свинцов со стоном приподнялся и теперь сидел, вытянув ноги и прислонясь спиной к тумбе стола. Он отупело и настороженно поглядывал на майора, на Капу, на мешок, валявшийся в стороне.

— Ну как? — спросил майор. — Уже лучше? Я вижу, что уже лучше. Вы добыли то, за чем я вас посылал?

— Там, — указывая подбородком, хрипло сказал Свинцов. — В мешке.

— Там? — майор недоверчиво посмотрел на мешок. — Что же там прямо труп лежит? — он поехал.

— Не труп, а эти... — сказал Свинцов.

— Останки? — подсказал Фигурин.

— Остатки, — согласился Свинцов. — Кости.

— Ну-ка, ну-ка. — Майор склонился над мешком, развязывая шпагат. Вынул кусок кости с загогулиной на конце, посмотрел на нее, посмотрел на Капу, достал еще одну кость, опять посмотрел удивленно, взял мешок за нижние концы и все высыпал на пол. Кости со стуком высыпались и сложились небольшой горкой. Отдельно выпал и откатился в сторону продолговатый череп.

— О, майн Готт! — почему-то не по-нашему вскрикнула Капа и закрыла глаза.

Майор поднял череп и стоял, вертя его в руках и ошупывая длинными тонкими пальцами.

— Свинцов, — строго спросил Фигурин, — что это такое?

— Голова, — сказал Свинцов, пожимая плечами. Кажется, он приходил в себя.

— Не голова, а череп, — поправил майор.

— Ну череп, — легко согласился Свинцов. — Что в лоб, что по лбу.

— И вы считаете, что этот череп принадлежит человеку?

— Кто возьмет, тому и принадлежит, — уклончиво ответил Свинцов.

— Сержант Свинцов! — повысил голос Фигурин. — Вы что из себя дурака строите? Вы хотите сказать, что это череп капитана Миляги?

Свинцов постепенно пришел в себя, но все еще морщился, давая понять, что он пришел в себя не окончательно.

— А вы его видели когда? — задал он наводящий вопрос.

— Кого его?

— Ну капитана-то.

Майор, переглянувшись с Капой, признался:

— Не видел.

— Вот то-то. А она, Капитолина, видела. И может подтвердить: похож. За остальное не скажу, а улыбка точь-в-точь евоная.

Фигурин опять посмотрел на Капу, она неуверенно пожала плечами.

Майор задумался. Конечно, Свинцова следовало наказать. Но похороны назначены на завтра. Завтра похороны, и если наказывать Свинцова, где взять подходящие останки? Разве что положить вместо Миляги самого Свинцова.

*

Будучи в Долгове и проходя мимо Дома культуры железнодорожников, Нюра увидела необычное оживление. Пространство вокруг дома было оцеплено милицией и штатскими с нарукавными повязками. Возле самого Дома культуры толпились народ и стояли в ряд машины — одна грузовая с откинутым задним бортом и два военных автобуса — фары их были закрыты светомаскировочными крышками с узкими прорезями. Боковые борта грузовика были украшены красной материей с черными полосами по краям, а в кузове ближе к кабине стоял жестяной обелиск, сделанный в виде сужающейся сверху четырехгранной пирамиды с красной звездой наверху.

Люди, собравшиеся перед главным входом, прерывистым потоком втекали в открытые двери, а другие вытекали обратно, надевая на выходе шапки. Некоторые из выходивших шли дальше, другие останавливались в ожидании выноса, курили и вполголоса переговаривались.

Чуть в стороне ото всех других стояла группа руководителей района в длинных пальто и в дорогих шапках, а среди них кинооператор Марат Кукушкин, который явился со своим аппаратом, чтобы запечатлеть историческую церемонию для потомства.

К группе руководителей мягкой походкой подошел майор Фигурин. Он тронул за рукав Борисова и спросил, почему нет Ревкина.

— Не пожелал удостоить, — пожав плечами, сказал Борисов.

Из открытых дверей лилась траурная мелодия.

Нюра протиснулась внутрь и, продвинувшись немного вперед и по диагонали, увидела на сцене обтянутый красной материей гроб.

Рослый военный с красно-черной повязкой на рукаве через равные промежутки времени выводил из-за кулис очередную смену почетного караула. Люди, ее составляющие, шли гуськом, высоко поднимая ноги, и застывали каждый на своем месте, словно внезапно пораженные столбняком.

А надо всем этим — над гробом и почетным караулом — вознесся огромный портрет, с которого покойный приветливо улыбался всем, пришедшим его прозодить.

— Батюшки, — не веря своим глазам, ахнула Нюра. — Как живой!

— Вы-таки правы, — шепотом согласился с нею старик в длинном плаще. — Я покойного хорошо знал и могу подтвердить: совсем как живой.

Чем дальше Нюра продвигалась вперед, тем гуще стояла толпа. В конце концов Нюра завязла. Слева от нее стояла старушка в черном платочке, а справа тот самый мужичок, который хлопотал насчет солом.

Старушка, глядя на сцену, крестилась и плакала.

Соломопроситель стоял молча. Он пришел сюда в расчете на то, что в непринужденной и расслабляющей обстановке похорон можно будет как-то неофициально подкатиться со своим вопросом к начальству и получить соответствующую официальную резолюцию, однако, судя по выражению его лица, надежды, видимо, оказались напрасными.

Вдруг музыка смолкла, на сцену один за другим с шапками в руках вышли несколько людей и шеренгой выстроились перед гробом. Они постояли, как бы выжидая, чтобы соответствующая моменту печаль поглубже проникла в души людей.

— Сейчас отпевать будут, — объяснила Нюре старуха в платочке и перекрестилась.

Секретарь Борисов сделал шаг вперед и поднял руку с шапкой, как бы призывая собравшихся к молчанию, хотя все и без того молчали.

— Товарищи, — сказал Борисов, — траурный митинг объявляю открытым.

Затем он сам же и выступил. Он рассказал краткую биографию покойного, который, якобы родившись в простой рабочей семье, с ранних лет познал голод, холод и нужду, характерную для условий того времени, рано начал задумываться над сущностью социальных противоречий и рано вступил в борьбу за свободу и счастье против темных сил реакции.

— Вражеская пуля, — продолжал Борисов, — оборвала эту прекрасную жизнь в самом расцвете. Перестало биться горячее сердце бойца и партийца. Но мы клянемся, что на смерть капитана Миляги ответим большим сплочением вокруг нашей партии, вокруг ее великого вождя товарища Сталина.

— Хорошо отпевает, жальливо, — сказала старуха и заплакала.

Прослезилась и Нюра.

Серафим Бутылко, слушая ораторов, икал и усмехался. Икал он от того, что с утра слишком много выпил (для храбрости), а усмехался потому, что слова выступавших казались ему слишком общими и казенными. Бутылко предвкушал, как выйдет он, прочтет свое стихотворение и все удивятся, какой все-таки замечательный талант произрос в этой удаленной от культурных центров местности.

И вот он вышел, помолчал и, размахивая кулаком, завыл:

**Стелился туман над оврагом,
Был воздух прозрачен и чист.
Шел в бой Афанасий Миляга,
Романтик, чекист, коммунист.**

Сражаться он шел за свободу...

Тут Серафим загнулся и, кусая губы, стал смотреть в потолок. Он забыл, что дальше, он понимал, что запинка его ужасна, и от сознания того, что она ужасна, слова стихов совершенно вылетели из хмельной его головы.

Борисов, отстранив локтем Серафима, объявил:

— Траурный митинг окончен.

Он дал знак музыкантам, музыканты надули щеки, траурная мелодия вновь растеклась по залу.

Заплакала старушка в черном платочке, заплакала и Нюра. Она плакала сейчас не над Милягой, она не думала, хороший он был или плохой, но гроб, музыка, торжественная печаль обстановки действовали на нее так, что она заплакала просто по ушедшему из этого мира еще одному человеку.

*

Широко распахнулись двери, и вышли музыканты: шестеро военных и среди них одна толстая баба в форме, с треугольничками в петлицах. Баба несла барабан и оттого казалась беспредельно беременной. Музыканты встали перед публикой лицом к дверям и приготовились. Возле них крутился кинооператор Марат Кукушкин.

Тем временем в клубе шли последние приготовления к выносу тела. Дважды пробежал по сцене Фигурин, шепотом отдавая кому-то какие-то распоряжения. Затем он выглянул в дверь, убедился, что оркестранты заняли свои места и что Кукушкин тоже готов к работе. Он вернулся на сцену.

— Товарищи,— объявил Фигурин,— приготовились к выносу. Кто понесет?

— Я! Я! — кинулся со всех ног Бутылко.

Он хотел хоть как-то загладить свою вину. Он оттеснил нерасторопного Ермолкина, встал перед ним. С одной стороны предрайисполкома Самодуров, с другой он, Бутылко, а за ним обиженно пыхтел ему в спину Ермолкин. Гроб был из сырых досок, тяжелый. Но Бутылко не чувствовал тяжести, ощущая себя таким былинным богатырем.

— Так, так, товарищи,— вполголоса командовал Фигурин.— Встаньте ровнее. Этот край чуть выше. Так. Пошли!

Вместе со всеми Серафим двинулся вперед. Распахнулись двери. В уши хлынула музыка, в глаза брызнуло солнце. Слегка прижмурившись, Серафим увидел толпу, увидел сверкающие на солнце инструменты, увидел кинооператора Марата Кукушкина, который пялся крутил ручку своего аппарата.

«Для киножурнала «Новости дня»,— догадался Серафим и приосанился. Он представил себе, что фильм вскоре выйдет на всесоюзный экран и зрители во всех уголках страны увидят его, Серафима Бутылко, крупным планом. И может быть... Бутылко слышал, кто-то ему рассказывал, что Сталин лично просматривает все выходящее на экран. Может быть, просматривая очередную ленту и попыхивая своей знаменитой трубой, он произнесет:

— А кто это такой молодой, симпатичный, который несет... да нет, не этот, я говорю: симпатичный. Вот тот справа? — и укажет мундштуком на экран.

И тут что начнется! Серафим живо представил себе, как забегают помощники по общим вопросам и по кино, как зазвонят все телефоны правительственной связи, личность молодого симпатичного тут же выяснят и вот он в мягком вагоне прибывает в Москву. Номер-люкс с бассейном и попузями. Прием в Кремле. Дружеское рукопожатие товарища Сталина. Публикация массовым тиражом поэмы «Дума о хлебе», Сталинская премия, руководящая должность в Союзе писателей и...

Он не успел подумать, что и... он просто считал: и еще что-то ему полагается, когда нога его ступила в пустоту, он инстинктивно оттолкнул от себя гроб, чтобы не придавило, и полетел с крыльца, нелепо взмахнув руками.

Шедший с другой стороны Самодуров, почувствовав, что гроб валится на него, с большой силой двинул его обратно, а сам тут же отскочил в сторону. То же сделали и другие. Как-то так получилось, что

под гробом оказался один Ермолкин. С вытаращенными от растерянности глазами он стоял на последней ступеньке крыльца, словно былинный богатырь, приняв на себя всю тяжесть гроба. Гроб, покачиваясь на его плече, одновременно поворачивался, словно стрелка компаса, наконец, вовсе перекосясь, и, сбив с ног Ермолкина, устремился к земле. Отталкивая его, Ермолкин упал очень неудачно, ударился головой о булыжник и, уже теряя сознание, услышал чей-то запоздалый призыв:

— Держи! Держи!

Раздался ужасный треск, гроб торчком врезался в мостовую. Крышка, наживленная на четыре гвоздя, отскочив, накрыла до подбородка Ермолкина, а из гроба со стуком посыпались кости. Последним вылетел, ударился о камни и отскочил в сторону продолговатый череп. Майор Фигурин сделал неосознанное движение к черепу, хотел то ли схватить его, то ли прикрыть от народа, но не успел. Облезлая собака, вынырнув из-под ног, впилась в череп зубами и кинулась прочь. Может быть, не следовало ей мешать, но чей-то расторопный кованый сапог опустился ей на спину. Жалобно взвизгнув, собака выронила добычу и исчезла.

*

Что было дальше, даже страшно рассказывать.

Народ пришел в ужасное возбуждение и угрожающе надвигался.

— Свят-свят-свят,— бормотала старуха в черном платочке, опять очутившаяся перед Нюрой.

— Лошадь! — скандальным голосом крикнула какая-то женщина.— Лошадь хоронят!

— Лошадь! Лошадь! — прошло по толпе.

Народ шумел. Раздался милицкий свисток. Послышался голос Борисова:

— Товарищи, успокойтесь! При чем здесь лошади! Вот же покойник! — кричал он, пытаясь предъявить народу Ермолкина.

В это время как на грех Ермолкин открыл глаза.

— Живого хоронят! — завопила все та же женщина.

— Что? — пытались понять напиравшие сзади.

— Лошадь хоронят!

— Живую лошадь хоронят!

Шпики рассыпались по толпе и толкались, не имея достаточно ясных инструкций. Народ волновался. Находившийся в общей куче соломопроситель, пользуясь всеобщим возбуждением, решил выдвинуть свои экономические требования:

— Солому!

Ему ответили:

— Заткнись ты, чокнутый!

Майору Фигурину показалось, что кричат: «Свободу Чонкину!» Это впоследствии дало ему основания для просьбы об усилении местного гарнизона.

Волнение масс между тем усиливалось. Желая ввести стихию в нужное русло, Борисов вскочил в похоронный грузовик и величественно поднял правую руку. В это время гнилой помидор (кто-то, щедрый, не пожалел) залепил ему правый глаз. (Потом в донесении Фигурин отмечалось: «Имели место отдельные акты террора против представителей власти».) Борисов почувствовал удар, а когда разлепил глаз, увидел что-то красное.

— Убили! — тихо сказал Борисов и рухнул без памяти головой к обелиску.

Напряжение нарастало. Власть, стремясь овладеть положением, двинули на толпу один из военных автобусов, но он, кажется, тут же заглох.

Дело спас какой-то находчивый шпик. Вскочив на ступеньку автобуса:

— Братцы! — прокричал он. — В раймаге карточки пшеном отоваривают!

Соскочив с подножки, он первым побежал к раймагу. Народ растерялся, ахнул и кинулся за шпиком.

Пшена, конечно, не оказалось. Народ пошумел и утих. А тем временем на площади Павших Борцов появился новый могильный холмик и жестянойobelisk, заставленный искусственными венками. Если раздвинуть венки, можно было прочесть:

капитан
АФАНАСИЙ ПЕТРОВИЧ МИЛЯГА
(1903—1941)
геройски погиб в бою
с белочонкинской бандой

Говорят, через некоторое время, захватив Долговский район, немцы вскрыли могилу и найденный череп передали местному краеведческому музею, где в отделе «Современный период» он лежал под стеклом. Тут же была и разъясняющая табличка с текстом на двух языках:

Череп советского комиссара Миляги

*

В общей суматохе одна потеря прошла почти незамеченной...

...Ермолкин лежал уже без сознания, когда крышка гроба, отлетев, упала ему на грудь. Очнувшись, он увидел себя лежащим навзничь на холодном булыжнике, увидел на уровне своего лица множество чьих-то ног, напрягся, но не мог вспомнить, почему он здесь и что было до этого.

Вокруг стоял шум и гам, и какой-то визгливый женский голос выкрикивал:

— Лошадь! Лошадь хоронят!

Что-то давило грудь, он посмотрел и увидел, что на нем, закрывая его почти до подбородка, лежит крышка гроба, обтянутая красной материей. Какой-то человек, указывая на Ермолкина пальцем, говорил: «Вот он, покойник!», а чей-то визгливый голос вопил, что хоронят живую лошадь.

Ермолкин не имел ничего против того, чтобы быть похороненным, но он всегда остерегался возможных ошибок.

— Вы заблуждаетесь, — поправил он, с достоинством улынувшись, — я не лошадь. Я Ермолкин Борис Евгеньевич.

Может быть, так он сказал, может быть, так подумал, может быть, и не сказал, и не подумал, а просто ему показалось, что он так сказал или так подумал.

Голова его от слабости свернулась набок, он увидел совсем близко что-то белое, что-то продолговатое, кажется, это был череп, да, это был лошадиный череп, он скалил зубы и пытался укусить Ермолкина в нос.

Ему не жаль было своего носа, ему теперь вообще ничего не было жаль, он только хотел понять, почему этот череп лежит рядом с ним. Но тут же вспомнив, что кого-то хоронят, что хоронят скорее всего его самого, он еще раз посмотрел на белый продолговатый предмет и понял, что это его собственный череп. «Значит, правда, я — лошадь», — подумал Ермолкин. Это было странно. Странно и смешно. Он работал ответственным редактором газеты, он занимал важный пост, и никто не заметил, что на самом деле он был просто лошадю, всего лишь лошадю, обыкновенной тягловой единицей конского поголовья.

Облезлая собака, появившись перед глазами, осканилась и кинулась, рыча, на его отдельно лежащий

череп. Она впиалась в череп зубами, Ермолкин понял, что сейчас ему будет очень и очень больно, он закрыл глаза, и сознание его опять помрачилось.

Снова очнувшись, он увидел склонившегося над ним старика в облезлом танкистском шлеме.

— Молодой человек, — сказал старик. — Я бы на вашем месте здесь не лежал. Вы можете простудиться, попасть под машину или под лошадь.

Ему и раньше приходилось встречать этого отважного пожилого танкиста, но он не мог вспомнить, где и когда. Кажется, это было давно. А недавно тут бегали какие-то люди, кричали, суеились, хоронили кого-то, то ли его, то ли какую-то лошадь, да, точно, лошадь, но лошадю этой был именно он. Танкист тоже сказал что-то про лошадь.

«Но, — подумал он вяло, — если я лошадь и если меня похоронили, то почему у меня болит грудь, болит голова, почему я хочу пить и почему вижу перед собой этого танкиста?»

Он догадался, что похоронщики просто ошиблись, похоронили редактора вместо лошади, а лошадь или, точнее, мерин (кто-то, припомнил он, называл его мерином) случайно остался жив. И хотя у него все болело, он почувствовал радость, он понял, что ошибки бывают приятные, он думал, что лучше быть живым мерином, чем мертвым ответственным редактором.

Чего, однако, хочет этот танкист? Что он сказал про лошадь? Должно быть, его прислали, чтобы исправить ошибку...

Ермолкин решил притвориться человеком. Советским человеком и другом советских танкистов.

— Но если вдруг, — пропел он, улыбаясь танкисту, — нагрянет враг матерый, он будет бит повсюду и везде...

В поле зрения рядом с танкистом появилась старуха.

— Мойша, — сказала она, — оставь ты его в покое. Ты же видишь, он-таки порядочно пьяный.

«Очень хорошо, — подумал Ермолкин. — Пусть думают, что я пьяный. Лошади пьяными не бывают». Он приподнялся на локте и еле слышно, но с чувством продолжил песню:

**Тогда нажмут водители стартеры,
И по лесам, по сопкам, по воде...**

— Я вижу, что он пьяный, — сказал танкист, — но я боюсь, что он простудится и получит воспаление легких.

— Мойша, — сердито возразила старуха, — ты же хорошо знаешь, эти люди, когда напьются, лежат и в лужах, и в канавах, и где угодно, они привыкли и у них никогда не бывает воспаления легких.

Главное было достигнуто: эти люди считали его человеком. Теперь важно было, чтобы они поскорее ушли. Ермолкин закрыл глаза и притворился спящим. Когда он открыл глаза, рядом с ним никого не было. Он поднялся с большим трудом, во всем теле была ужасная слабость, ноги дрожали и разъезжались, как у малого жеребенка. И ему подумалось, что, может быть, он и в самом деле не мерин, а всегонавсего жеребенок, может быть, ему три с половиной года, его могут обидеть, могут зарезать, ему надо найти свою мать, она его прикроет, она его защитит.

Он куда-то пошел, идти было трудно, болела грудь, болела голова, очень хотелось пить.

У какого-то забора он увидел верховую лошадь, белую, красивую, с добрыми человеческими глазами. Привязанная к столбу, она стояла спокойно, но, увидев Ермолкина, повернула к нему морду и, раздувая ноздри, заржала. «Это моя мать!» — догадался Ермолкин.

— Мама! — сказал он и, встав на колени, прильнул к ее вымени. — Мама! — повторил он и, втянув в себя один из ее шершавых сосков, зачмокал вытянутыми в трубочку губами.

Почувствовав знакомое ощущение в области вымени, лошадь повернула голову, ожидая увидеть, быть может, своего жеребенка, но увидела двуногое существо, какое-то странное, грязное и больное. Лошадь подняла заднюю ногу, брезгливо махнула ею, и копыто ударило Ермолкина прямо в темя.

— Мама! — заплетаящимся языком пробормотал Ермолкин, лег на землю и тут же окончательно умер.

*

Через несколько дней в газете «Большевистские темпы» появилась статья антрополога К. Ушастого — «Влияние социальных условий на антропологический тип».

В статье проводилась такая мысль, что, поскольку Октябрьская революция в корне изменила не только социальные условия жизни в нашей стране, но и внутренний мир человека — его отношение к труду, к обществу — это непременно должно привести и к внешним изменениям облика, а именно, со временем советский человек будет так же отличаться от всех остальных людей, как хомо сапиенс отличается от неандертальца. Конечно, эти изменения произойдут не сразу, но если, как учит нас марксистская диалектика, постепенные количественные изменения переходят в скачкообразные качественные, то нет ничего удивительного в том, что у отдельных людей, отличающихся последовательностью своих идейных убеждений и ясностью мировоззрения, уже сейчас становятся заметны антропологические изменения, которые в первую очередь, естественно, отражаются на строении черепа. Многочисленные и авторитетные исследования, утверждал автор статьи, неопровержимо показывают, что такие изменения происходят в сторону удлинения черепа вследствие удаления жевательных органов от мыслительных центров. «Такие изменения», — развивал свою мысль Ушастый, — наблюдались и буржуазными учеными. Наиболее передовые из них отмечали, что длинноголовые (долицефалы) обладают, как правило, более сильным интеллектом, чем круглоголовые (брахицефалы)¹, но ограниченность мировоззрения не позволила этим ученым (должно быть, они сами были недостаточно длинноголовыми) подняться до истинного понимания подобных явлений. Эти ученые на первый план выдвигают расовые различия, в то время как наша наука, опираясь на единственно правильное учение Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина, расовому подходу к явлениям противопоставляет подход классовый».

*

На эту статью обратили внимание многие, в том числе и Ревкин. Он эту ученую статью воспринял как выпад против себя лично и послал ее в обком с докладной запиской, в которой называл статью псевдонаучной и шарлатанской, утверждал, что она инспирирована, конечно, новым начальником Тех Кому Надо, который с самого начала ведет себя вызывающе, игнорирует партийные органы и тем самым противопоставляет свое Учреждение партии. Опровергая основные положения статьи, Ревкин пошел на весьма рискованное, если не сказать безумное, возражение, написав, что если бы марксистское мировоззрение

действительно влияло на строение черепа, то самый вытянутый череп был бы у товарища Сталина, ибо именно он обладает самым последовательным марксистским мировоззрением. «Между тем, — утверждал Ревкин, — стоит посмотреть на любую фотографию товарища Сталина, чтобы убедиться в абсурдности доводов К. Ушастого». Ревкин предлагал привлечь Фигурину к строгой партийной ответственности. Записку он эту направил в обком, но копию ее еще выше, в ЦК. Не дожидаясь ответа, он решил проявить свою власть на месте. Он написал короткую записку: «т. Фигурин, вам необходимо срочно зайти в РК для выяснения некоторых обстоятельств». Записку отправил с шофером Мотей и стал ждать ответа. Он явно нервничал и ни на чем не мог сосредоточить внимание. Мотя вернулась через сорок минут.

— Почему так долго? — напустился на нее Ревкин.

Ответить она не успела. Вслед за ней вошли два рослых молодых человека в штатском, и один из них, улыбнувшись, спросил:

— Где у вас оружие, хозяин?

И самое удивительное, Ревкин не спросил у них никаких документов, сразу показал на ящик стола, в котором лежал револьвер.

В сопровождении молодых людей Ревкин вышел в приемную.

— Анна Мартыновна, — сказал он зачем-то секретарше, — я тут вынужден ненадолго удалиться. Если позвонят с бондарного завода, скажите, чтобы собрание проводили без меня.

— Хорошо, — сказала Анна Мартыновна, тревожно глядя на Ревкина. — А вы... скоро вернетесь?

Давая ей понять, что дальнейшее зависит не от него (хотя она и так все поняла), Ревкин посмотрел на одного из сопровождавших и вежливо спросил:

— Как вы думаете, мы скоро обернемся?

Но тот улыбнулся и сказал:

— Пойдемте, хозяин.

*

Майор Фигурин встретил своего гостя радушно.

— Очень рад, очень рад, — бормотал он, пожимая Ревкину руку, — давно мечтал познакомиться, но не успел приступить к работе, сразу все навалилось, и этот Чонкин, и этот Миляга... так закрутился, что даже не смог выбрать время представиться вам. А тут как раз ваша записка. Вот я и подумал, что, пожалуй, будет удобнее, если мы встретимся у меня, а не у вас.

Затем он сказал, что поведение Ревкина последнее время его несколько беспокоит.

— Мне не очень понятно, — сказал он, — что вы так выступаете против этого несчастного Миляги, ведь он, собственно говоря, уже покойник, а вы... а вы еще нет, — Фигурин широко улыбнулся. — У вас с ним личные счеты?

— У меня ни с кем личных счетов нет, — резко сказал Ревкин, — а погиб Миляга не как герой, а как предатель. Я сам был тому свидетелем.

— Ах, Андрей Еремеевич, — покачал головой Фигурин, — не мне вам говорить, что нам нужна не всякая правда, а только та, которая нам нужна. И потом это ваше возмущение, что там в гробу оказался не тот череп. Допускаю, что вы видели, как он погиб, но череп же его вы не видели. Ну, согласен, может, не тот череп, может, другой. Ребята наши тут торопились, некогда было, время военное, положили что нашли. Стоит ли из-за мелочей поднимать шум? Вы со мной не согласны? Ну хорошо. Вот вам бумага, пишите.

— Что писать? — спросил Ревкин.

— Напишите, когда и при каких обстоятельствах

¹ В сноске автор просил не путать последних с Буцефалом, конем Александра Македонского.

вы вступили на путь враждебной деятельности против нашего государства, кем завербованы, что успели сделать, какое получили за это вознаграждение, в какой валюте и так далее и тому подобное, мыслью по древу особенно не растекайтесь, но и упускать подробностей тоже не нужно.

— Послушайте, вы,— сказал Ревкин,— вам надо срочно обратиться к врачу, вы больны, у вас не все дома.

— Да, это мне некоторые уже говорили,— печально согласился Фигурин.— В том числе и врачи. Но где они? Нет, вы не подумайте, я не обидчив, вы меня хоть горшком назовите, мне все равно, но ведь я представляю собой некую известную вам организацию, и оскорблять ее я вам не рекомендую. Это может лишь ухудшить ваше и без того затруднительное положение. Сейчас вас отведут в камеру, и вы там в спокойной обстановке сосредоточитесь, подумайте, а потом поговорим еще. И пожалуйста, не проявляйте излишнего упрямства, потому что наши люди бывают порою грубы.

Ревкина увели в камеру и поместили среди разных преступников, что больно задело его самолюбие.

*

Ночью он впал в истерику, бился головой о железную дверь камеры и никак не хотел внять уговорам надзирателя, что после отбоя шуметь не положено. Водворенный же в карцер, он и вовсе помешался и грозился послать телеграмму лично товарищу Сталину, но к утру затих и смирился.

Утром он попросился к Фигурину и там в его присутствии собственноручно записал свои показания. «В контакт с международной реакцией,— написал он,— я вступил в Лондоне. Мы провели несколько тайных встреч, на которых присутствовали Троцкий, Чемберлен и шеф гестапо Гиммлер. На этих встречах мы обсуждали разнообразные коварные планы, как-то: диверсии, саботаж и вредительство. Во исполнение этих планов, будучи секретарем райкома, я ввел в бюро райкома лиц, враждебно относящихся к советскому строю, и по рекомендации всемирной буржуазии направлял их деятельность на развал сельского хозяйства, резкое уменьшение продуктивности животноводства и снижение жизненного уровня трудящихся до минимальных пределов, с тем чтобы вызвать недовольство среди населения и, может быть, даже бунт. Последняя цель, однако, достигнута не была».

Записав всю эту абракадабру, Ревкин надеялся, что вышестоящее начальство поймет абсурдность выдвинутых Фигуриным обвинений, но этого, судя по дальнейшему развитию событий, не произошло.

Фигурин, прочтя показания, даже похвалил Ревкина:

— Вы очень хорошо пишете,— сказал он.— Богатая фантазия, хороший слог. Из вас мог бы получиться вполне приличный писатель.

К удивлению и тайной радости Ревкина, Фигурин не заметил в показаниях никаких противоречий и копию протокола отправил вверх по инстанциям. Ревкин ждал результатов с нетерпением и даже не без злорадства. Позднее он узнал, что показания и «наверху» были приняты с удовлетворением. Роман Гаврилович Лужин сказал о показаниях Ревкина: «Чудовищно интересно». Потом подумал и Чемберлена вычеркнул, сказав, что упоминать представителя Великобритания, союзника по антигитлеровской коалиции сейчас, пожалуй, не стоит. Вместо Чемберлена Лужин вписал Чонкина, которого Ревкин должен был признать своим главарем и который, в свою очередь, через какого-то Курта был связан с германским верховным коман-

дованием. Ревкин неожиданно оскорбился. Он согласен был считаться крупным преступником, но отказывался признать себя подручным какого-то Чонкина. Когда же его как следует побили, он и вовсе заартачился, озлобился, стал вести себя вызывающе. И вообще отказался от прежних своих показаний. Ему напоминали, что партия его вырастила, бесплатно учила, лечила, кормила, одевала и обувала, но он проявил полную неблагодарность и кощунственно написал: «С 1924 года состоял в преступной организации, называемой ВКП(б), занимал ряд руководящих постов и совместно с другими членами этой организации наносил максимальный вред стране и народу».

Прочтя это заявление, майор Фигурин тут же отправил Ревкина на психиатрическую экспертизу, где врач, хорошо знакомый с медицинской доктриной майора, определил:

«Больной страдает параноидной формой шизофрении, развившейся на почве длительной ненависти к советскому строю и сопровождающейся бредом величия и преследования. Прогноз сомнительный. Лечение симптоматическое. Противопоказаний к содержанию под стражей не имеется».

*

Лаврентий Павлович Берия сидел за своим столом в расстегнутом габардиновом пальто, в сапогах с галошами и в серой шляпе, нагнутой на глаза.

Шел второй час ночи, он собрался домой, но сил не хватало подняться.

Москву, видимо, не сегодня — завтра придется оставить, а эвакуация важнейших предприятий и учреждений ведется неорганизованно, в панике. Не хватает подвижного состава.

В городе циркулируют дикие слухи и значительная часть населения поражена капитулянтскими настроениями, то есть, проще говоря, ждет немцев.

Но больше всего Сталина вывело из себя сообщение, что на территории одной из ныне оккупированных областей действовала разветвленная тайная организация, способствовавшая захвату этой области врагом, причем в организации были замешаны некоторые партийные работники и даже работники органов.

Сталин кричал на Берию и даже плюнул ему в лицо, но через некоторое время остыл и сказал: «Извини, нервы».

«Нервы не нервы, но зачем же плевать?» — думал Берия, когда дверь в кабинет отворилась и молодой полковник, исполнявший обязанности секретаря, приблизился и положил на край стола увесистую папку, перевязанную шелковыми тесемочками.

— Что это? — не подымая глаз, спросил Берия.

— Начальник управления контрразведки просил ознакомиться,— сказал секретарь и вышел.

Видимо, в папке было что-то сверхважное, если начальник контрразведки и секретарь решились побеспокоить наркома в столь позднее время.

Берия открыл один глаз, скосил его на папку, увидел крупно написанную фамилию Голицын-Чонкин, удивился, открыл второй глаз и придвинул папку к себе.

Развязал шелковые тесемочки и, плюя на палец, стал переворачивать подшитые к делу листы. Письмо о дезертире Чонкине за подписью «жители деревни Красное». Ордер на арест с продырявленной печатью. Протоколы допросов. Характеристика. Донесение Рамзая о каком-то Курте. Донесение с трижды подчеркнутыми красным карандашом словами: «происходит из князей Голицыных». Ордер на арест Курта. Протокол допроса, где Курт утверждает, что под личиной рядового дезертира скрывался князь Голицын. Еще куча всяких бумаг, в которых подследствен-

ный именуется: Чонкин, так называемый Чонкин, Белочонкин, Чонкин-Голицын и, наконец (кто-то догадался вывести нужную фамилию вперед), Голицын-Чонкин.

Берия сдвинул шляпу на затылок, подумал, нажал на кнопку, вызвал начальника контрразведки, которому дал пятнадцать минут на то, чтобы во всех бумагах вымарать фамилию Чонкин как совершенно излишнюю.

Пока исполнялось его приказание, он сделал короткую зарядку, выпил стакан крепкого чаю и отправился на «подземную дачу», как называлась временная канцелярия, расположенная на одной никому не известной станции московского метро.

*

Сталин радушно встретил гостя на пороге своего просторного кабинета с глобусом и фальшивыми зашторенными окнами, точно такого же кабинета, какой был у него в Кремле. Некоторые люди, которых сюда привозили в закрытых вагонах, так и думали, что они находятся в Кремле, попав в него тайным подземным путем.

— Здравствуй, дорогой, — сказал Сталин, с протянутой рукой приближаясь к Лаврентию.

— Здравствуй, Коба! — ответил Лаврентий Павлович возвышенно.

Она сблизились, и Лаврентий Павлович, поставив портфель на пол, схватил протянутую ему руку двумя руками.

— Еще раз здравствуй, Коба! — отозвался гость с еще большим чувством.

— И еще раз здравствуй, дорогой! — Сталин обнял приехавшего и, щекоча усами, крепко поцеловал в губы.

— Здыр...ав...уй! — зашелся гость в экстазе.

— Проходи, дорогой, проходи, — сказал Сталин, похлопывая Берию по спине. — Как доехал? Как жена, дети? Здоровы?

— Слава Богу, здоровы. — Подняв портфель, Берия шел за Сталиным в глубь кабинета. — Вместе со мной, вместе со всем народом думают: лишь бы ты был здоров.

— Садись, дорогой. — Сталин указал гостю на кожаный диван, а сам отошел к своему столу, раскрыл папиросы «Герцеговина Флор» и, разламывая их, стал набивать табаком трубку.

— Мне кажется, ты чем-то расстроен, — сказал он, заботливо глядя на Берию, который сидел на диване и держал свой портфель на коленях.

— Я? — вскинул голову Берия. — Нет, ничего, пустяки.

— А все-таки?

— Не обращай внимания, — потупился Берия. — Это совсем ерунда. Ты не должен об этом заботиться. У тебя есть заботы поважнее.

— У меня, — согласился Сталин, — конечно, есть очень много забот. Но как же я могу о тебе не заботиться? Ведь ты мой верный соратник и мне неприятно, если ты чем-то расстроен. Мне очень хочется знать, что у тебя на душе.

— Вай-вай! — замахал руками Берия. — Какие, право же, пустяки. Да, ты очень зорко подметил, я немножечко огорчен, я вот столечко огорчен твоим недоверием, но это не имеет совершенно никакого значения.

— Что значит не имеет значения? — нахмурился Сталин. — Это имело бы очень большое значение, если бы было правдой. Но ты мне скажи, в чем ты видишь мое недоверие?

— Ну хорошо, я тебе скажу, но мне, право же, неудобно. Это маленькое недоверие проявляется

в том, что твои люди возят меня в закрытом вагоне, как будто я какой-то преступник. Я, конечно, понимаю, что в жестокий период военного времени нужна очень высокая бдительность и твоя жизнь дороже зеницы ока, но все-таки такое обращение немножечко, чуть-чуть-чуть унижает мое человеческое достоинство.

— Человеческое достоинство? — удивился Сталин и, попыхивая трубкой, прошелся по кабинету. — Я тебя очень хорошо понимаю, Лаврентий. Но посудись сам, что я могу сделать со своими людьми? Они так любят меня. Они так боятся за меня. Они же не только тебя, они всех проверяют.

— Да-да-да-да, — закивал Лаврентий, — это, конечно, правильно. Но все-таки мне казалось, все-таки я иногда думал, что я для тебя — как бы это сказать? — немножко не все.

— Да, конечно. — С трубкой в зубах Сталин присел рядом, причмокивая. — Ты не все. Ты для меня особенный. И я должен тебе доверять на сто процентов и даже немножко больше. Но иногда я вот чувствую почему-то, что из всех людей, которые здесь бывают, я, пожалуй, никому не верю меньше, чем тебе.

Сталин вынул изо рта трубку, резко повернулся к Лаврентию и стал смотреть на него не мигая, как будто пытался прочесть его ответные мысли. Лаврентию взгляд хозяина очень был неприятен, но он не отвернулся и не потупился, а напротив, сквозь пенсне тоже смотрел на Сталина, не мигая. Так они сидели и смотрели друг на друга не отрываясь, как два удава. Сталин сдался первым.

— Черт тебя знает, — сказал он, отворачиваясь и вздыхая. — Всех вижу насквозь, одного тебя только не вижу. Иногда думаю: может быть, он честный человек, иногда думаю, может быть, он собака. Может быть, думаю, он уже договорился с Гитлером или с Гиммлером, чтобы Москву сдать, а меня выдать. А? — Сталин опять повернулся к Берии и уставился на него. — Признаться, договорился?

— Я? — Отбросив в сторону портфель, Лаврентий Павлович пал на колени, обнял сапог Сталина, прижал его к сердцу, прижался к нему щекой. — Коба, — сказал он с упреком, — как можешь ты так говорить? Да, я собака. Собака, да. Но собака чем отличается от человека? Она отличается преданностью своему хозяину. Ты меня обижаешь, но преданный пес не может обижаться на своего хозяина, и я на тебя не обижаюсь. И если тебе нужно, чтобы я кого-нибудь грыз и кусал, я буду его грызть и кусать. Ты мне только укажи пальцем и скажи «фас!», и я...

Лаврентий Павлович встал на четвереньки и оскалил зубы.

— Ладно. — Сталин был растроган. На щеке его блестела слеза. Он погладил ладонью вспотевшую лысину Лаврентия Павловича. — Ладно. Это я так. Просто хотел тебя немножко проверить. Настроение, понимаешь, плохое. Сажу здесь, как крот. — Сталин встал, подошел к глобусу. — А немцы вот они уже где. Вот. Совсем близко. Как ты думаешь, Лаврентий, Москву, наверное, придется сдавать.

— Нет, — сказал Лаврентий, отряхивая колени, — не придется. Теперь не придется.

— Теперь не придется? — прищурился Сталин. — А что же теперь такое случилось, что теперь не придется?

— А вот я тебе сейчас кое-что покажу, — сказал Лаврентий, расстегивая портфель и вынимая папку с шелковыми тесемками. — Ты же понимаешь, я бы не решился беспокоить тебя в столь позднее время по пустякам. — Он поднес папку и положил на край стола. — Вот, — сказал он торжественно, — дело князя Голицына.

— Голицына? — удивился Сталин.

— Князя Голицына, — повторил Берия, ставя ударение на слове «князя». — Обширнейший заговор. Мои ребята поработали. Постарались. Да ты сам почитай. Ты сам все увидишь.

Сталин прочел и увидел.

*

В ту ночь Нюра долго не засыпала. Вспомнила Чонкина, всю свою жизнь и всякую ерунду, много чего лезло в голову.

Потом приснилось ей, будто идет она с Чонкиным по какому-то полю, он держит ее за руку и спрашивает, далеко ли еще, а она отвечает: нет, совсем недалеко. И встречает их подполковник Лужин в одних кальсонах и галошах на босу ногу и говорит: «Вот, Беляшова, я как раз хотел предложить вам вместо нашего Чонкина этого, может быть, он вам подойдет». Нюра смотрит на Чонкина, а он ей подмигивает, мол, соглашайся, потому что я это я и есть. И Нюра пытливо смотрит на него и никак не может понять, настоящий ли это Чонкин или какой-то другой, подделанный под настоящего.

Чтобы рассмотреть Чонкина как следует, она зажгла керосиновую лампу, и лампа засияла так ярко, что Нюра проснулась. И увидела не во сне, а наяву, что вся комната озарена каким-то действительно ужасным пронзительным и неестественным светом, Нюра слетела с лавки, глянула в окно и закричала. Все пространство за окном было залито этим пронзительным мертвым светом без теней, речка Тепа пылала, огромное пламя клубилось над ней, казалось, по всей длине. Пламя как будто двигалось от речки к деревне, было похоже, что вот-вот все займется, все запылает.

Тут с неба на середину улицы опустилась длинная фигура в белом. Воздев руки кверху, фигура часто перебирала ногами и подпрыгивала, словно исполняя какой-то шаманский танец. Вдруг она повернулась к Нюре белым лицом и глаза ее страшно сверкнули.

— Ай! — закричала Нюра, узнав в фигуре покойника Гладышева.

Потом появились на улице и другие фигуры в белом. Это народ, видя наступление конца света, высыпал наружу в одном исподнем. Какой-то ошалелый петух, решив, вероятно, что проспал день, вскочил на забор, захлопал крыльями и пронзительно закричал.

Между тем наиболее хладнокровные люди, приходя в себя, осознали, что этот ужасный слепящий свет исходит от каких-то машин, полукольцом охвативших деревню. Сколько их было — пятьдесят? сто? тысяча? — впоследствии высказывались самые разнообразные версии. В этом свете пар, клубившийся над речкой Тепой, казался пламенем.

Потом уже стало известно, что это была разработанная Там Где Надо и блестяще проведенная операция, за которую руководители ее получили награды, которая впоследствии многократно упоминалась в различных приказах, инструкциях и тактических разборах. Спустя три года она была блистательно повторена маршалом Жуковым на Кюстринском плацдарме и навсегда осталась в истории.

Люди еще только приходили в себя, когда в деревню въехал грузовик с торчащими в разные стороны растрескавшимися вроде граммофонных, но гораздо больших размеров.

— Внимание! — кричал оглушительный лающий голос. — Всем жителям деревни приказываю: взяв с собой самое необходимое, не более двадцати килограммов на человека, собраться перед конторой для погрузки на автомобили. На сборы дается сорок ми-

нут. Опоздавшие будут доставлены принудительно. К уклоняющимся будут применены все меры воздействия вплоть до оружия. Внимание!..

Медленным ходом машина прошла из конца в конец деревни и обратно, многократно вылаивая приказ.

*

Затем часть машин, освещавших операцию, перегруппировалась, небольшая колонна вошла в деревню и выстроилась напротив конторы, остальные машины продолжали светить. Вместе с колонной въехала новенькая «эмка» и, поблескивая лаком, стала чуть в стороне. Задняя дверь открылась, из нее медленно вылез человек небольшого роста в белых бурках, прошитых кожаными полосками, в шинели с меховым воротником, в высокой папахе, в очках, в белых перчатках. Он выбрался на ступеньку, спустил одну ногу на землю и так и остался стоять — одна нога на земле, другая на ступеньке, а правая рука застыла на полуоткрытой дверце. Так этот человек и стоял, не двигаясь ни туда, ни сюда, словно в остановленном кинокадре.

Он стоял в стороне и со стороны наблюдал то, что происходило перед его глазами, как бы не имея к этому прямого отношения. Но именно он и был главным организатором и руководителем этой удивительной по своему замыслу и масштабу операции. Он стоял один, никто из группы стоявших неподалеку более мелких командиров не решался к нему приблизиться, но стоило ему двинуть хоть одним членом, как любой из них или все вместе кинулись бы со всех ног выполнять любое его приказание.

*

Это был Лужин.

Он стоял, он слышал крики, ругань, плач и вопли отчаяния, но ни то, ни другое, ни третье, ни четвертое не задевало струн его души, не возбуждало в нем сострадания, его заботило только, чтобы погрузка живого товара была произведена в срок и, по возможности, без излишнего шума.

Нюра видела все, как во сне. Вдруг появился перед ней подталкиваемый вертухаями Гладышев с Гераклом на руках. Нюра больше не удивлялась. Видимо, наступил страшный суд, и мертвые поднялись.

Потом уже выяснилось, что свое самоубийство Гладышев симулировал. Что на самом деле все это время он скрывался в подвале. Только по ночам он выбирался и спал с женой. И вот, тепленького, его выгребли вместе со всеми.

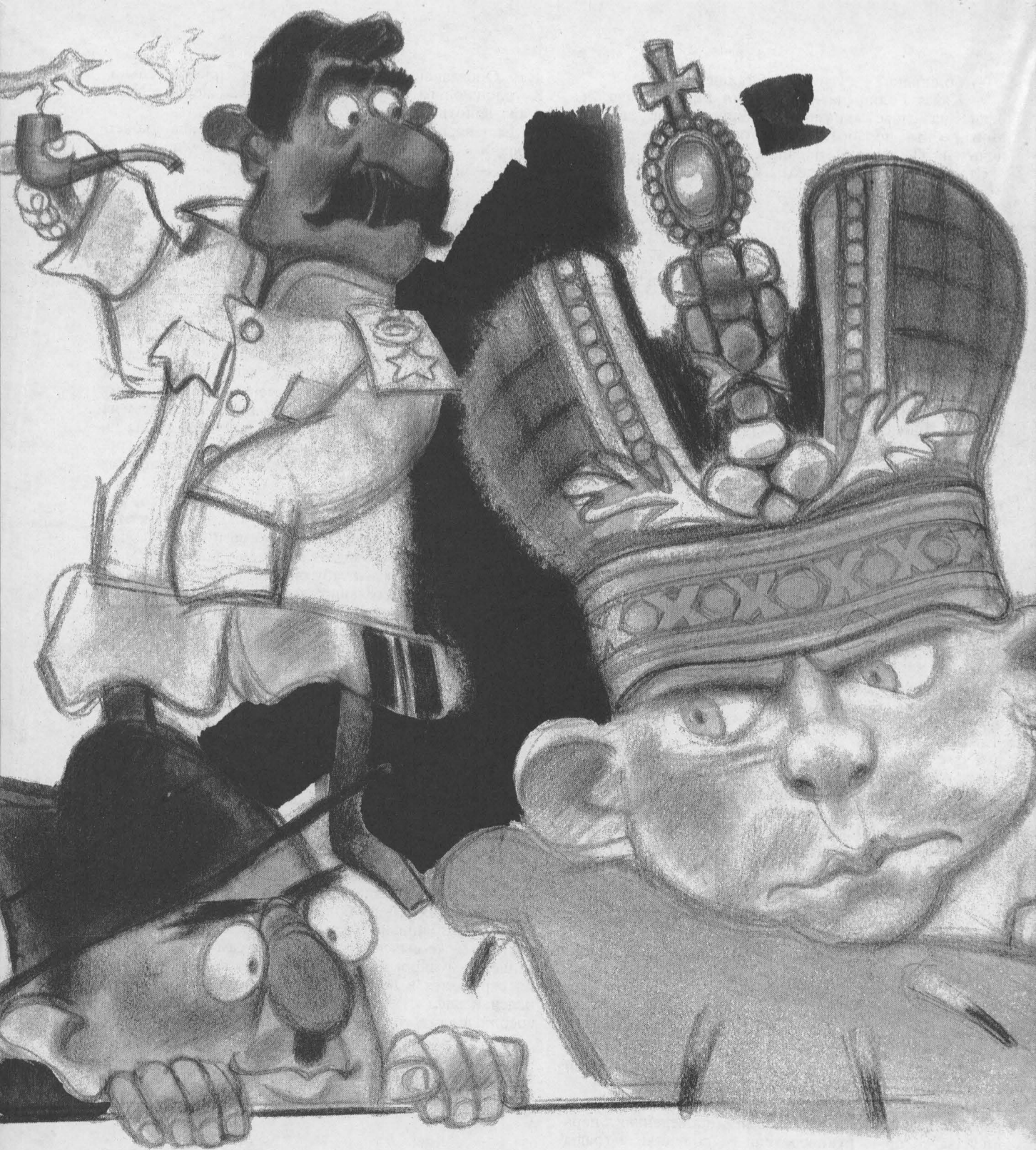
Как только колонна перестроилась, все фары тут же погасли. Машины, освещавшие операцию, подстраивались в полной темноте.

*

В начале октября 1941 года адмирал Канарис получил от своего личного агента следующее донесение:

«В Долгове органами НКВД раскрыт крупный заговор, возглавлявшийся неким Иваном Голицыным, представителем одной из самых аристократических фамилий старой России. Как я уже сообщал, за некоторое время до этого на территории района действовала так называемая банда Чонкина. Авторитетные источники полагают, что Чонкин и Голицын — одно и то же лицо.

Местные власти и органы пропаганды пытаются приуменьшить масштабы заговора, но, судя по проводимым мероприятиям, сами относятся к происшедшему с наивысшей серьезностью.



Приняты решительные меры по усмирению мятежного населения. Так, например, жители деревни Красное, где располагался штаб Голицына-Чонкина, депортированы в Долгов и размещены в местной школе-семилетке, огороженной колючей проволокой и превращенной во временную тюрьму (в дополнение к уже имеющейся постоянной).

Насколько мне удалось выяснить, князь Голицын является представителем белоэмигрантских кругов и находящейся в изгнании царской фамилии, действовавших по заданию Германского Верховного командования.

Судя по сообщениям газет, информации, почерпнутой из инструкций, рассылаемых партийным агитаторам, и других источников, основной целью заговора являлось широкое восстание местного населения против Советов (используя главным образом недовольство колхозной системой), захват данной территории и удержание ее до подхода германских войск.

Заговорщики были близки к цели, когда их постигла трагическая неудача. Однако, как мне кажется, еще не все потеряно. Более того, я считаю, что в районе сложилась весьма благоприятная обстановка для нанесения по нему решительного удара наших войск».

✱

Павел Трофимович Евпраксеин пообедал и принял свои сто пятьдесят, чтобы привести себя в норму. Ему поручили быть государственным обвинителем (военный прокурор, который должен был исполнять эту роль, заболел), он не хотел, но подчинился, — что поделаешь? — в кармане партбилет, а дома семья.

Правда, накануне, выпив побольше, он дома бузил и даже набросал какой-то проект: «Обвинения, предъявленные подсудимому, материалами дела не подтверждаются. Как прокурор, я вношу протест, а как коммунист, выхожу из...» Плакал, бил себя в грудь: «Сволочью больше не буду...» Утром, однако, встал в другом настроении, написанное вечером сжег, почистил костюм и отправился выполнять свой долг.

Во время утреннего заседания, перечитывая свою речь, думал: «Что же, если не я, так другой. Ему все равно крышка, так неужели ж и мне вместе с ним?»

Чонкин раздражал его своим видом и нахальным своим поведением, особенно когда пытался использовать свое право на вопросы свидетелю для своих личных целей, но все же после роковой фразы: «Сло-

во предоставляется государственному обвинителю», когда прокурор поднялся и, затягивая время, стал раскладывать перед собою бумажки, он почувствовал, что у него дрожат руки, дрожат колени и во рту появился неприятный привкус, как это в последнее время бывало с ним всякий раз, когда он делал что-то, чему его совесть противилась: «нельзя», а начальство толкало: «надо». И теперь та часть его мозга, которой управлял страх перед начальством, посылала его организму одни приказы, а другая часть, руководимая совестью, посылала приказы другие, и то ли клетки, то ли нуклеиновые кислоты, то ли чего-то там еще, не зная, чему подчиняться, сшибались друг с другом, вызывая ненормальное биение сердца, дрожание членов и отвратительный привкус во рту.

— Товарищи судьи! — не подымая глаз произнес он, и, услышав звучание собственного голоса, стал приходить в себя. — Роль прокурора в данном процессе чрезвычайно сложна и ответственна. Перед нами не обычный преступник. Перед нами человек, посягнувший, — прокурор сглотнул слюну, — на самое, — произнес он медленно, как под гипнозом, — дорогое для каждого из нас, на наш строй, на нашу Родину, на нашу новую жизнь.



Теперь ему стало легче. Та часть, которой управлял страх перед начальством, брала верх, а другая часть смутилась и отменила свои приказы.

— И хотя следственные органы провели кропотливую работу по анализу всех деяний подсудимого, глубоко обнажили корни, питавшие ядовитыми соками зловерное дерево его преступлений...

— Хорошо говорит, а? — подбежал за кулисами Лужин к приезжему генералу.

— Неплохо, — наклонил голову генерал.

Чонкин вздохнул и пытался послушать прокурора, но, изнуренный ночными и дневными допросами, не мог сосредоточиться на достижениях, перечисляемых прокурором: коллективизация, индустриализация, Днепротэс, Папанин и Полина Осипенко...

— ...Но как учит нас великий вождь товарищ Сталин, с установлением диктатуры пролетариата классовая борьба не только не утихает, она по мере нашего продвижения вперед еще более обостряется. Разбитые и выброшенные за борт корабля истории эксплуататорские классы никогда не смирятся со своим поражением. Они, — прокурор прямо указал пальцем на Чонкина, — предпринимали и будут предпринимать все более изощренные попытки реставрации своего отжившего строя.

Кажется, прокурор полностью овладел и собой, и аудиторией.

— Ярким примером гениального предвидения товарища Сталина может служить событие, происшедшее в деревне Красное за несколько дней до начала войны. Я позволю себе напомнить, что именно произошло...

Тут Чонкина совсем сморило, и он опять очутился в Красном, молодой, глупый и полный сил. Он бежал за девками, которые ехали на телеге, они ему что-то кричали, и он им что-то кричал, а потом приблизился к Нюре, говорил ей слова, и она ему слова говорила, но какой-то железный голос мешал, громко говоря чертовщину:

— ...снабжен оружием, боеприпасами и воздушным путем вступил в незаконные отношения с Беляшовой...

Он знал, что Нюра в любой момент может исчезнуть, и спешил тут же вступить с нею в незаконные отношения, она тоже была не против, она играла с ним, щекоталась, ему стало радостно, и он засмеялся.

И снова ворвался в уши все тот же железный голос:

— Он не только тогда глумился над марксистской теорией происхождения человека, но и сейчас смеется над нашим советским правосудием.

— Какая наглость! — сказал кто-то еще, и Чонкин проснулся.

Он не сразу вспомнил, где находится, что это за люди и кто этот страшный, который тычет в него своим длинным пальцем.

— Органами следствия установлено, что под личной рядового Чонкина скрывался матерый враг нашего строя, представитель высшей дворянской аристократии князь Голицын. Кто же такие Голицыны? Основатель этого рода был когда-то князем Новгородским и Ладожским. От него пошли многочисленные крепостники, реакционеры. Один из предков подсудимого еще в 1607 году возглавил подавление народного восстания под руководством Болотникова. Другой трижды претендовал на российский престол и был единственным серьезным соперником основателя династии Романовых царя Михаила. На протяжении трехсот лет князья Голицыны занимали наиболее значительные места при царском дворе. И вот я задаю вопрос: случайно ли представитель именно этой фамилии оказался в деревне Красное накануне вой-

ны? И я отвечаю: нет, не случайно. Марксистская диалектика учит нас, что случайностей в природе вообще не бывает. Все происходящее в мире явления связаны друг с другом, вытекают друг из друга и обуславливают друг друга.

Завороженный собственным красноречием, прокурор, чем дальше, тем больше верил своим словам и уже не невинную жертву видел перед собой, а зловерную фигуру, в руках которой незримые нити всемирного заговора.

— Разбитые наголову белобандиты всех мастей от Керенского до Деникина не успокоились, не утратили своих надежд на возвращение поместий, заводов и фабрик. Поддерживаемые международной буржуазией, гитлеровским фашизмом и японским милитаризмом, вынашивая планы реставрации царского строя, рассчитывая на поддержку скрытых врагов народа, ушедших в подполье троцкистов и кулацких недобитков, используя недовольство всяких ревких, голубевых и иже с ними, используя недовольство еще имеющимися у нас кое-где отдельными недостатками и трудностями, они послали подсудимого своим эмиссаром. Будучи представителем высшей ступени дворянской иерархии, он, как никто другой, был заинтересован в восстановлении царского строя и, может быть, даже сам... — Прокурор задохнулся от заранее непродуманной мысли, от внезапной догадки, которой он сам испугался, но не смог удержаться... — и может быть даже сам... он сам хотел стать царем! — быстро прокричал прокурор, затряс кулаками и головой и сел, оглушенный собственным открытием.

В зале прошел гул, как будто морская волна налетела и разбилась о скалы.

Стоявшие за сценой невольно подались к кулисам.

Тем временем приезжий генерал кинулся куда надо и передал «наверх» шифровку: «В ходе судебного разбирательства прокурор Евпраксеин неопровержимо установил, что подсудимый Голицын намеревался провозгласить себя императором Иваном VII».

Со скоростью света шифровка достигла Москвы и вызвала там новый переполох.

Сбиваясь с ног, забегали по коридорам полковники и генералы. Товарища Лаврентия на службе не оказалось, нашли его совсем в другом районе Москвы в постели какой-то артистки.

Прокурор еще не закончил своей речи, как из Москвы получилась ответная шифровка: «Прокурору Евпраксеину выражаю личную благодарность. Лаврентий Берия».

— Подсудимый и его зарубежные хозяева в своих грязных расчетах не учли того, что народ наш предан своему строю, своей партии и лично товарищу Сталину. Нам не нужны ни цари, ни императоры, ни бесноватые фюреры. Действия подсудимого не нашли поддержки в широких народных массах. Наши доблестные чекисты, верные заветам Дзержинского, вовремя пресекли зловерную деятельность «божьего помазанника», а жалкая кучка его приспешников не решилась открыто встать на его сторону. Будучи полностью изобличен, он оказал яростное сопротивление сначала посланному для его ареста спецотряду, а затем и регулярным подразделениям Красной Армии. Сопrotивляясь с яростью обреченного, он лелеял безумную в его положении надежду — во что бы то ни стало отстоять захваченный им плацдарм, любой ценой продержаться до прихода гитлеровских войск.

— Не вышло, господа! — закричал прокурор, обращаясь к судьям. — И никогда не выйдет.

...Чонкин шел по дну оврага вдоль ручья, журчавшего меж камней. Сквозь журчание слышались ему какие-то слова:

— ...совокупности совершенного, учитывая принцип сложения и повышения при особо отягчающих

условиях военного времени...

Он наклонился к ручью напиться и увидел в нем чье-то лицо. Он думал, что это его отражение, но, взглядевшись, увидел вместо себя прокурора.

— ...к высшей мере пролетарского гуманизма — расстрелу всего имущества нет места на нашей земле...

За кулисами к Павлу Трофимовичу подошел майор Фигурин, пожал руку молча.

Подошел полковник Лужин, улыбнулся:

— Слушал вас с чудовищным интересом.

Приблизился приезжий генерал, руки не подал, не улыбнулся, но проскрипел:

— По поручению товарища Берия передаю вам личную его благодарность.

Подходили еще какие-то люди, жали руки, говорили слова. Один только судья полковник Добренький, на время покинув судейское кресло, хотел выразить прокурору недовольство его отсебятиной, но, услышав, что отсебятина понравилась самому Лаврентию Павловичу, тут же переменял мнение и тоже поздравил самым энергичным образом. Прокурор принимал поздравления, но был хмур и отвечал односложно, прикуривая от одной папиросы другую, и вполуха слушал выступавшего вслед за ним защитника.

— Товарищи судьи! — взволнованно начал тот. — Долг адвоката состоит в том, чтобы защищать своего клиента. По роду своей профессии мне приходилось защищать воров, грабителей, насильников и убийц. И каким бы тяжким ни было преступление моего подзащитного, всякий раз я находил в его действиях те или иные смягчающие вину обстоятельства. Но, товарищи судьи, советский адвокат прежде всего советский человек. И как советского человека, как коммуниста меня глубоко возмущают действия моего нынешнего подзащитного. Да, я защитник, — повысил он голос, — но когда я вижу такого ужасного преступника, я невольно хочу защищать не его, а от него наш народ, нашу страну, нашу власть. И именно с целью защиты всех наших завоеваний я считаю, что нет такой казни, которая могла бы хоть в какой-то степени соответствовать чудовищным злодеяниям подсудимого.

*

Адвокат сел. Задвигали стульями заседатели, заерзали на своих местах зрители, прокурор отхлебнул воды, полковник Добренький, отворотясь, трубно высморкался и, складывая платок вчетверо, объявил:

— Суд приступает к слушанию последнего слова подсудимого. Подсудимый, встаньте. Что вы хотите сказать суду?

Чонкин молчал. Что мог он сказать в свою защиту? Что он молод, что он жизни не видел, что не наслаждался еще ни едой, ни водой, ни свободой, ни трепетным женским телом. У него не было того понимания, что он есть неповторимое чудо природы, что с его смертью умрет и весь мир, который в нем помещался. Обладая конкретным и не тщеславным воображением, он определенно знал, что с его исчезновением вокруг ничего не изменится. Так же будет всходить и заходить солнце, день будет сменяться ночью, а зима летом, будут идти дожди, будет расти трава, будут мычать коровы, блеять козы, и какие-то люди будут управлять лошадьми, спать со своими бабами, охранять объекты и вообще делать все то, к чему их приставят. Ему было бы легче, если бы хоть раз за все это время он встретил Нюру, и она бы ему сказала, и он бы узнал, что семья его, прилепившись где-то внутри ее организма, пустило ростки, и что-то

вроде головастика вступило в период своего потайного развития, чтобы в конце концов превратиться пусть в кривогоного, пусть в лопоухое, но похожее на Чонкина человеческое существо.

— Подсудимый, — напомнил о себе председатель, — вы что-нибудь скажете или нет?

— Прошу простить, — сказал Чонкин, еле двигая языком.

— Ишь чего захотел — простить, — выкрикнул некий лжечеловечек из зала.

Но другой, почти такой же и все-таки чуть лучше, дал тому локтем под дых и громко сказал:

— Заглохни, псина!

Эти два неожиданных выкрика как бы нарушили торжественность момента. Все повернули головы туда, откуда эти выкрики слышались. Тот, кто крикнул вторым, сидел бледный, сожалея о том, что невольно проявил в себе человека.

— Суд удаляется на совещание для вынесения приговора, — объявил Добренький, поднимаясь.

*

Донесение Курта было получено адмиралом Канарисом во вторник. Вечером того же дня на очередном совещании у фюрера, посвященном обсуждению деталей операции «Тайфун» (операция по захвату Москвы), Канарис в числе прочих данных своей разведки доложил о донесениях из Долгова. Гитлера донесение неожиданно заинтересовало.

— Кто он, этот русский? — переспросил Гитлер.

— Князя Голицыны — одна из стариннейших дворянских ветвей, — объяснил Канарис.

— Это я понял, — перебил Гитлер. — Я вас спрашиваю, это ваш человек?

Канарису показалось, что Гитлер чем-то недоволен, и он быстро ответил, что в его агентуре таких не значится.

— Жаль, — сказал Гитлер. Он вскочил и забежал по кабинету. — И все-таки, господа, это прекрасный симптом. До сих пор, кажется, ничего подобного не было.

Да, не было. Хотя он и рассчитывал на мощь своих вооруженных сил, но он не думал, что сопротивление русского народа будет столь упорным. Он был уверен, что русские только о том и мечтают, что сбросить с себя ярмо коммунистического рабства. Он думал, что они будут выходить навстречу его войскам с хлебом-солью. Как всякий диктатор, Гитлер был не только жесток, он был sentimentalен. Планируя уничтожение народов, он в глубине души хотел, чтобы эти же народы, евреи, цыгане, поляки, русские любили его как своего освободителя.

Его поражало, почему русские не восстанут против большевиков, почему не идут навстречу его войскам.

— Господа! — Остановившись посреди комнаты, он высоко поднял руку, давая понять, что принимает историческое решение. — Я думаю, мы должны помочь этому русскому. Мы не имеем права оставлять его одного в беде. И мы ему, — он вытянул горизонтально указательный палец, — поможем.

— Но, мой фюрер, я повторяю, — сказал Канарис, — я не знаю, кто он. В моей агентуре такого человека нет.

— Мой фюрер, — вмешался молчавший до этого Гиммлер, — в России, помимо агентуры адмирала Канариса, существуют и другие службы.

— Ты хочешь сказать, что этот... как его... Голицын твой человек?

— Я должен это проверить, мой фюрер. — Гиммлер многозначительно улыбнулся.

Гиммлер, конечно, не думал, что мифический князь

состоит у него на службе, но, видя, что фюрер затевает какое-то новое дело, решил тут же к нему примазаться. Это понял и Канарис; понял и Гитлер, но, увлеченный новой идеей, он рад был косвенной поддержке Гиммлера.

— Это замечательно! — говорил Гитлер, ходя по комнате и размахивая руками. — Это изумительно. Это превосходно! Гудериан! — закричал он. — Где сейчас находятся наши танки?

Генерал-полковник Гудериан встал, одернул мундир, посмотрел на часы, как бы выжидая наступления именно того самого момента, о котором начал говорить:

— В данный момент, мой фюрер, мои танки в районе Каширы, прорвав оборонительный заслон русских, вышли на прямую дорогу к Москве.

— Вы их повернете к Долгову!

— Как? — вырвалось у Гудериана.

Вскинул голову Браухич, задержал шеей генерал-полковник Гальдер. Один только Кейтель сидел по-прежнему невозмутимо. Даже Гиммлер посмотрел на фюрера с опаской, но тут же опустил глаза.

— Но, мой фюрер... — У Гудериана в глазах стояли слезы. — До Москвы осталось всего восемьдесят километров. Мои танки ворвутся в нее с ходу.

— Ваши танки ворвутся в нее с ходу, но сначала пусть они возьмут Долгов, пусть освободят этого несчастного князя. Право, оставить его в беде было бы неблагородно. Я бы себе этого никогда не простил.

Тут поднялся ужасный переполох. Все генералы вскопили на ноги, и все, перебивая и отталкивая друг друга, кричали:

— Мой фюрер! Мой фюрер! Мой фюрер!

— Молчать! — Фюрер хлопнул ладонью по столу и затряс ею от боли. — Всем замолчать! Говорите по одному. Что? Чем вы недовольны?

— Мой фюрер, — выступил вперед фельдмаршал фон Бок, — в данных условиях, когда наши войска находятся на подступах к Москве...

— Я вас понял, фон Бок, и объясняю: взять Москву мы успеем всегда.

— Но я полагаю, — приблизился фон Браухич.

— Все! — раздраженно сказал Гитлер и снова хлопнул рукой по столу. — Полагать вы могли до того, как я принял решение. Теперь вы обязаны только лишь исполнять. Что стоите? Вы свободны.

Генералы и маршалы, как школьники на перемену, толпясь и чуть ли не сбивая друг друга с ног, ринулись в открытые двери.

В кабинете остались только Гитлер и Гиммлер. Гитлер продолжал бегать по комнате, размахивать руками и выкрикивать:

— Ничтожества! Мелкие твари! Козьявки! «Я полагаю...» Кто вы такие, чтоб полагать! Навешали на себя ордена и погоны и думаете, что вы действительно стратеги и полководцы. Да я с вас в один миг все это посдираю, и вы будете у меня голенькие! Ничтожные глупые старики с обвисшими животами!

Гиммлер сидел в мягком кресле и с легкой улыбкой наблюдал за истерикой своего вождя.

— Но, мой фюрер, — сказал он с легкой улыбкой. — Не стоит на них так сердиться. Дюжина средних умов никогда не сможет постичь одной мысли гения.

— Льстишь? — повернувшись к нему, быстро спросил Гитлер.

— Лышу, мой фюрер, — сказал Гиммлер, и оба весело рассмеялись.

Говорят, в Москве какого-то октября была всеобщая паника. Никто не знал, что происходит на фронте, никто не работал, никто никому не подчинялся. На вокзалах творилось что-то невероятное. Люди

осаждали стоявшие на путях теплушки и вагоны электричек, во всех направлениях, лишь бы из города, ехали на машинах, мотоциклах, лошадях, велосипедах, шли пешком, толкая перед собой тачки с пожитками. Метро не работало. Магазины, банки, сберкассы были открыты: заходи, бери, если чего найдешь. Возле помоек лежали груды сочинений Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина и других подобных авторов. Брошенные хозяевами голодные собаки, бродя меж фолиантами, внюхивались в них и воротили морды, тоскливо повизгивая.

На улице не видно было ни военных патрулей, ни милиции, райкомы и райисполкомы не действовали, власти не было.

Говорят, что в тот день немцы могли взять русскую столицу голыми руками.

Почему же они этого не сделали?

В обширной литературе существует на этот счет немало противоречивых, а порой и весьма оригинальных суждений. Одни говорят насчет погодных условий, другие противопоставляют морально-политический фактор и массовый героизм, что, конечно, было. Нередко приходится слышать и о личных заслугах одного из второстепенных персонажей данного сочинения, я имею в виду того, который сидел в метро. Мы, мол, победили потому, что он был с нами.

Признаться, с горькой усмешкой следил автор долгие годы за перепалкой историков. Сколько всего наговорено, сколько лесов порублено на бумагу, сколько щепок зазря пролетело, а ведь истина вот она, под рукой.

Нет, полностью отрицать заслуги того, который сидел в метро, я не буду. Он тоже свое дело делал: и трубку курил, и жирным пальцем глобус мусолил, указывая, куда какую кинуть дивизию и как наилучшим образом уничтожить живую силу и с той стороны, и с этой. Но с нами он не был. Он в метро сидел, оставив нас на поверхности.

Однако если говорить не о каких-то заслугах, а о выдающихся и решающих, то теперь мы знаем, что они принадлежат главному герою нашего скромного повествования, который в роковой час отвлек на себя танки Гудериана и таким образом спас столицу. И что с того, что ростом он невелик, лопоух и кривоног немног? Ведь если разобратся по совести и без горячки, так и тот, который сидел в метро, был тоже ничем не лучше. Ростом полтора метра с фуражкой, морду имел побитую оспой, руку сухую, лобик шириной в два пальца, а зубы кривые и желтые. А вот же, несмотря на эти вопиющие недостатки, вошел в историю и выведен в бесчисленных сочинениях, авторы которых изображают его либо не иначе как горным орлом, либо не иначе как совершенной свиньей. (Стремясь к наибольшей объективности, я лично думаю, что он был не орел и не свинья, а что-то среднее.)

Завершая настоящий пассаж, мы выражаем надежду, что теперь, когда в запутанный историками вопрос внесена полная ясность, многолетняя полемика представителей различных школ и направлений, потеряв всякий видимый смысл, прекратится сама собою.

Выполнив возложенную на него свыше миссию, автор скромно отходит в сторону.

*

Генерал Дрынов получил повышение неожиданно. Когда ударная армия с входившей в нее дивизией Дрынова, потеряв половину своего состава, вышла из окружения, ее командующий был арестован за то, что не удержал Каширу. На его место назначен был Дрынов. Остатками потрепанной армии он должен

был удерживать подступы к Москве. Положение было незавидным. Равнинная местность, лишенная всякой растительности, не считая травы. По приказу нового командующего бойцы окопались и ждали появления немцев. Утром появились немецкие танки. В армии Дрынова было четыре противотанковых ружья, из них одно неисправное, другое без боеприпасов и одна пушка сорокапятка (та самая) без снарядов. Сопротивление было бесполезно. Но Дрынов получил приказ «ни шагу назад» и намерен был его выполнить. Танки шли развернутым строем. Одно противотанковое ружье таякнуло и замолкло, в него угодила немецкий снаряд. Из другого удалось подбить один танк, и он загорелся, но тут и для этого последнего ружья кончились боеприпасы. И тогда Дрынов решился на отчаянный шаг. Он поднялся во весь рост и с криком:

— За родину! За Сталина! Ура! — размахивая пистолетом, побежал навстречу танкам.

Увлеченные его порывом, поднялись и бойцы. Расстояние между ними и танками стремительно сокращалось.

И вдруг — чего только в жизни не бывает — танки остановились. Эти громадные и некрасивые железные чудовища стояли и словно в нерешительности поводили дулами своих пушек туда-сюда.

Бойцы тоже остановились. От растерянности никому не пришлось даже в голову залечь.

И вдруг, видимо, получив команду по радио, все танки одновременно повернули на сто восемьдесят градусов и кинулись наутек.

Все опешили.

— Батюшки, что ж это такое? — удивился неподалеку от Дрынова пожилой красноармеец и перекрестился, не веря своим глазам.

— Ага, гады, струсили! — закричал Дрынов и побежал с пистолетом вдогонку.

Кажется, он даже выстрелил раз или два, но, так или иначе, танки ушли.

Корреспондент «Правды» Александр Кривоватый, узнав об этом от очевидцев (сам он видеть этого не мог, ибо старался описывать подвиги, глядя на них издали), по телефону передал срочное сообщение в газету.

Утром, просматривая газеты, на эту заметку наткнулся Сталин.

— Что за несусветная чушь! — сказал он и приказал Маленкову позвонить в редакцию и от его имени передать корреспонденту Кривоватому, чтобы врал, да знал меру. Маленков вернулся удивленный и сказал: Кривоватый клянется, что на этот раз ничего не приукрасил, все так и было. Маленков звонил в штаб фронта, но и там ему подтвердили, что все так и было: остановленная армией Дрынова, танковая группа Гудериана отступила, и контакт с ней утерян.

И вот тогда Сталин приказал: генерал-майора Дрынова произвести в генерал-лейтенанты, представить к званию Героя Советского Союза и доставить на «подземную дачу» для личной беседы.

И то, и другое, и третье, разумеется, было выполнено немедленно.

*

На «дачу» Дрынов прибыл не один, а в составе группы генералов, каждый из которых чем-нибудь отличился.

Полководцев привезли в закрытом вагоне, под конвоем ввели в небольшую комнату, попросили снять шинели и построиться по ранжиру. Как только они это сделали, свет погас и тут же зажегся. И ослепленные генералы увидели перед собой невзрачного чело-

вечка в засаленном мундире без знаков различия. Человечек сосал погасшую трубку и, шевеля выпуклыми усами, волочил по лицам собравшихся цепкий настороженный взгляд. Генералы сперва удивились: что еще за явление, потом обмерли, и Дрынов, первым оценив обстановку, рывкнул как на параде:

— Великому полководцу, товарищу Сталину, ура!

— Ура! Ура! Ура! — троекратно грянули генералы.

Сталину такой прием, видимо, понравился, тем более что он не был отпетирован, а вождь любил искренние проявления любви. Он улыбнулся отдельно Дрынову и затем всем остальным и, сдав трубку в желтых зубах, шутиливо заткнул пальцами уши, показывая, что так можно оглохнуть, а затем стал хлопать в ладоши. Генералы, естественно, тоже. Дрынов в восторге от того, что Сталин улыбнулся ему отдельно, аплодировал с остервенением, как мальчик на стадионе. Сталин заметил это и опять улыбнулся ему отдельно. Хлопали долго. Затем хозяин дачи прекратил это дело, дав понять, что прозвучавшие аплодисменты он считает достаточным выражением любви к нему лично и в его лице к партии, правительству, народу, к родине, к необъятным ее просторам и к отдельным березкам. Прекратив аплодисменты, товарищ Сталин пошел перед строем и стал совать каждому свою сморщенную ладошку для пожатия.

— Так вот вы какой! — сказал он, дойдя до Дрынова.

Дрынов с перепугу несколько перестарался. Великий вождь поморщился от боли и вскинул на Дрынова подозрительный взгляд. Но моментально понял, что генерал сделал это не из террористических побуждений, а от полноты чувств, усмехнулся в усы и сказал с заметным акцентом:

— Значит, есть еще в наших мускулах сила, товарищ Дрынов?

— Так точно, товарищ Сталин! — отрубил Дрынов.

— Так точно? — быстро переспросил Сталин с некоторым удивлением. — Вы что же, товарищ Дрынов, поклонник уставных выражений, принятых в царской армии?

— Никак нет! — гаркнул Дрынов и, осекшись, покраснел, а затем побледнел, чувствуя конец своей военной карьеры.

Сталин молчал. Он молчал и с любопытством смотрел на Дрынова, наблюдал, как меняется тот в лице.

— Почему же никак нет, — сказал вдруг Сталин и опять улыбнулся. — Нам не следует отказываться от того хорошего, что было в царской армии. Пожалуй, нам следовало бы вернуть некоторые хорошие традиции, принятые в старой армии. Вы со мной согласны?

— Так точно! — отпортовал Дрынов уже без всякой опаски.

Своим поведением и внешним видом Дрынов так понравился Сталину, что тот попросил его задержаться после общего приема и провел с ним отдельную беседу. Поговорили об общем положении на фронтах и о положении на том участке, который контролировался дрыновской армией. Дрынов на все вопросы отвечал по-военному четко и кратко. Сталин поинтересовался его биографией, и Дрынов сказал, что он из простой крестьянской семьи.

Сталину это еще больше понравилось.

— Значит, вы потомственный крестьянин? — спросил Сталин.

— Так точно, потомственный, — отвечал Дрынов.

Из дальнейших расспросов выяснилось, что дед Дрынова был из крепостных князя Голицына.

— Вот оно что! — удивился Сталин. — Между прочим, мы недавно одного из бывших ваших господ разоблачили. — Он вспомнил о деле князя Голицына,

и ему стало неприятно.— А скажите, товарищ Дрынов, вы хотели бы снова стать крепостным князя Голицына?

— Что вы, товарищ Сталин! — отказался генерал и тут же смутился, подумав, что, может быть, и в этом смысле великий учитель хочет вернуться к прежним традициям (в таком случае Дрынов, конечно, хотел бы стать крепостным князя Голицына). Но у Сталина была другая мысль, и он опять был доволен ответом Дрынова.

— Правильно, товарищ Дрынов, — сказал Сталин. — А вот некоторые князья думают, что русский народ только о том и мечтает, чтобы снова попасть к ним в рабство. Я полагаю, что с политической точки зрения нам надо поднимать простого человека, преданного нашему строю и нашей партии, потому что только мы открыли ему настоящий путь вперед. И среди простых людей, я думаю, есть немало истинных героев, которые жизни своей не пожалеют для укрепления нашего народного строя. Не так ли, товарищ Дрынов?

Дрынов охотно согласился. Тогда Сталин попросил его назвать какого-нибудь простого бойца, желательно из крестьян, который проявил бы пример беззаветного служения родине и истинного героизма.

— Знаю я одного такого, товарищ Сталин, — сказал Дрынов.

Надо сказать, что Чонкин своей храбростью очень понравился Дрынову. Дрынову было как-то неловко, что он не проявил должной твердости и отдал бойца Тем Кому Надо. Он захотел рассказать о Чонкине Сталину, но сомневался.

— Так кого же вы знаете? — спросил Сталин. — Я вижу, вас что-то смущает?

— Так точно, смущает, товарищ Сталин.

— Что же именно вас смущает?

А, была не была, Дрынов решился.

— Тут вот какое дело, товарищ Сталин, боец есть один, Чонкин Иван...

— Чонкин Иван? — переспросил Сталин. — Очень хорошо. Простое русское имя. Так что же сделал этот Чонкин Иван?

И Дрынов рассказал все как было. Чонкин Иван стоял на посту, часть, в которой он служил, была отправлена на фронт, о нем в суматохе забыли. Ему многие говорили, что он может покинуть пост, но он не мог и не хотел нарушать устав. И стоял бессменно много дней подряд. Кончился запас продовольствия, он стоял. Кончилась махорка, он стоял. Прохудились ботинки, он стоял. Однажды на его пост напал вооруженный отряд, состоявший из семи человек, и Чонкин всех их взял в плен.

— Один взял в плен семерых вооруженных? — поразился Сталин.

— Подождите, товарищ Сталин, — довольно дерзко сказал Дрынов. — Послушайте, что было дальше. На помощь этому отряду был брошен полк. Чонкину было предложено сдаться, но он отказался, принял бой и сражался до последнего патрона.

— До последнего патрона, — задумчиво повторил Сталин и смахнул ладонью набежавшую слезу. — Он, конечно, погиб?

— Нет, товарищ Сталин, он был только контужен.

— И взят в плен? — Сталин нахмурился.

— Никак нет, товарищ Сталин. Дело в том, что этот полк был не немецкий.

— А чей же? — удивился Сталин.

— Мой, — сказал Дрынов, решившись на все.

— Как — ваш?

Дрынов рассказал подробности. Сталину эта история ужасно понравилась, он смеялся и хлопал себя по ляжкам. Особенно смешно ему показалось, что разведчики захватили языка, который впоследствии

оказался нашим капитаном (о том, что капитан был расстрелян и почему он был расстрелян, Дрынов из своего рассказа выпустил). Насмеявшись до слез, Сталин пришел в такое хорошее расположение духа, что даже предложил Дрынову поужинать с ним вдвоем.

— Чонкин, — повторял он на все лады полюбившуюся фамилию. — Солдат Чонкин. Между прочим, звучит гораздо лучше, чем боец или красноармеец. Товарищ Дрынов, а как вам кажется, от чего произошла эта фамилия? Может быть, от слова ЧОН?

— Не могу знать! — отвечал Дрынов, не зная, в какой руке держать нож, в какой вилку, и боясь ошибиться.

— Да вы ешьте, как вам удобней, — сказал Сталин и налил гостю стакан водки из запотевшего графина. — Нет, я не думаю, что это от слова «ЧОН», я думаю, что фамилия более древнего происхождения. Давайте, товарищ Дрынов, выпьем за простого русского солдата Чонкина.

*

Подняв под себя шинель, Чонкин в ожидании исполнения приговора скрючился на нарах и предавался своим невеселым думам. Могло ли ему прийти в голову, что в эту минуту сам Сталин стоя пьет за его здоровье?

Отпустив Дрынова, Сталин занялся текущими своими делами: поочередно принял четырех наркомов, двух директоров заводов, говорил по телефону с командующими фронтами, обсуждал конструкцию нового самолета, давал указания по эвакуации крупного машиностроительного завода, вникал в детали плана создания партизанских соединений, подписал списки наград и расстрелов, продиктовал телеграмму Черчиллю и только в пятом часу, выпив стакан кефира, лег спать. И, отходя ко сну, вспомнил он рассказ генерала Дрынова и снова стал думать о Чонкине, растроганно, с теплотой и любовью.

— Чонкин! Чонкин! — засыпая, бормотал он и вкусно чмокал губами.

Потом ему Чонкин виделся во сне. Он снился ему огромного роста богатырем с длинными русыми волосами и ясным взором голубых глаз. Размахивая палицей, Чонкин громил всех его врагов, и сам Гитлер трусливо бежал на четвереньках, похожий на мелкую злобную собачонку с карикатуры Кукрыниксов.

В тот же вечер, когда Сталин принимал Дрынова, Гитлер получил телефонограмму, что танковая группа Гудериана, форсировав речку Тему, приступила к операции «Брудершафт».

В хорошем расположении духа Гитлер лег спать. Ему снился князь Голицын, огромного роста богатырь с длинными русыми волосами и ясным взором голубых глаз. Он ехал на белом коне под белым знаменем, надетым на пику с длинным древком. За князем двигалось несметное воинство длиннорылых крестьян в лаптях и в армяках, подпоясанных веревками. Крестьяне поднятием правых рук выражали свое ликование и выкрикивали:

— Хайль Гитлер!

*

Вечером после суда в райкомовской столовой отмечали окончание дела. Присутствовали местные руководители с женами и члены выездной сессии. Были приглашены и приезжий генерал, и Лужин, и Фигурин. Но они не явились, не удостоили.

Председательствовал, как и на суде, полковник Добренский, но героем вечера был, конечно, Павел Трофимович Евпраксеин. Все знали, от кого получена им личная благодарность, все его поздравляли, интере-

совались его здоровьем, справлялись о жене, о детях, а жена Борисова, Манька, сидела рядом и строила глазки, и терлась своим коленом о его колено, и за всякими закусками лезла непременно в дальний конец стола и при этом ложилась на Евпраксеина всей своей грудью, которая могла не взволновать разве что только чурбана.

Но Евпраксеина она не взволновала, хотя он чурбаном не был, а впрочем, кто его знает, эта сторона жизни его осталась совсем в тени. Во всяком случае, Манькины призывы остались в этот раз совершенно безответными, и Манька, а также и другие участники этого вечера решили, что прокурор просто ошалел от свалившегося на него счастья, а может, и того хуже — зазнался.

А дело было не в том, конечно, что он зазнался, он не зазнавался, он мрачен был с самого начала, он механически поднимался, когда пили за Сталина, за победу, за что-то еще, пил много, закусывал мало и не видел никого, кроме маленького красноухого человека, который стоял перед его, как говорится, мысленным взором и с трудом шевелил одеревеневшими губами: «Прошу простить!»

Патефон играл «На сопках Маньчжурии», полковник Добренский спивал «Ой ты, Галю, Галю молоденька», потом пели и «Хаз Булат удалой», и «Коробочку», и что-то еще, и Манька Борисова больше всех надрывалась и визжала до слез, а потом, кажется, еще и танцевали под тот же патефон, а прокурор сидел на одном месте, пил, смотрел в одну точку и не видел перед собой никого, кроме Чонкина, шевелившего губами: «Прошу простить!»

Видя, что прокурор настолько ошалел и зазнался от высочайшей благодарности, что никого знать не хочет, все в конце концов махнули на него рукой, выпустили его из виду и потом никто не мог вспомнить в точности, когда и как он ушел.

Как показывала потом жена его Азалия Митрофановна, домой прокурор явился среди ночи, ничего особенного в его виде не было. Пальто на нем было, конечно, расстегнуто и часть пуговиц где-то он потерял, и хлястик был оборван, и правый бок весь был в мелу, и правая же щека была расцарапана, но подобное с ним случалось и раньше. Но вот что правда, то правда, вел он себя несколько необычно. Не шумел, не буянил, а, напротив, старался вести себя совсем тихо, снял в передней сапоги и портянки, прошел босой к своему столу и сел что-то писать. Он всегда в пьяном виде писал какие-то письма и заявления, но обычно с криками, с битьем себя в грудь, с угрозами, что он что-то немедленно сделает, а в этот раз все молча. Один раз он поднял голову, и Аза увидела, что на щеке его дрожала слеза. Она забеспокоилась и хотела спросить, что с ним, но не спросила, боясь разбудить в нем зверя.

Он продолжал что-то писать и, как выяснилось впоследствии, это были варианты одной и той же мысли: «Процесс над Чонкиным прошу считать недействительным» (зачеркнуто). «Мою речь прошу считать недействительной» (зачеркнуто)...

Он писал, зачеркивал, комкал бумагу и швырял ее под стол, а потом устал, уронил голову на руки и в таком положении замер. Аза успокоилась и задремала, и ей казалось, что спала она совсем немного, но, когда проснулась, Павла Трофимовича в доме уже не было.

Если бы Аза сразу обнаружила и отсутствие ружья, она могла бы еще выскочить на улицу и, может быть, даже предотвратить несчастье (хотя, конечно, маловероятно), но ей, как она потом объясняла, и в голову не могло прийти, что он это делает.

В то время, когда она лежала с открытыми глазами и думала, куда бы мог деться муж, он стоял возле уборной с ружьем и ружье это было заряжено жаканом.

Было темно, подмораживало. Задувал ветер, и снежная крупа сыпалась сквозь редкие звезды. Все вокруг побелело.

«Ну, все! — говорил себе прокурор. — Теперь уже все».

Решение его было твердым. Он думал о предстоящем без страха, спокойно, ничто не могло ему помешать, и он не спешил.

Где-то он читал или слышал, что перед смертью человек вспоминает всю свою жизнь от начала до конца и особенно ярко детство. Он попытался тоже вспомнить что-то из детства, но ничего не мог вспомнить кроме того, что был он толстым и неуклюжим мальчиком и что в железнодорожном училище, где начинал он свое образование, его звали Колбаса.

Смутно вспоминались и годы юности, когда он, выросший и похудевший, ходил в кожаной куртке с наганом и ловил каких-то мешочников, и врывался в квартиры каких-то буржуев, и состоял в продотряде, и участвовал в раскулачивании и в чем-то еще подобном, и вспоминались ему какие-то люди, которых он отправлял либо в тюрьму, либо подводил под расстрел, и, как ему казалось теперь, все они были похожи на Чонкина, все шевелили одеревеневшими губами и просили простить.

Но он действовал от имени революции, которая никого не позволяла прощать, не позволяла расслабляться, требуя все новых и новых жертв во имя светлого будущего, которое вот-вот должно было буд-то бы наступить.

Он не прощал и не расслаблялся, и кем-то, но не собой, все жертвовал, и уж, кажется, совсем потерял человеческий облик, а ему говорили: мало, мало. И требовали что-то еще укрепить и что-то усилить, и он со временем стал замечать, что действует не столько из чувства долга и вовсе не из высших соображений, а из страха, что его обвинят в преступной мягкотелости, то есть в том, что был еще недостаточно жестоким, и он старался быть жестоким достаточно, и на всякий случай даже с запасом, но совесть грызла его изнутри. Он пытался залить ее водкой, не получалось. Жизнь, по существу, стала сплошной пыткой, и никакой суд не мог приговорить к худшему наказанию.

Положив подбородок на ствол ружья, прокурор думал, что-то бормотал, что-то выкрикивал, и лицо его было мокрым от слез.

— Ну ладно, — сказал он себе. — Хватит! Человеком быть не сумел, а жить гадом ползучим, червем, тараканом, нет уж, простите.

Чтобы совершить задуманное, прежде всего нужно было снять сапог, что он и попробовал сделать, но в это время в уборной послышался надрывный кашель, скрипнула дверь, какой-то человек, подсвечивая себе спичками, вышел наружу.

— Кто это? — испуганно спросил человек.

Прокурор молчал. Человек приблизился, и Павел Трофимович узнал в нем своего соседа военкома Курдюмова, он был в сапогах и в шинели, накинута поверх исподнего.

— Трофимыч? — удивился Курдюмов. — Ты что это здесь стоишь? Гуляешь?

— Гуляю, — ответил прокурор хмуро.

— С ружьем?

— С ружьем.

— Гм! Да! — Поведение прокурора показалось Курдюмову странным. — Погоды нынче стоят необычно холодные, — пожевав губами, сказал он. — В прошлом году, помнится, я еще на Октябрьскую в гимнастерочке бегал, а теперь и в шинели язычок. А? — Военком зевнул, широко раскрыв рот.

Прокурор ничего не ответил. Он стоял, опершись на ружье, и смотрел мимо Курдюмова. Холодная

слеза сорвалась с подбородка и покатилась куда-то под воротник.

— А все ж таки не понимаю, — сказал Курдюмов, — как это люди не сознают необходимости культурного поведения в местах общего пользования. В убойной большое количество необходимых отверстий, а они валят кучи перед дверями и где ни попадя, так что без спичек очень просто можно вступить в какой-нибудь экскремент. Ты бы, Трофимыч как прокурор вывешив объявление, что кто будет злостно срать мимо дырки, будет привлекаться к уголовной ответственности, а, Трофимыч? Верно ведь говорю, а?

— Иди на... сволочь! — отчетливо повторил Евпраксеин.

— А-а, — сказал Курдюмов и, втянув голову в плечи, немедленно пошел прочь. — Эй, ты! — закричал он откуда-то из мрака. — Ты бы ружье-то бросил. Нечего с ружьями по ночам!

Но прокурор его уже не слышал.

— Пора! — сказал он себе. — Хватит! Хватит! — повторил он, упиравшись левым носком в правый задник. — Насладился жизнью, погулял, спасибо и до свиданья.

С трудом стащил сапог, затем, прыгая ногой, размотал и скинул портянку. Ветер подхватил ее и понес, переворачивая.

— Ну вот, — сказал он облегченно, — а теперь уж дело совсем простое.

Опираясь на ствол ружья, он поднял правую ногу и ввел большой палец в дужку спускового крючка. Осталось только шевельнуть пальцем, да, всего лишь шевельнуть пальцем, и все будет тут же окончательно решено. И что удивительно, он не испытывал никакого страха перед настоящим, он был совершенно спокоен.

— Ну ладно, — сказал он и, закрыв подбородком ствол, попытался сделать движение пальцем, но ничего не произошло, и прокурор не сразу понял, что его собственный палец отказывается ему подчиниться.

— Ерунда какая-то, — пробормотал он и опять попытался шевельнуть пальцем, и опять палец не подчинился. Это было странно и удивительно, он решил двинуть всей ногой, но и нога, согнутая в колене, не шевельнулась.

«Да что же это такое? — подумал он почти в панике. — Неужели я такой трус и тряпка, неужели я не могу сделать то, что хочу? Ведь я готов к этому, я не боюсь этого, я совершенно спокоен».

— А! — вскрикнул он, как будто рубил дрова, и, выставив вперед плечо, сделал новое волевое усилие, чтобы двинуть ногой, но она была неподвижна. Весь его организм бунтовал и отказывался выполнять посланные мозгом приказы.

От внутреннего напряжения ему стало жарко и дыхание участилось. Он решил передохнуть, собраться с новыми силами, усыпить бдительность организма.

— Сейчас, — пообещал он себе, — сейчас все будет в порядке. Надо только взять себя в руки. Я и в самом деле ведь не боюсь, совсем не боюсь, я готов. Ничего страшного в смерти нет. Смерть не несчастье, смерть это просто ничего, пустота.

Он почувствовал, что его знобит, и течение мысли переменилось. «Но как же другие? — подумал он. — Другие же не лучше меня. Они грабят, режут, лгут, предают ближайших друзей, отрекаются от жен, детей и родителей и, ничем не терзаясь, доживают до своего срока и спокойно умирают в своих постелях. А я еще молод и полон сил, я бы мог еще что-то сделать, за что же мне, если я так страдал, смертная казнь? Я жить хочу, жить! Пусть кем угодно — негодяем, бандитом, гадом ползучим, червем, тараканом, но только жить!»

Ему стало страшно, как никогда, он почувствовал,

что весь дрожит, и поднятая нога его дергается произвольно, и палец вот-вот зацепит спусковой крючок.

— Не хочу! — хрипло прокричал он в пространство и шевельнул ногой, чтобы выдернуть палец.

В этот момент он потерял равновесие, наступил всей тяжестью на спусковой крючок и одновременно закрыл ствол ладонями, как бы пытаясь удержать смерть, рвущуюся оттуда.

Огненный шар вспыхнул в его ладонях, пронзил их насквозь и упруго ткнулся в подбородок. Что-то глухо треснуло, засиял и распространился повсюду сиреневый свет.

Павлу Трофимовичу стало так хорошо, как не бывало раньше. Он почувствовал, что становится лучше, которая растекается, растекается, растекается и уходит в песок...

*

Когда народ сбежался к месту происшествия, там все уже было оцеплено милицией и штатскими. Прокурор с обезображенным лицом лежал, опрокинувшись навзничь. Руки и ноги раскинуты, ружье откатилось в сторону. Одна нога в сапоге, другая без. Азалия Митрофановна стояла рядом и, кусая губы, смотрела в сторону. Два милиционера измеряли что-то длинной рулеткой, один при помощи магниевой вспышки фотографировал, главный врач райбольницы Раиса Семеновна Гурвич, положив тетрадь на капот милицейского автомобиля, при свете карманного фонаря писала свое заключение. Майор Фигурин в новенькой, перетянутой ремнями шинели стоял, широко расставив ноги и заложив руки за спину.

К Фигурину пробился толстый лейтенант милиции.

— Вот, — сказал он, подавая бумагу. — Лежало у него на столе.

Фигурин поднес бумагу к глазам и осветил фонариком.

— Пьяный бред, — сказал он, бегло ознакомившись, и положил бумагу в карман.

С тех пор никто этой бумаги не видел, и точное содержание ее осталось бы тайной, но впоследствии со слов Азалии Митрофановны стало известно, что предсмертное заявление состояло из одной фразы: «Мою жизнь прошу считать недействительной».

*

Фигурин проснулся от какого-то шума и увидел, что Маргарита, мятая после сна, со спутанными волосами сидит на кровати и испуганно смотрит в окно.

— Ты что? — спросил он удивленно.

Где-то что-то отдаленно ухнуло, задрезбжали стекла.

— Слышишь? — спросила шепотом Маргарита.

— Слышу, — сказал он потягиваясь. — И что же тебя волнует?

Снова ухнуло, и снова задрезбжали стекла.

— Учебные стрельбы, — объяснил Федот Федотович.

— Ты уверен, что учебные? — спросила она с сомнением.

— Безусловно, учебные, — уверил он. — Немцы от нас еще далеко.

Он встал, сделал короткую зарядку, обтерся холодной водой, позавтракал и отправился на службу.

Пока шел, еще где-то несколько раз ухнуло. Шедшая навстречу старуха перекрестилась. «Темнота», — подумал Фигурин и пошел дальше. Ничего странного он на улице не заметил, но потом вспоминал, что

улицы были, пожалуй, необычно безлюдными. Впрочем, они и обычно также были безлюдными.

Придя на работу, он удивился, не обнаружив в приемной своей секретарши. Ящики двух столов были выдвинуты, шкаф и сейф открыты, на полу валялись бумаги, некоторые с грифом «секретно» и даже «совершенно секретно». Фигурин вбежал в кабинет и ахнул: в кабинете тоже были открыты ящики стола и сейф, и бумаги тоже разбросаны по полу, и даже с первого взгляда было видно, что многого не хватает. Только на самом столе все было, как всегда, аккуратно разложено: баночка с разноцветными карандашами, мраморная чернильница, мраморное пресс-папье, настольный календарь, телефонная книга, папка с надписью «текущие дела» и сверху на папке два листа бумаги с текстом, напечатанным на машинке. Это были секретные телефонограммы, видимо, полученные ночью. Вот текст первой из них:

«В связи с неожиданным прорывом немцев на данном участке фронта и возможным занятием Долгова и окрестностей в соответствии с распоряжением вышестоящих инстанций приговор врагу народа Голицыну привести в исполнение немедленно. С сообщниками поступить сообразно обстоятельствам.

Лужин».

Телефонограмма вторая:

«Верховный главнокомандующий приказал: рядового Чонкина немедленно доставить в Москву для представления к правительственной награде. Исполнение данного приказа возлагаю на вас.

Лужин».

И там и там было указано время приема: 6 ч. 04 м. Фигурин шевелил губами и пытался осмыслить то, что видел. Его смутило не только противоречивое содержание поступивших приказов, а еще и то, что поверх текста второй телеграммы было торопливо начертано лиловой губной помадой и, похоже, Капным почерком, наискосок, как кладут резолюции:

«Хайль Гитлер!»

И подпись: «Курт».

Потрясенный, он поднял голову и обомлел. На стене, на том месте, где еще недавно висел портрет Сталина с девочкой на руках, теперь висел портрет Гитлера, тоже с девочкой и, может быть, даже с девочкой той же самой.

— Что за дурацкие шутки? — сказал Фигурин. — Дурацкие шутки. Дурацкие шутки. Дурацкие шутки! — закричал он, вскочив на ноги и тряся кулаками.

Тут он пришел в нервное возбуждение, сорвал со стены Гитлера и стал топтать его, все время повторяя, как попугай: «Дурацкие шутки! Дурацкие шутки!» Выбежал в приемную и закричал:

— Есть здесь кто-нибудь?

Ему никто не ответил.

— Есть здесь кто-нибудь? — прокричал он и в коридоре, но, не дождавшись ответа, выхватил пистолет и стал палить в потолок.

Открылась дверь комнаты отдыха, из нее вышел удивленный Свинцов.

Фигурин прекратил пальбу и спросил Свинцова, где остальные.

— Все удрамши, — сказал Свинцов, глядя на пистолет, из которого медленно вытекала тонкая струйка дыма.

— Что значит удрамши?

— Ну убегли, значит, — пояснил Свинцов.

— Куда? — Фигурин и сам понял, что вопрос звучит глупо.

Свинцов пожал плечами.

— Ну ладно, — сказал Фигурин, несколько успокоившись. — Иди опять в комнату и жди. Ты мне еще понадобится.

Он вернулся в кабинет и снял трубку телефона.

— Товарищ Фигурин? — отозвалась телефонистка. — Скажите, что происходит?

— А что происходит? — сказал Фигурин. — Ничего, по-моему, не происходит. Дайте мне Борисова.

Борисова не оказалось ни дома, ни на работе. Фигурин позвонил в Дом колхозника полковнику Добренскому. Не было на месте и его.

— Соедините меня с областью, — приказал Фигурин.

Отозвалась областная телефонистка.

— Лужина мне! — резко приказал Фигурин.

— Какого Лужина? — спросила она.

— Того самого.

— Ах, того самого, — засмеялась телефонистка. — Соединяю.

«Почему она смеется? — подумал Фигурин. — Наверно, там еще ничего не знают».

К телефону долго никто не подходил, и Фигурин нетерпеливо постукивал по рычагу. Он уже начал терять терпение, когда какой-то голос сказал что-то странное.

— Что? Что? — переспросил Фигурин.

— Stellvertreter des Militär-Kommandeurs, Oberleutnant Meier am apparat¹, — повторил голос.

Фигурин положил трубку и задумался. Потом опять схватил трубку и нервно бил по рычагу, но больше никто не отзывался.

Через некоторое время он вошел в комнату отдыха и застал там Свинцова, который преспокойно спал на голом деревянном топчане, положив под голову кулак.

«Железные нервы», — с завистью подумал Фигурин.

Растолкав Свинцова, он приказал ему собираться.

— Куда? — спросил Свинцов.

— Пойдешь в тюрьму.

— В тюрьму? Я? — переспросил Свинцов.

— Дослушай до конца, — усмехнулся Фигурин. — Пойдешь в тюрьму, возьмешь, если он там еще... этого... ну как его... Голицына или Чонкина, или хрен его знает, кто он, и вместе с ним отправляйся из города.

— Куда?

— Куда-нибудь на восток. Пешком или на чем-нибудь, дело твое. И там где-нибудь по дороге ты его... ну в общем, сам понимаешь... при попытке к бегству... понял?

— Так тут чего ж не понять, — отозвался Свинцов. — Дело простое.

— Ну ладно, — сказал Фигурин. — Дойдешь до наших, скажи: «Майор Фигурин, верный своему долгу... так и скажи: верный своему долгу, остался уничтожать секретные документы, чтобы они не попали в руки врагу». Потом постараюсь выбраться. Если сам попадусь, живым не дамся. Понял?

— Понял, — кивнул Свинцов.

— Ну что ж, Свинцов, давай простимся. — Фигурин шагнул к Свинцову, обнял его и трижды облобызал. Свинцов в это время стоял, вытянув руки по швам, воротил морду и морщился.

*

Чонкин проснулся от канонады.

В первую минуту он не мог сообразить, где он и что с ним, потом понял, что он в камере, что он жив, огорчился и заплакал.

В отдохнувшем его теле пробудились желания: хотелось еще поспать, помочиться, поесть, почесать под лопаткой и, что самое неприятное было в его положении, хотелось жить.

¹ Помощник коменданта оберлейтенант Майер у аппарата.

Где-то за стенами снова ударил гром, его потрянуло, он повернул голову — за обрезом верхних нар свет лампочки качался сквозь слезы.

Громыхнуло еще и еще, за дверью кто-то пробежал, стуча сапогами, и громко ругнулся матом.

Потом стало бить подряд, словно кто-то тяжелым молотом крушил стену снаружи. Чонкин понял, что это стреляют из пушек и стреляют где-то неподалеку. Он не думал о том, кто стреляет, в кого и зачем, но ему почему-то казалось, что эта канонада обещает ему спасение.

Вдруг он забеспокоился, что снаряд попадет сюда и его здесь завалит живого, но удары неожиданно прекратились, и в камере стало тихо.

Вытерев слезы, он спустился с нар, подошел к дверям и прислушался. За дверью было тихо: ни голов, ни шагов, ни бряканья ключей.

Помочившись в парашу, он хотел снова залечь на нары, но передумал и стал слоняться по камере. Впервые он мог подробно ее рассмотреть, раньше ему было не до этого. Теперь он увидел, что все стены камеры испещрены какими-то надписями, клятвами, угрозами, изречениями, стихами, признаниями в любви и сожалениями о бесцельно прожитых годах. Справа от двери чем-то острым, должно быть, гвоздем было выпарапано лаконичное сообщение: «Здесь сидел инспектор Маслов».

Потом еще всякая ерунда: какие-то цифры в столбик, рисунок с очень простым и доступным смыслом, матерные слова без всякого смысла, рецепт приготовления какого-то блюда с перечислением всех компонентов от баранины до соли и пряностей, фраза «Жил грешно, умер смешно», за ней еще что-то матерное, а за матерным с переходом на другую стену уверенным почерком того же инспектора Маслова: «А все-таки она вертится!» (что вертится, для чего и в какую сторону, сказано не было).

Переходя от стены к стене, Чонкин читал все, что на этих стенах было написано, и сам захотел здесь оставить какое-нибудь название потомству или что-нибудь в этом духе. Он отколупнул от нар щепку и подошел к стене. Но стена была уже исписана слишком густо, он мог вставить какие-то слова разве что между строк. Замечательная идея пришла ему в голову. Он подтащил к стене парашу, стал на ее края, теперь он мог писать выше всех. Раз уж смог он подняться выше всех, ему следовало написать что-нибудь необыкновенное, что-нибудь такое... Но ничего такого в голову не приходило, и он, рискуя свалиться вместе с парашей и изрядно потрудившись, написал одно слово «Чонкин». Только свою фамилию, ничего больше, но зато выше всех. Удовлетворенный, он спрыгнул с параша, отошел к нарам, глянул и обомлел. Его фамилия была высоко, выше самых верхних, может быть, на вершок. Но еще выше на самом потолке, таким полукругом написано было другое имя. Некий то ли Кузяков, то ли Пузяков, не желая пропасть бесследно, неразборчиво намазал свою фамилию дерьмом, впоследствии окаменевшим. Удивительно было, конечно, не то, что дерьмом (тюремный народ писал кто чем сумеет), удивительно было, что на потолке, как он туда забрался, ведь не муха же, а человек. Чонкин и так ломал голову и эдак примеривался, никак к этому Ку- или Пузякову даже мысленно подобраться не мог. Вроде и с нар не дотянешься, и сбоку, хоть даже две параша друг на друга поставь, никак не достанешь. Видать, очень ему хотелось, этому Ку- или Пузякову оставить в памяти хотя бы ближайших поколений зекон недолгую весть о том, что жил на свете человек с такой, в общем, невзрачной фамилией.

Заскрежетал в замке ключ, Чонкин очнулся от своих праздных мыслей. Дверь отворилась, в проеме

появился Свинцов, сильно вооруженный. На боку в парусиновой кобуре висел у него наган, в руках он держал винтовку.

— Выходи! — сказал Свинцов Чонкину и мотнул головой.

«На расстрел!» — обреченно подумал Чонкин, но на всякий случай спросил:

— А шинельку взять можно?

Он так думал, что если на расстрел, то шинель навряд ли дадут, зачем же хорошую вещь зря дырывать?

— Возьми, — сказал Свинцов.

Кроме шинели он взял и пустой вещмешок, если не на расстрел, тоже авось пригодится.

Во дворе тюрьмы стояла телега, напряженная гнедой низкорослой лошадкой. В телеге было набросано сено. Свинцов взьерошил сено, кинул в него винтовку и кивнул Чонкину:

— Залази!

Чонкин послушно залез, примостился сзади, поджав ноги по-азиатски.

Свинцов сел на облучок, поерзал, устраиваясь поудобнее, разобрал вожжи и концом их слегка хлестнул лошадь. Лошадь вздрогнула и лениво пошла. Телега закрипела, застучала колесами по булыжнику и выкатилась на улицу через никак не охраняемые ворота.

Вскоре выехали из города.

За третьей деревней пошла желтая унылая степь, отороченная вдалеке стеною поблекшего леса.

— Эй, парень! — обернулся Свинцов. — Ты там еще не озяб?

— Не, — сказал Чонкин, — ничего.

Он сидел, нахохлившись, спрятав руки в рукава.

— А ты побегай, погрейся, — предложил Свинцов. — Неохота.

— А чего ж неохота? Вишь ты как озяб, нос даже совсем посинел. Пробежись, говорю. А то, покуда до места доедем, околеешь совсем.

Чонкин хотел спросить, до какого места они должны доехать, но промолчал, а Свинцов, пытаясь увлечь его личным примером, соскочил на землю и побежал рядом с телегой, похлопывая себя по бокам.

— Ох, как хорошо-то! Как здорово! — восклицал он. — Прямо вот чувствуешь, как кровь по жилам бежит. Ух, хорошо!

Но Чонкин и на это ничего не ответил, даже и не посмотрел на Свинцова, и тот, сознавая напрасность своих усилий, опять вскочил на ходу в телегу и сердито сопел, отдуваясь.

Они уже приближались к лесу, когда до слуха Чонкина донесся знакомый звук. Он сначала не обратил на этот звук никакого внимания, но потом встрепетнулся и стал, глядя наверх, крутить головой. Далеко на горизонте он увидел маленькую точку. От этой точки и шел звук. «Самолет!» — мысленно ахнул Чонкин. Но тут же сам себя осадил, вспомнив, как однажды принял за самолет комара. Теперь он не верил ни своим глазам, ни предчувствиям. Он зажмурился. Но звук продолжался... Больше того, с каждой секундой он нарастал и становился все более мощным.

Чонкин открыл глаза и увидел настоящий самолет. Теперь уже в этом не было никаких сомнений.

— Самолет! — крикнул Чонкин и ткнул Свинцова кулаком в спину.

— Ну и что, что самолет, — сказал Свинцов. — Впервой, что ли, видишь?

— Дурила! — закричал Чонкин. — И как же ты не можешь понять глупой своей головой! Дак ведь это ж за мной!

— Ну да! — усмехнулся, не веря, Свинцов.

— Вот тебе и «ну да». Эгей! — Чонкин вскочил на ноги, сорвал с головы пилотку и стал ею размахивать,

приглашая летчиков снизиться.— Эй ты! — кричал он, подпрыгивая в трясущейся телеге и не заботясь о равновесии.— Давай сюда! Вот он я, здесь!

Словно отвечая на призыв Чонкина, самолет резко клюнул носом и, набирая скорость, пошел на снижение.

— Давай! — кричал Чонкин, размахивая пилотской.— Садися! На дорогу садися!

В его сознании все произошло как бы отдельно. Сначала он увидел, как вспорол на повороте дорогу. Фонтанчики пыли брызнули вверх и выстроились в ряд, соскользнувший к обочине. Потом уже услышал пулеметную очередь. Над самой головой Чонкина с ужасным воем самолет круто взмыл вверх, и Иван увидел на крыльях отчетливые кресты. Он не успел удивиться, потому что в это время лошадь рванула и понесла. Чонкин, потеряв равновесие, свалился с телеги.

Некоторое время он лежал, и ему казалось, что он убит. Самолет еще раз прошел над ним. Чонкин съехал. Самому себе он казался огромным, слишком огромным пытным на пыльной дороге. Он понимал, что надо укрыться, хотя бы за придорожные кусты, где он был бы не так заметен, но у него не хватало для этого сил. Наконец, он поднялся и тут в третий раз увидел над собой самолет. Летчик, видимо, не ожидал, что Чонкин поднимется. Он дал очередь, но было поздно, пули вспоролы землю далеко впереди.

— Во! — вскочив на ноги, крикнул Чонкин и покрутил у виска пальцем.— Дурак ненормальный!

Наверное, летчик обиделся. Но пока он выполнял боевой разворот, Чонкин со всех ног кинулся к лесу. И вбежав в лес, прильнул грудью к большой сосне. Снова приблизился рев мотора. Мелькнули в просвете крылья с крестами, но на этот раз летчик Чонкина не увидел, и последняя очередь по кустам была уже совсем невпопад.

Выйдав сколько-то времени и видя, что самолет не возвращается, Чонкин оторвался от сосны и двинулся дальше. Он шел напрямую, не зная куда и зачем, но зная почему и откуда, шел, впервые сознательно нарушив обязанности солдата и заключенного, впервые уклоняясь от уготованной ему судьбы.

Пройдя через болото и колючий кустарник, оказался он на неширокой поляне, посреди которой лежало большое трухлявое дерево с обрубленными ветвями.

Чонкин огляделся. Вокруг было тихо и мирно. Непуганый дятел долбил верхушку полуиссохшей сосны, и в осенней тоске где-то заливалась кукушка.

Он сел на ствол трухлявого дерева, перемотал одну портянку, принялся за вторую. Вдруг зашевелились и затрещали кусты.

«Медведь!» — обмирая, подумал Чонкин и с ботинком в руках вскочил на ноги.

Кусты раздвинулись, и на поляне с разодранной щекой, с винтовкой и пустым вещмешком Чонкина появился Свинцов. Глядя на Чонкина исподлобья, он приближался. Отступая вдоль дерева, Чонкин сбросил для удобства портянку и переложил ботинок из своей левой руки в правую. Ботинок, конечно, не граната и против винтовки оружие слабое, но если бы залепить им удачно в лоб...

— На, держи! — сказал Свинцов и кинул винтовку, как на ученье.

Чонкин успел выронить ботинок и схватить винтовку, но ушиб большой палец.

— И это держи! — И у ног его плавно опустился пустой вещмешок.

Свинцов сел на дерево и, трогая корявым пальцем царапину на щеке, кратко объяснил свое поведение:

— Надумал и я от них убечь.— И криво усмехнулся.— Надоели.

Было как-то странно, чудно, непонятно. Обдумы-

вая происшедшее, Чонкин подобрал портянку, сел поодаль от Свинцова. С одного конца портянка была совсем мокрая, с другого еще ничего. Отжав мокрый конец, он сухой приложил к ступне и стал пеленать ее, как ребенка.

— Демаскируешь,— покрутил носом Свинцов.

— Чего? — не понял Чонкин.

— Мотай, говорю, скорее, а то нас с тобой тут унохают.

— А-а,— сказал Чонкин и, приняв слова Свинцова всерьез, заторопился.

Покончив с портянкой, натянул ботинок, поглядел на него критически — надолго не хватит.

Свинцов достал папиросы, одну протянул Чонкину, и тот взял ее осторожно, все еще опасаясь подвоха. Закурили.

— Ну что,— сказал Свинцов, помолчав,— далее вместе пойдем или же каждый поврозь?

— Куда идтить-то? — грустно вздохнул Чонкин.

— Куда? — переспросил Свинцов.— Да по лесам будем шататься. Поглубже зайдем, салаш построим и станем жить на воле, как хичники. А чего? — Свинцов вскинул голову.— Оружие есть, патроны есть, дичи всяческой настреляем, грибов, ягод насущим, компот варить будем. Компот любишь?

— Компот? — Чонкин посмотрел на Свинцова как на придурка.— Да для компота же сахар нужен.

— От сахара зубы болят,— возразил Свинцов, усмехаясь.— А вот, конечно бы, соли да табачку, да спичек запастись надо. Ну ничего. До Красного дочапем, там поглядим. Ежели все спокойно, забежишь к Нюрке, на первое время чего надо возьмешь. Ну, побалуешься с ней напоследок. Оставаться не советую. Пымают. Согласный?

Насчет всего прочего Чонкин еще не обдумал, а встретиться с Нюрой хоть ненадолго желалось ему даже очень.

Вечерело, когда приблизились к Красному.

Оставив винтовку Свинцову, Чонкин вышел из леса с пустым вещмешком. Пройдя через пути берегом Тепы, поднялся он к стоявшим на отшибе амбарам и за ними долго тайлся, однако из-за амбаров ни черта не было видно.

Перебежал к Нюриной избе, ткнулся в дверь — заперта. Хотел было сунуться за ключом под половицу, да услышав отдаленные голоса, вгляделся и увидел, что в сумерках возле конторы снова народ сгустился, а на дороге, покрытая пылью, стоит легковая машина.

«Неужли обратно митинг?» — подумал Чонкин и, раздраемый опасным для него любопытством, двинулся сперва к забору, потом к избе Гладышева и короткой перебежкой к машине, а уж от нее к конторе.

Народ стоял, тесно сомкнувшись. Чонкин привстал на цыпочки, выдвинул вперед подбородок и раскрыл рот.

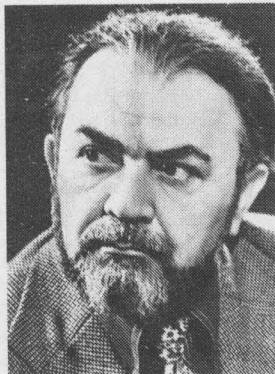
На крыльце конторы худой длинный немец в черном мундире и в очках размахивал руками, выкрикивая:

— Крестьяне! Победоносная германская армия пришла к вам на помощь и навсегда освободила вас от власти большевиков. Евреи и комиссары никогда больше не будут вас грабить. Германское верховное командование надеется, что вы с благодарностью встретите своих освободителей и добровольно сдадите излишки продуктов нашим уполномоченным.

Широко расставив ноги, впереди всех в своей широкополой соломенной шляпе стоял Кузьма Гладышев.

— Правильно! — говорил он, в нужных местах ударяя в ладоши.

Чонкин попятился назад к машине и, никем не замеченный, покинул деревню.



Георг
ЭМИН

☆☆☆

Справедливость грядет, дорогая, желанная.
О беспутная путница! Страница странная!
Нас бросает в оторопь или в дрожь.
Поспеш: ведь ты все равно придешь!
Приходи скорее — уж нету мочи.
Только жизнь дороги твоей короче.
Все глядим, а тебя ни слышать, ни видеть.
Мы устали верить, устали ждать...

Как всегда опоздаешь на век, на час.
О, приди при жизни хотя бы раз!..

☆☆☆

Вишневый сад забылся в полусне.
Срывал я вишни, а казалось мне,
Что я не перед деревцем дрожащим,
А с женщиной стою наедине.
Доверчиво касаньям отдана,
Она так безоглядна и нежна.
Я будто серьги алые снимаю.
Еще мгновенье — и моя она.

Мы

...Но кто мы, кто мы
Испокон веков?
Ну что ж, ответу без обиняков:
Коли корабль — то на крутой скале,
Коль чаша — со слезами до краев,
Коли земля — то сгусток наших бед,
Коль камень — безъязыкий смертный крик,
Высокий дух — но потерявший плоть,
Военачальник — только без солдат,
Святого праха малая щепоть,
Трагическая вереница дат...

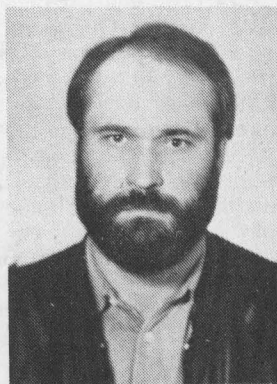
...Но кто мы, кто мы
Испокон веков?
Ну что ж, ответу без обиняков:
Туристы мы в отеческом краю,
Пришельцы у родного очага,
Река — но берег у нее один,
Гора — но в отдаленье, как мираж,
Земля — но в запустенье и пыли,
Народ — но не имеющий земли,
Стараньями бесчисленных врагов
Рассыпанная нитка жемчугов...

☆☆☆

Нас — горсточка.
Мы много бедовали.
Но, видимо,
Мы чем-то хороши.

Недаром нас
Веками продавали
И перепродавали
Торгаши —
Оптовики,
Лукавые витии,
Купцы из Рима
Или Византии.
Досель чужая речь
В ушах звенит —
Царь Николай Второй,
Султан Абдул-Гамид...
Терзали нас
И целиком, и розно
Псы Талаат-Паши,
Иосиф Грозный...
Мы — дичь
Для хитреца и наглеца.
И торгам
Не предвидится конца.

Перевел с армянского Л. ГРИГОРЬЯН.



Юрий
КАЗАРИН

Доброта в
юности

☆☆☆

Горько дурочка плачет. Синички
в милицейские дуют свистки.
И солдат леденцы в электричке
ест, как добрая лошадь, с руки.

И стоит, убегая, братишка,
и уводит вокзал из окна...

И такая красивая книжка —
что читать не умеет она,
она в маминой едет косынке.
Едет книга с холодной спиной.
Вот заплачет — и там, на картинке,
начинается дождь проливной.

Населенью ночного вагона
в декабре обещают дожди —
переезд, полустанок, ворону
и, конечно, любовь впереди.

☆☆☆

Вчерашнего шторма болтанку
я слышу в бродячем моторе,
и лодка внажим, как буханку,
вскрывает стоячее море.

Я трогаю мякоть застолья:
и скатерть волною срезает.
Сверкая пронзительной солью,
ломоть из руки ускользает.

Где жили бахчами толстовцы,
Толстого сховав под подушку,
там смотрят бессмертные овцы
на волны, зашитые в смушку.

И небу покажет татарка
подмышек чернильные розы.
И русскому северу жарко
от южной рифмованной прозы,

где женщину помнят губами,
где море по грудь кораблю.

Какими большими хлебами
я эту любовь накормлю?..

☆☆☆

За пригородом рвется полоса
глухих кустов, торжественных от пыли,
и речка обирает небеса
во всю длину мужицких сухожилий.

Как я люблю равнину без людей
за горький свет свободного прохода,
где в голубые лунки лошадей
глядит земли подспудная свобода.

Я проживаю выморочный век,
где плющит бровь пространство лобовое,
и уготован каждому nochleg
то на траве, то в звездах — над травой.

☆☆☆

От северной реки да от тоски просторной
произошла твоя залетная душа.
Уходит на восток поселок подзаборный,
шибает летний зной, собаками дыша.

Здесь вольно проживать деревьям и прохожим
и ласточка скользит по лезвию ножа.
И всем своим — в тебя — репейником пригожим
вцепился огород, стрекозами дрожа.

Ты примешь полный ковш от жизни придорожной,
и птица прошумит над самой головой.
И сердце оборвет глоток воды вельможной.
И зеркалом махнет колодец столбовой.

☆☆☆

В этом доме был вчера покойник.
Окна — настезь. Комнаты пусты.
Сядет воробей на подоконник.
Дедушка посмотрит с высоты.

Бабушка развесила бельишко.
Парится картошка в чугунке.
Спит в саду зареванный мальчишка
С яблоком надкушенным в руке.

Видит он: на кладбище копают,
старики заглядывают в сад.
Слишком высоко они летают —
мальчики туда не долетят.

☆☆☆

Ни мастера, ни Бога, ни творца.
В глухом лесу работает природа,
все та же часть ночного небосвода
приходится на память озерца.

Но вдруг до солнца, с дальнего востока,
когда болото трогает кулик,
в два горла через чашу, напрямик —
заголасит железная дорога.

В потемках люди ходят по грибы,
транжируют кровь в округе комариной
и по кустам наморщенные лбы
оглаживают поздней паутиной.

Там разговор до правды, до конца —
в глухом углу, где сосны и погода,
где до сих пор не ведает свобода
ни мастера, ни Бога, ни творца.

Кладбище

Где снегири в кустах пылают
и смерть, как жизнь, темным-темна,
глаза без неба убывают
на молодые имена.

Где плачет кладбище под мухой,
закуской с галками делаясь,—
гончарной жирной оплеухой
на сапоги налипла грязь.

Здесь все — о женщинах, о женах,
об убиенных женихах.
Качаясь на необожженных
озябших глиняных ногах.

Спеша, как спички из кармана —
за теплой пачкой сигарет,
они мигают из тумана
тебе, прохожему, вослед.

☆☆☆

Приедешь из города — хлеб привезешь.
Картошку почистит на ужин поселок.
Гуляет по радио хор комсомолок.
И окна бросает в стеклянную дрожь.
А вечером ты от любви не умрешь —
и смену белья пронесешь огородом,
где сивый Урал припадает к воротам
и ветхий парник на автобус похож.
Ты, голая, выйдешь из бани на снег —
и ночь наполняется ветром и взглядом,
когда, как совсем молодой человек,
морозец огладит тебя снегопадом.
А утром, когда повторяют кино,
ты прямо на юг разведешь занавески...
До моря опять далеко и темно:
дорога, забор и шлагбаум в черкеске.

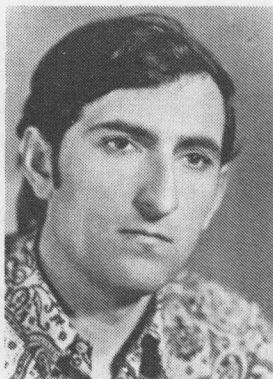
☆☆☆

Округу огладят грунтовые воды,
глазеют в Канаду коровьи следы.
И наши счастливые черные годы
уходят в лежачие храмы воды.

И домик садовый с глазами поморца
ночным телевизором льет из окна:
знакомый скворец, и Высоцкий, и Моцарт,
и ветер... А музыка все же одна.

И утро короче кошачьего взгляда,
и чуешь, как в сером просторе тепла
живым черенком штыковая лопата
в любимую землю без хруста вросла.

г. Свердловск



Виталий
АМАРСАН

Соловей

Лес кусты бровей насупил,
В воздухе болотный чад,
В сумраке смердящих дупел
Змеи сонные лежат.

Чу! Лиса бежит, танцуя,
Пышет пляшущим хвостом.
Жаба жирная, колдунья,
Замирает над ручьем.

Волки на охоту вышли:
Кто-то должен умереть.
Сквозь чащобы лавровишни
Продирается медведь.

Но и в этом грозном мире,
Среди хищников и змей,
Душу щедрю транжира,
Заливался соловей.

Перевел с абхазского Ф. ИСКАНДЕР

Корень, найденный на дороге

Откуда взялся этот корень странный?
Зачем в дорожной он лежит пыли?
Какая буря, шквал какой неожиданный
Его исторгли из глубин земли?

Что случилось с той прекрасною сосною,
Которую питал доньше он?
Увяла ли, поникнув головою,
Забыв про птиц и звездный небосклон?

Стоит ли все, раскинувшись, над морем,
И верит ли, несчастная, тому,
Что по земле тот мыкается корень
И вновь вернется к древу своему?

А ночь над ней сверкает без предела,
И удивленным звездам нет числа:
— Да как же ты за ним недоглядела?
Да как же ты его не сберегла?

Мне жаль сосну... Она мне ночью снится.
Я вижу ее крону над собой.
О, жизнь! Не дай подобному случиться
С моей душою и с моей судьбой!

Я должен так — под этой синью грозной —
Прожить свой век, исполненный тревог,
Чтоб никогда вопрос не грянул звездный:
— Да как же ты свой корень не сберег?

Перевел Л. СМЕРНОВ



Илья
ФОНЯКОВ

Кто виноват?

Сонет-баллада

Соседи на Петровну доказали,
Что отзывалась худо о властях:
Сначала — в поле, где снопы вязали,
Потом — у сватьи, выпивши в гостях.

Потом — еще... Короче, бабку взяли.
Плевать, что сын в панфиловских частях!
В ходатайствах и просьбах отказали.
Судили на предельных скоростях.

И с той поры ни слуху нет, ни духу.
На сколько лет упрятали старуху,
В какую глушь сослали из глуши?

Известная, классическая схема.
Тиран жесток, безжалостна Система,
Но и соседи тоже хороши...

Сонет с цитатой

Мне говорит февральский мокрый снег,
Мне говорят березы ясным летом:
«Не тот, по сути, русский человек,
Кто громче всех готов кричать об этом».

Я здесь возрос — средь этих рош и рек.
Хотя в крови, по кой-каким приметам,
И полонецкий, может быть, набег
Оставил след, но разобраться — где там!

«Я не хочу хвалить любовь мою,
Я никому ее не продаю». —
Мне говорит Шекспир и неустанно

Мне колокол державинский гудит,
И в душу осень русская глядит
С полотен Исаака Левитана.

На северной пристани

Текли с пригорка волны редкой ржи.
Под солнцем воды серые сияли.
Носами врозь, корма с кормой, стояли
Две плоских, словно шлепанцы, баржи.

Играли в карты местные бомжи,
Устраиваясь у воды на одеяле,
Стучал мотор... «На той реке Каяле» —
С чего бы вдруг на ум пришло, скажи?

Там — юг, тут — север... Почему же снова
Начальное припомнилось мне «Слово»,
Плач Ярославны, пленный Игорь-князь?

В красе, в грязи, в ничтожестве и в славе —
Все наше здесь, ни от чего не вправе
Отречься мы: нерасторжима связь.

☆☆☆

Матушка-голубушка, солнышко мое...
НИРКОМСКИЙ
(Псевдоним неизвестного поэта
пушкинского времени.)

Поэты славной пушкинской поры,
Известные, забытые и полу-
забытые! В свою примите школу,
Прошу вас, будьте столь ко мне добры!

Пустите к вам на братские пиры,
Где места нет пустому балаболу,
Где пестуют веселую крамолу,
Где эпиграммы едки и остры!

Все было ярко, молодо и ново,
Звучало незахвачанное слово,
Шуршали книжки тонкие в руках,

И даже у того, кто всех безвестней,
Божественный был шанс: народной песней
Остаться в мире, прозвенеть в веках!

Полеты во сне

Я до сих пор еще во сне летаю!
Пропеллерами руки раскручу,
С пригорка чуть подпрыгну — и лечу:
Сквозь тонкий пар земли... сквозь птичью стаю...

Какая-то пушинка льнет к плечу —
Прозрачная, от солнца золотая.
Я о надзвездных высях не мечтаю,
От жизни отрывать не хочу!

Лечу и вижу с высоты полета
Знакомых улиц пестроту и вязь,
Там — жизнь и повседневная работа,

Цветут цветы, поблескивает грязь,
И кто-то снизу машет мне, и кто-то
За камнем наклоняется, смеясь...

г. Ленинград



Николай
СТЕФАНОВИЧ

Николай Владимирович Стефанович (1911—1979) — поэт трудной судьбы. Его философская и духовная лирика была «не ко времени», поэты знали его творчество, ценили, а к читателю его поэзия приходит только в наши дни и, к сожалению, посмертно...

☆☆☆

Конские гривы, луны сиянье,
Потусторонняя лебеда...
Что это, призраки, марсиане?
Путь ниоткуда и в никуда?
Где я такие же видел тени,
Звезды, продрогшие на ветру?
Или в беспмятстве, до рожденья,
Или увижу, когда умру...

☆☆☆

Связует всех единый жребий:
Лишь стоит ногу подвернуть —
И в тот же миг в Аддис-Абебе
От боли вскрикнет кто-нибудь.
Откуда взялся ужас оный,
Который вдруг во мне возник?
Не заблудился ли ребенок
В лесу дремучем в этот миг?

☆☆☆

«Я кончился...»
Б. ПАСТЕРНАК

И облака, и блеск стрекоз,
И зноем пахнувшая зелень,—
Внезапно все в тебе слилось,
Ты вновь один и беспределен.
Ты вездесущ, как божество,
Как небо солнечное светел,
И смерть не значит ничего:
Исчезновенья своего
Ты, вероятно, не заметил.

☆☆☆

Придет пора уснуть последним сном,
Кромешный мрак сомкнется надо мною,
И превратятся в облачко сквозное
Дома, и дни, и ветви под окном,—
И страшно мне, что самое земное
Утрачу я — тоску о неземном...

☆☆☆

Расстанусь я с веселым пеньем,
Земного хлеба не доем,

Навеки связанный решением
Себя не связывать ничем.
И будут мысли, как колоды,
И нестерпимым станет груз,
Когда у собственной свободы
Я в вечном рабстве окажусь.

☆☆☆

Всё умчалось, и вспомниться нечему,
Кроме улицы серой, сырой,
Где какая-то девушка к вечеру
Обернулась багровой зарей.
О полоске кровавой и узенькой
Тосковать не устану вовек,
Как, быть может, тоскует о музыке
Совершенно глухой человек.

☆☆☆

Когда обрушатся привычные понятия
И оборвется вдруг связующая нить,—
О если бы тогда ни с кем не объясниться
По поводу того, что трудно объяснить.
О если бы тогда не думать о спасенье,
А вдруг почувствовать сквозь хаос и развал,
Что я неотделим от мошек и растений,
От карканья ворон, от сырости весенней,
И что я это все уже переживал.

☆☆☆

Я в жизни счастлив не был ни минуты:
Жизнь, как качели, чтобы вознестись
Почти до неба одному кому-то,
Другому надо опуститься вниз.

И кто-то в этот миг и юн, и весел
Лишь потому, что я лишаясь сил.
И счастье чье-то я уравнил,
Терзаньями моими оплатил.

☆☆☆

— Точу ножи-ножницы, правлю бритвы! —
Голос из прошлого долетев,
Вдруг прозвучал, как слова молитвы,
Произнесенные нараспев.
Годы проносятся и столетья,
Согнуты спины и взор угас,
Но старики — это бывшие дети...
Добрый точильщик, ты помнишь нас?

☆☆☆

Бежал, густой глотая воздух,
Сквозь бред, беспмятство, провал,
И все кругом тонуло в звездах,
И каждый двор благоухал.
Я ждал чудес, я рвался к чуду,
Но и пред Богом, на Суде,
И там, на небе, помнить буду,
Как я искал ее повсюду,
Когда она была — везде.

☆☆☆

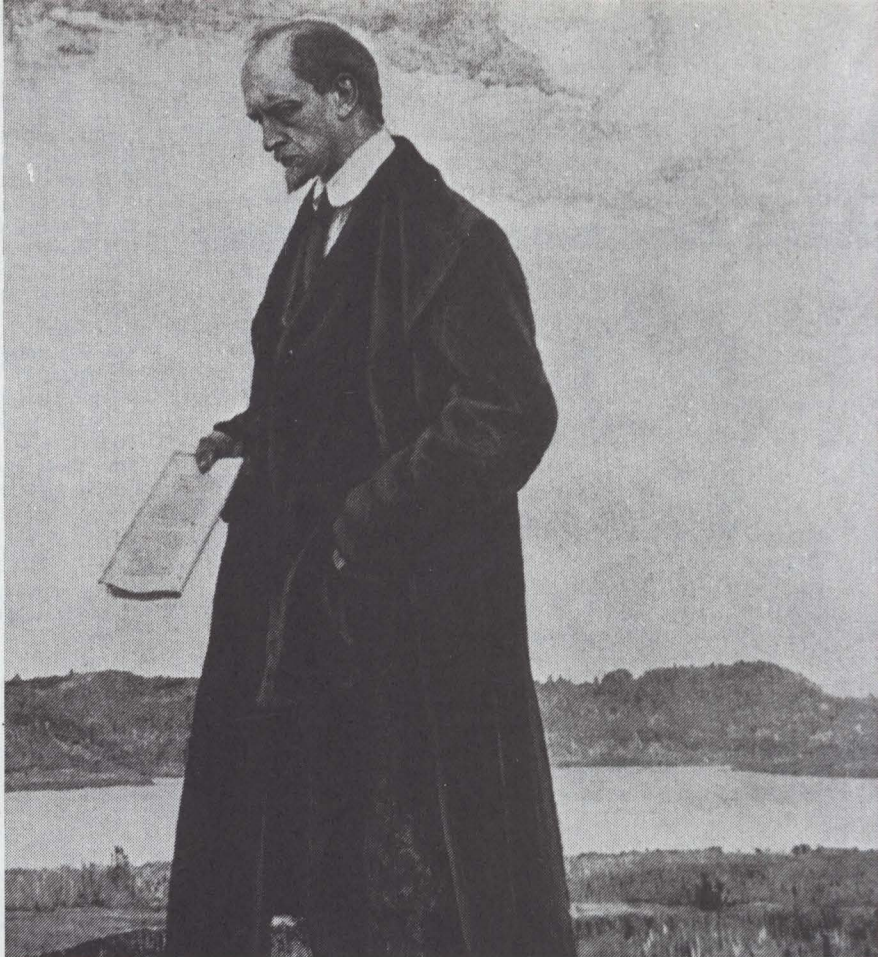
Если стукнут ведром, или вилку уронят,
Если где-то пожар возвещают трубой —
В этих звуках мне слышится шум посторонний,
Словно что-то скрывают они за собой.
Изменяются лица, дома и окрестность,
На могилах кресты зашатались опять...
До чего нестерпимо желанье воскреснуть —
Надо быть мертвецом, чтобы это понять.

Подготовка публикации
Е. Е. ДАНИЛОВА и Л. В. СТЕФАНОВИЧ

И. А. ИЛЬИН

«НАШИ ЗАДАЧИ»

Избранные статьи
(1948—1954 гг.)



На нашей репродукции — одна из крупных этапных работ Михаила Васильевича Нестерова, его полотно «Мыслитель» (1921—1922 годы). Оно в том же ряду, что и его знаменитые «Философы» (1917 год) — картина, знакомая всем, изображающая выдающихся российских философов Павла Флоренского и Сергея Булгакова. Но, вспоминая «Философов», мы заметим, что в этой работе Нестерова сам философский элемент, стихия напряженной работы мысли выражены еще сильнее, еще более подчеркнуто. Об этом уже говорит и выбор названия: в «Мыслителе» преданность мысли, углубленная погруженность в мысль, суровая сосредоточенность духа доведены до предела. Нет сомнений, что для художника человек на картине — истинный символ возвышенного, рыцарь философского разума. Но при всем том личность человека, изображенного на картине, всегда обходилась фигурой умолчания. Где-нибудь в примечаниях писали: профессор И. А. Ильин. Что за Ильин? Мало ли Ильиных...

Выдающийся русский философ, государствовед, общественный деятель Иван Александрович Ильин родился 9 апреля (28 марта) 1883 года в Москве, и вся его жизнь на родине была связана с этим городом. Тут он вырос, окончил классическую гимназию в 1901 году и юридический факультет университета в 1906 году, тут стал философом и вошел в круги, истари обитавшие и любознательствовавшие на пространствах Моховой, Пречистенки и Арбата. По окончании университета он был оставлен при нем для подготовки к профессорскому званию, и в 1909 году утвержден в звании приват-доцента по кафедре энциклопедии права. Проведя затем два года в научной командировке за границей, главным образом в Германии, он возвращается в Москву, преподает, пишет и публикует в прессе статьи, но главное — усиленно, кропотливо, истово работает над большим философским сочинением. Предмет его занятий, однако, в стороне от главного русла русской — и московской — философии той поры. Таким руслом было создание самобытной традиции религиозной философии, опирающейся на идейное наследие славянофилов и Владимира Соловьева. Ильин же посвящает свои штудии классической немецкой философии, он занимается Гегелем. На то, конечно, были свои причины; и их понимаешь, глядяываясь в нестеровский портрет. На нем ясно читается: «Мыслитель» привержен к мысли строгой, к дисциплине ума, к неу-

молимой четкости анализа. Самобытная же русская мысль, увы, как правило, не блистала этими свойствами. И у «Философов», если опять вспомнить Нестерова, и у Бердяева, и у Шестова, не говоря уж, скажем, о Мережковском или Николае Федорове, философская мысль, при несомненной жизненности и глубине своих истоков и интуиций, в практическом исполнении зачастую бывала досадно расплывчатой, неточной, не имеющей настоящей доказательности. Отталкиваясь от этих ее слабостей, Ильин уходит в Гегеля.

Упорный труд, подкрепляемый бесспорным и незаурядным талантом, приносит блестящие результаты. Среди необозримых массивов мировой литературы о Гегеле двухтомная работа Ивана Ильина «Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека», появившаяся в Москве в 1918 году, стала событием. Отзывы, помещенные при издании немецкого перевода книги в 1946 году, ставят ее в число трех этапных произведений за всю историю изучения Гегеля. Книга вызвала широкий отклик у европейских философов, а сам автор признан был одним из ведущих представителей неогегельянства. И все-таки это все не означало безраздельной принадлежности Ильина западной философской традиции. Неогегельянство его — русское неогегельянство, и знаменитая книга, чуждая всякой профессорской схоластики, демонстрирует многие черты именно русской мысли, русского философского стиля: стремление обнаружить жизненный нерв учения и его религиозные корни, способность увидеть философию как драму творящего духа.

Каким же в итоге складывалось положение Ильина в русской философии, в том блестящем кругу религиозных мыслителей, которых Россия заново открывает сегодня? Тематика его творчества, как уже сказано, ставила его особняком. Но дело было не только в тематике. Она изменилась впоследствии; Ильин оставил гегельянские штудии и обратился к предметам, составляющим коренную и сердцевиновую проблематику русской мысли. В центре его творчества будут стоять Россия и христианство. И тем не менее отчетливая дистанция между ним и другими сохранится. Как пишет Н. П. Полторацкий, главный современный знаток и исследователь Ильина: «Ильин занимает совершенно особое место в той плеяде русских мыслителей, которые создавали современную русскую религиоз-

ную философию. И это не только потому, что он расходился идейно с наиболее известными из них — с Розановым, Мережковским, Булгаковым, Бердяевым, Франком, Вячеславом Ивановым, Карсавиным и другими. Ведь расхождение были между самими этими авторами. В случае Ильина дело не в самом факте, а в характере и содержании этого расхождения. Расхождение было острым и распространялось на целый ряд областей. Суть этого «острого расхождения» я бы раскрыл так: Ильин при той же тематике, — философ иных истоков, иной школы. Он не разделяет общих славянофильских и соловьевских корней, но сохраняет выучку немецкой классической философии с ее уклоном к формальному конструированию. Вдобавок и индивидуальный его стиль был отмечен холодной риторичностью и педантизмом. «Чужой человек, иностранец, немец» — это Бердяев об Ильине. Иван Александрович не оставался в долгу, так оценив мысль Бердяева (а купно с ним Розанова и Булгакова): «Философия беспредельно-темперamentная и парадоксальная».

Но пора вернуться к биографии философа. Само собой разумеется, на ней решительным образом отразились происходившие исторические перемены. Пока Ильин занимался Гегелем, Россия вступила в эпоху революции, и новая эпоха, говоря на советском языке, вызвала у него небывалый подъем политической активности. Направление этой активности угадать нетрудно. Ильин по своей академической специальности — юрист, правовед, а революционные процессы с большим успехом «до основания» разрушили старое право, которое, надо сказать, стояло в России вовсе не так уж низко после реформ. Поэтому в своем отношении к этим процессам правоведы почти единодушно примыкали к правому лагерю. Ильин был тверд и последователен в своей правизне, разделяя мысли и идеи белого движения. Весной 1922 года на заседании Московского юридического общества он произносит речь «О задачах правоведения в России», где дает яркую характеристику переживаемого времени. Он говорит, что время вместило «и старое со всеми его недугами и во всей его государственной силе, и безумное испытание войны, и упадок инстинкта национального самосохранения, и неистового аграрного и имущественного передела, и деспотию интернационалистов, и трехлетнюю гражданскую войну, и психоз жадности, и безволие лени, и хозяйственную опустошительность коммунизма, и разрушение национальной школы, и террор, и голод, и людоедство, и смерть». Немногие решились бы тогда выступить с такими речами в большевистской Москве. И нас, конечно, никак не может удивить, что в период с 1919 по 1922 год Ильин подвергается аресту 6 раз, а осенью 1922 года мы обнаруживаем его в составе большой группы философов и ученых, высланных из страны.

Эта высылка была примечательным эпизодом истории, который больше не повторялся у нас. Да и мудро было повторить: в России попросту не осталось, и никогда уже не было с тех пор такой плеяды крупных мыслителей, какую тогда разом изгнали с родины. Изгнанию подверглись выдающиеся религиозные философы, создатели самобытной русской метафизики Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, Л. П. Карсавин, С. Л. Франк, Н. О. Лосский и другие. Все они и с ними еще десятки профессоров, литераторов, деятелей кооперативного движения были арестованы в августе 1922 года и по решению коллегии ГПУ высланы пожизненно из страны. Два парохода (один с жителями Москвы и провинции, другой с петербуржцами) отправились из Петрограда в Германию, в Штеттин. В сохранившихся зарисовках, сделанных одним из высланных, мы видим Ивана Александровича на палубе парохода во время беседы с князем С. Трубецким, сыном выдающегося философа Евгения Трубецкого...

Эмигрантская жизнь Ильина делится на два периода, берлинский и цюрихский, каждый длительностью в 16 лет. В Германии он был профессором, одно время и деканом юридического факультета Русского Научного Института в Берлине; но при нацистах, ни на какое сотрудничество с которыми он не пошел, он начал сразу же подвергаться преследованиям и в 1938 году с трудом сумел выехать в Швейцарию. Там он вновь занимался лекционной работой, много писал, продолжал участвовать в культурных и политических начинаниях эмиграции. 21 декабря 1954 года Иван Александрович Ильин скоропостижно скончался в Цюрихе. Эмигрантские работы его посвящены религиозной и политической философии, а также, в немалой мере, и напрямую — политике и идеологии. Он всегда был активным

публицистом, не раз организовывал и собственные периодические издания: «Русский колокол» (1927—1930 годы), «О грядущей России» (1940—1941 годы), «Наши задачи» (1948—1954 годы). Какие же темы, какие взгляды им разви-

вались? В философских трудах (среди которых на первом месте — капитальные «Аксиомы религиозного опыта» в двух томах) в центре стоит «исследование религиозного акта» — иначе говоря, изучение духовного состояния и внутреннего мира верующего человека. Много внимания философ уделяет и темам российской государственности, политическим, правовым, этическим устоям исторического бытия России: об этом почти все выпуски «Наших задач», составившие потом два объемистых тома. Философия государства и права стояла высоко в России, начиная еще с Бориса Чичерина, крупного философа и оппонента Владимира Соловьева. После него традицию с успехом продолжили П. Новгородцев, Евг. Трубецкой и Иван Ильин. Писал Ильин и об искусстве, и о философии культуры, особенно задумываясь, конечно, о судьбах культуры русской, которым посвятил ценную и оригинальную книгу «Суциность и своеобразие русской культуры» (1942 год).

Однако больше всего, без сомнения, поздний Ильин сегодня известен самую спорную — политической — частью своего наследия. Рука было уж разбегалась написать стандартное: «спорной и противоречивой» — и замерла. Ровно ничего противоречивого не было в политических взглядах Ильина: они последовательны до предела и с предельной логикой и ясностью изложены. В этих взглядах Ильин — законченный «человек старого режима», как называли когда-то французских дворян-роялистов восемнадцатого века, хранивших истовую верность дореволюционным устоям. Он твердый монархист и националист, сторонник иерархического сословного строя, общества, построенного на ранге; и лишь в возврате к этим началам мыслит он плодотворное будущее России. Но существенно и важно то, что характеристика консерватизма Ильина требует еще некоторого уточнения, так сказать, противоположного рода. Н. П. Полторацкий свидетельствует: «Ильин боролся идейно и политически на два фронта — против крайних левых и крайне правых». И вот в этом решительном отвержении обоих видов бесчеловечной, расчеловечивающей одержимости Ильин стоит уже заодно со всем кругом русских философов. Когда идет речь о главных болезнях русского духа, о главных внутренних опасностях, грозивших России, Разум Нации един. Многие разделяло Ильина с отцом Сергием Булгаковым, и никогда они не были ни идейными, ни политическими союзниками. Но, когда о. Сергей записывает в дневнике свои впечатления от дней первой русской революции, у него возникает образ двух сил, которые противоположны друг другу, но обе равно страшны: «черная сотня и красная сотня». (Поздней, в наше время, этот образ подхватит в «Красном колесе» Солженицын.) А Ильин, уже в эмигрантские дни, так пишет Петру Бернгардовичу Струве о разрушавших эмиграцию интригах: «Это было делом ГПУ. И Маркова. Не потому, что Марков служит в ГПУ, а потому, что их дух един по существу». (Курсив Ильина. Н. Е. Марков-второй — многолетний вожак русского правового экстремизма.)

Что же до существа национально-государственных идеалов Ильина, то в этом кратком введении едва ли стоит их разбирать. Предоставим поразмышлять читателю; а я в заключение скажу лишь, чтобы усомниться в жизнеспособности этих идеалов, не нужно разбирать достоинства и пороки старой России. Тут дело в другом — в законах исторического бытия: никогда и никакой «старый режим», хоть будь он самым раем земным, не может служить моделью будущего. (Эта роковая необратимость истории — тема для особого размышления.) И второе. Наш «старый режим», государственность Российской империи, как-никак столетия держал и двигал эту империю и дал в ней созреть всему тому, что делало Россию великой страной. Что ж странного, если даже и на пороге гибели в рядах его партизан, как в старину выражались, стоят еще и такие деятели, как Петр Столыпин, и такие умы, как Иван Ильин, и такие люди искусства, как Михаил Нестеров, написавший «Мыслителя». Едва ли во многом сходясь с ними (кроме веры нашей), скажу с убеждением: не их вина, если мы сегодня... там, где сегодня мы.

Изживание социализма

Было время, когда среди русской интеллигенции господствовало воззрение, что «порядочный человек не может не быть социалистом» и что «только социализм» осуществит на земле свободу, равенство, братство и справедливость. С тех пор мы много пережили и перестрадали; опыт осуществлен и последовательно проведен в огромном масштабе. Ныне мы должны судить на основании этого опыта. Мы увидели социализм в жизни и поняли, что он осуществим только в форме *всепроникающего и всепорабощающего* тоталитарного режима.

Социализм прежде всего угашает частную собственность и частную инициативу. Погасить частную собственность значит водворить *монопольную собственность государства*; погасить частную инициативу значит заменить ее *монопольной инициативой единого чиновничьего центра*. Так обстоит не только в России: и в Западной Европе, всюду, где проводится *советский социализм* (Польша, Чехия, Венгрия, Румыния, Болгария, Югославия, Албания, Восточная Германия) или *социализм Второго Интернационала* (Франция, Англия), всюду вырастает (быстро или медленно) *монопольная собственность государства* и слагается *монопольная инициатива единого чиновничьего центра*. В этом — самая сущность социализма.

Это ведет к *монополии государственного работодателя* и создает полную и бесповоротную зависимость *всех трудящихся от касты партийных чиновников*. Знаменитый французский социолог Густав Лебон был прав, предсказывая этот ход развития. Чтобы осуществить государственно-централизованный хозяйственный план, эта каста вынуждена силой вещей овладеть *всей хозяйственной деятельностью страны*, а потом и *политической*, и *культурной* жизнью народа и *вести тоталитарный строй*. В тоталитарном же строе — нет ни свободы, ни равенства, ни братства, ни справедливости. Мы видели в жизни — и левый, и правый тоталитаризм. С нас достаточно. Пустые мечты и политические сказки предоставим детям и агитаторам.

Почему русская интеллигенция тянула прежде к социализму? Потому что она, почти утратив христианскую веру (под влиянием западного рассудочного «просвещения»), удержала *христианскую мораль* и хотела *социального строя*, т. е. свободы, справедливости и братства (к коим она по недоразумению пристегивала и равенство). Ей внушали и она воображала, будто *социализм* есть *единственный путь к социальному строю*. Ныне наступает новая эпоха, которая положит в основание другое воззрение, а именно: *социализм — антисоциален; искать социальности надо в ином, не социалистическом строе*.

Социализм антисоциален потому, что он убивает свободу и творческую инициативу; уравнивает всех в нищете и зависимости, чтобы создать новую привилегированную касту партийных — чиновников — угнетателей; проповедует классовую ненависть вместо братства; правит террором, создает рабство и выдает его за справедливый строй. Именно потому социальность (свободу, справедливость и братство) надо искать в *несоциалистическом строе*. Это не будет «буржуазный строй», а строй *правовой свободы и творческой социальности*.

Мы не сомневаемся: пройдут года, прежде чем это воззрение станет господствующим в человечестве. Ибо пропаганда социализма велась слишком долго, из социализма сделали какой-то суррогат религии; социалистические партии и теперь еще выдают свой строй за единственный путь к счастью и демагогируют рабочих; <.....>.

Все это надо *изжить*, во всем этом надо *разочароваться*, от всего этого надо *отречься*. Однако одумались те социалисты, которые ныне предпочитают сохранить название своей программы и потихоньку вложить в нее другое, более приемлемое и не столь тоталитарное содержание. У них нет мужества для отказа, пересмотра и вступления на новый путь.

Силою вещей наша многострадальная Россия идет в этом изживании, разочаровании и передумывании *вперед* всех. Если бы русский народ был сейчас свободен и услышал вновь проповедь социализма (т. е. левого тоталитаризма), то ответ его был бы недвусмыслен и стихлен.

Мы, русские христиане, по-прежнему будем искать в России социального строя. Однако на основах *частной инициативы и частной собственности*, требуя от частно- инициа-

тивного хозяйства, чтобы оно блюло *русские национальные интересы* и действительно вело к *изобилию и щедрости*, а от частных собственников — *справедливого и братского* хозяйствования.

Знаем, что для этого необходимы предпринимательский и организационный талант, живое чувство справедливости и органическая христианская доброта сердца. Талантом нельзя снабжать людей; однако возможно создать такие правовые и экономические условия, при которых бездарный предприниматель будет сам выключаться из хозяйства. Чувство справедливости нельзя ввести законом, но его должно воспитывать и контрольно карать всякую явную несправедливость (введение *особой социальной ответственности*, слабые начатки которой мы видели в фабричной инспекции). И доброту нельзя предписать; но ее надо укреплять и воспитанием и организацией общественного мнения.

Социальность или социализм

Эти два понятия отнюдь не совпадают. «Социальность» — это живая справедливость и живое братство людей; и потому всякое установление, всякий порядок, всякий закон, от которых жизнь становится справедливее и братство крепнет, — «социальны». Понятно, что первое условие «социальности» — это бережное отношение к *человеческой личности*: к ее *достоинству*, к ее *свободе*. Порабощение и унижение человека исключает «социальность», ибо социальность есть *состояние духа* и *порядок духовной жизни*; говорить о социальности, унижая человека, делая его рабом, — нелепо и лицемерно. Сытые холопы остаются холопами; роскошно одетые и в комфорте живущие рабы не перестают быть рабами и становятся тупыми, развратными и самодовольными рабами. Режим угроз, страха, доносов, шпионажа, лести и лжи никогда не будет социален, несмотря ни на какую возможную «сытость». Человеку нужны прежде всего — *достоинство и свобода*; свобода убеждений, веры, инициативы, труда и творчества. Только достойный и свободный человек может осуществить живую справедливость и живое братство. Рабы и тираны всегда будут хотеть другого и проводить в жизнь обратное. <.....>

Итак, «социальность» есть *цель и задача государственного строя*, создаваемого по слову Аристотеля, «ради прекрасной жизни». «Социализм» же есть только *один из способов*, предложенных для осуществления этой цели и этой задачи. «Социальность» нужна при всяких условиях; а «социализм» — *только при том условии, если он действительно осуществляет «социальность»*. <.....>

Первые христиане пытались достигнуть «социальности» посредством своего рода добровольной складчины и жертвенно распределительной общности имущества; но они скоро убедились в том, что и такая элементарная форма принудительной негосударственной имущественной общности наталкивается у людей на недостаток самоотречения, взаимного доверия, правдивости и честности. В Деяниях Апостольских (4.34—37; 5.1—11) эта неудача описывается с великим объективизмом и потрясающей простотой: участники складчины, расставаясь со своим имуществом и беднея, начали скрывать свое состояние и лгать, последовали тягостные объяснения с обличениями и даже смертными исходами; жертва не удавалась, богатые беднели, а бедные не обеспечивались; и этот способ осуществления христианской «социальности» был оставлен, как хозяйственно несостоятельный, а религиозно-нравственный — неудавшийся. Ни идеализировать его, ни возрождать его в государственном масштабе нам не приходится. Общность имущества вообще есть дело претрудное и требующее легкой и свободной добровольности. Но именно добровольную общность не следует смешивать ни с социализмом, ни с коммунизмом (как делают анархисты-коммунисты).

Неразделенный крестьянский двор, где ссорятся две-три семьи, — не есть образчик социализма. Добровольную общность части имущества мы наблюдаем в артели, в ученом обществе, у студенческой организации, у скаутов, у Соколов, в кооперативе, в акционерной компании и т. д. Во всем этом нет никакого социализма, ибо это есть общность добровольная, не отменяющая частную собственность и могущая быть прекращенной. Социализм же принудителен, окончательен, бессрочен и враждебен частной собственности.

Элемент социализма имелся в русской крестьянской общине, государственно-принудительной, бессрочной и ограничивающей свободное распоряжение землей. Община каза-

лась целесообразной и «социальной» потому, что связанные ею крестьяне старались преодолеть ее отрицательные стороны справедливым распределением пользующейся земли и несомного бремени (пределы по едокам и круговая порука). Но на деле это привело к аграрному перенаселению в общине и во всей стране, к экстенсивности и отсталости крестьянского хозяйства, к стеснению и подавлению личной хозяйственной инициативы, к аграрным иллюзиям в малоземельной крестьянской среде и потому к нарастанию революционных настроений в стране; ибо замаринованные в общине крестьяне воображали, будто в России имеется неисчерпаемый запас удобной земли, который надо только взять и распределить, — тогда как осуществившийся в начале революции «черный передел» дал на самом деле прирезок в две пятых одной десятой на душу (чтобы затем отнять у них и все остальное) <....>

Разъединенные телом и душой, духом и инстинктом самосохранения, люди способны выносить общность имущества лишь постольку, поскольку им удастся преодолеть это разделение любовью, дружбой, совестью, щедростью, личным благоволением, духом, внутренней дисциплиной и, главное, добровольным согласием.

При всяких иных условиях общность имущества будет вести только к разочарованию, вражде, насилию, воровству и хозяйственным неудачам. Она будет создавать каторжный, тоталитарный режим, всеобщее рабство и падение культуры. Современному человеку, захваченному социалистическими иллюзиями, придется все это изживать до прозревания.

К истории дьявола

Дьявольское начало имеет в жизни человеческого рода свою историю. По этому вопросу существует серьезная научная литература, не касающаяся, впрочем, последних десятилетий. Однако именно последние десятилетия проливают новый свет на два прошедших века.

Эпоха европейского «просвещения» (начиная с французских энциклопедистов 18 века) подорвала в людях веру в бытие личного дьявола. Образованному человеку не верится в существование такого отвратительного человекообразного существа «с хвостом, с когтями, с рогами» (по Жуковскому), никем не виданного, а изображаемого только в балладах и на картинках. Лютер еще верил в него и даже швырнул в него чернильницей; но позднейшие века отвергли «черта» и он постепенно «исчез», угас как «отживший предразсудок».

Но именно тогда им заинтересовались *искусство и философия*. У просвещенного европейца остался лишь «плащ» сатаны и он начал с увлечением драпироваться в него. Загорелось желание узнать о дьяволе побольше, рассмотреть его «истинный облик», угадать его мысли и желания, «перевоплотиться» в него или хотя бы «пройтись» перед людьми в дьявольском образе...

И вот искусство стало *воображать и изображать* его, а философия занялась его *теоретическим оправданием*. Дьявол, конечно, «не удался», потому что человеческое воображение не способно вместить его, но в литературе, в музыке, в живописи началась культура «демонизма». С начала 19 века Европа увлекается его противобожественными обликами: появляется демонизм сомнения, отрицания, гордости, бунта, разочарования, горечи, тоски, презрения, эгоизма и даже скуки. Поэты изображают Прометея, Деницу, Каина, Дон-Жуана, Мефистофеля. Байрон, Гете, Шиллер, Шамиссо, Хофман, Франц Лист, а позднее Штук, Бодлер и другие развешивают целую галерею «демонов» или «демонических» людей и настроений, причем эти «демоны» — «умные», «остроумные», «образованные», «гениальные», «темпераментные», словом, «обаятельные» и вызывают сочувствие, а «демонические люди» являются воплощением «мировой скорби», «благородного протеста» и какой-то «высшей революционности».

Одновременно с этим возрождается «мистическое» учение о том, что «темное начало» имеется даже и в Боге. Немецкие романтики находят поэтические слова в пользу «невинного безстыдства», а левый гегельянец Макс Штирнер выступает с открытой проповедью человеческого самообожествления и демонического эгоизма. *Отвержение личного «черта»* постепенно заменяется *оправданием дьявольского начала*...

Скрытую за этим пропасть увидел Достоевский. Он указал на нее с пророческой тревогой и всю жизнь искал путей к ее преодолению.

Фридрих Ницше тоже подошел к этой пропасти, пленился ею и возвеличил ее. Его последние произведения — «Воля к власти», «Антихрист» и «Се человек» — содержат прямую и откровенную проповедь зла...

Всю совокупность религиозных предметов (Бога, душу, добродетель, грех, потусторонний мир, истину, вечную жизнь) Ницше обозначает, как «грудю лжи, рожденную из дурных инстинктов натурами больными и в глубочайшем смысле вредными». «Христианское понятие Бога» есть для него «одно из растленнейших понятий, созданных на земле». Все Христианство есть в его глазах лишь «грубая басня о чудотворце и спасителе», а христиане — «партия забракованных ничтожеств и идиотов».

То, что он превозносит, — есть «цинизм», бесстыдство, «высшее, что может быть достигнуто на земле». Он вызывает к зверю в человеке, к «верховному животному», которое надо во что бы то ни стало разнуздать. Он требует «дикого человека», «злого человека», «с радостным брюхом». Его пленяет все «жестокое, неперекрываемое, преступное». «Величие есть только там, где имеется великое преступление». «В каждом из нас утверждается варвар и дикий зверь». Все, что зиждет в жизни братство людей, — идеи «вины, наказания, справедливости, честности, свободы, любви и т. п.» — «должно быть вообще изъято из существования». «Вперед же», восклицает он, «богохульники, противники морали, всевозможные беспочвенники, артисты, евреи, игроки, — все отвергнутые «лои общества!»...

И нет для него большей радости, как видеть «уничтожение лучших людей и следить, как шаг за шагом идут к гибели»... «Я знаю мой жребий», пишет он, «однажды с моим именем будет сопряжено воспоминание о чем-то чудовищном, о кризисе, какого никогда еще не было на земле, о глубочайшем совестном конфликте, о приговоре, вызванном против всего, во что дотоле верили, чего требовали, что свято чтили. Я не человек, я динамит»...

Так оправдание зла нашло свои *суше-дьявольские*, теоретические формулы, — и оставалось только ждать их *осуществления*. Ницше нашел своих читателей, учеников и поклонников; они приняли его доктрину, сочетали ее с доктриной Карла Маркса — и принялись за осуществление этого плана 30 лет тому назад.

«Демонизм» и «сатанизм» не одно и то же. Демонизм есть дело человеческое, сатанизм есть дело духовной бездны. Демонический человек предается своим дурным страстям и может еще покаяться и обратиться; но человек, в которого, по слову Евангелия, «вошел сатана», — одержим чуждой, внеморальной силой и становится сам человекообразным дьяволом. Демонизм есть преходящее духовное помрачение, его формула: «жизнь без Бога»; сатанизм есть полный и окончательный мрак духа, его формула: «низвержение Бога». В демоническом человеке бунтует необузданный инстинкт, поддерживаемый холодным размышлением; сатанический человек действует как чужое орудие, служащее злу, но способное наслаждаться своим отвратительным служением. Демонический человек тяготеет к сатане: играя, наслаждаясь, мучаясь, вступая с ним (по народному поверью) в договоры, он постепенно становится его удобным жилищем; сатанический человек утратил себя и стал земным инструментом дьявольской воли. Кто не видел таких людей, или, видя, не узнал их, тот не знает *исконно-завершенного зла* и не имеет представления о *подлинно-дьявольской стихии*.

Наши поколения поставлены перед ужасными, таинственными проявлениями этой стихии и доселе не решаются выговорить свой жизненный опыт в верных словах.

Мы могли бы описать эту стихию, как «черный огонь»; или определить ее как вечную зависть, как неутолимую ненависть, как воинствующую пошлость, как беззастенчивую ложь, как абсолютное бесстыдство и абсолютное властолюбие, как поправление духовной свободы, как жажду всеобщего унижения, как радость от погубления лучших людей, как *антихристианство*. Человек, поддавшийся этой стихии, теряет духовность, любовь и совесть; в нем начинается разложение и разнуздание, он предается сознательной порочности и жажде разрушения; он кончает вызывающим кощунством и человекоумищательством.

Простое восприятие этой дьявольской стихии вызывает в здоровой душе отвращение и ужас, которые могут перейти в настоящее телесное недомогание, в своеобразную «дурно-

ту» (спазма симпатической нервной системы!), в нервную дисритмию и в психическое заболевание, а могут привести к самоубийству. Сатанические люди узнаются по глазам, по улыбке, по голосу, по словам и по делам. Мы, русские, видели их въяе и вживе; мы знаем, кто они и откуда. Но иностранцы и доселе не разумеют этого явления и не хотят понять его, потому что оно несет им суд и осуждение.

А некоторые реформатские богословы продолжают доселе писать о «пользе дьявола» и сочувствовать его современному восстанию.

О тоталитарном режиме

Еще тридцать лет тому назад никому и в голову не приходило включать в науку права понятие «тоталитарного» государства; не потому, чтобы идея такого государства никогда не появлялась на горизонте историка (это было бы неверно!), а потому, что такой режим казался невозможным и никто его не злоумышлял. Если бы даже кто-нибудь «выдумал» его (напр. проект Шигалева-Верховенского в «Бесах» Достоевского!), то все сказали бы: нет, на земле не найдется ни таких бессовестных и безумных людей, ни таких чудовищных государственных учреждений, ни таких технических орудий и приспособлений, чтобы осуществить эту всепроникающую, всенасиливающую, всерастворяющую политическую машину. Но вот тоталитарный режим стал историческим и политическим фактом, и мы вынуждены с этим считаться: и люди нашлись, и учреждения развернулись, и техника явилась к услугам людей.

Что же такое тоталитарный режим?

Это есть политический строй, беспредельно расширивший свое вмешательство в жизнь граждан, включивший всю их деятельность в объем своего управления и принудительного регулирования. Слово «тотус» означает по-латыни «весь, целый». Тоталитарное государство есть всеобъемлющее государство. Оно отправляется от того, что *самодетельность граждан* ненужна и вредна, а *свобода граждан* опасна и не терпима. Имеется единый властный центр: он призван все знать, все предвидеть, все планировать, все предписывать. Обычное правосознание исходит от предпосылки: все незапрещенное позволено; тоталитарный режим внушает совсем иное: *все непереданное — запрещено*. Обычное государство говорит: у тебя есть сфера частного интереса, ты в ней свободен; тоталитарное государство заявляет: есть только государственный интерес, и ты им связан. Обычное государство разрешает: думай сам, веруй свободно, строй свою внутреннюю жизнь, как хочешь; тоталитарное государство требует: думай предписанно, не веруй совсем, строй свою внутреннюю жизнь по указу. Иными словами: здесь *управление — всеобъемлющее; человек всесторонне поработан; свобода становится преступной и наказуемой*.

Отсюда явствует, что сущность тоталитаризма состоит не столько в особой *форме государственного устройства* (демократической, республиканской или авторитарной), сколько в *объеме управления*: этот объем становится всеохватывающим. Однако такое всеобъемлющее управление осуществимо только при проведении *самой последовательной диктатуры*, основанной на *единстве власти*, на единой *исключительной партии*, на *монополии работодателя*, на *всепроникающем сыске*, на *взаимодоносительстве* и на *беспощадном терроре*. Такая организация управления позволяет придать собственно государственной форме любой вид: советский, федеративный, избирательный, республиканский или иной. Важна не государственная форма, а *организация управления, обеспечивающая всеохват*; — до последнего закоулка городского подвала, деревенского чулана, личной души, научной лаборатории, композиторской фантазии, больницы, библиотеки, газеты, рыбацкой лодки и церковной исповедальни.

Это означает, что тоталитарный режим держится на *основных законах, а партийными указами, распоряжениями и инструкциями*. Поскольку законы вообще еще имеются, они всецело подчинены партийным инструкциям. Поскольку государственные органы еще с виду действуют, они слагают только показную оболочку партийной диктатуры. Поскольку «граждане» еще существуют, они суть только *субъекты обязанности* (но не прав! не полномочий!) и *объекты распоряжений*; или иначе: индивидуальные люди суть рабочие машины, носители страха и симулянты сочувственной лояльности. Это есть строй, в котором нет субъектов

права, нет законов, нет правового государства. Здесь *правосознание* заменено психическими механизмами — *голода, страха, муки и унижения*; а творческий труд — *психо-физическим механизмом рабского надрывного напряжения*.

Поэтому тоталитарный режим не есть — *ни правовой, ни государственный режим*. Созданный материалистами, он весь держится на животных и рабских механизмах «теладуши»; на *угрожающих приказах рабонадзирателей*; на их, *внушенных им сверху, произвольных распоряжениях*. Это не государство, в котором есть граждане, законы и правительство; это *социально-гипнотическая машина*; это жуткое и невиданное в истории биологическое явление — общества, спянного страхом, инстинктом и злодейством, — но не правом, не свободой, не духом, не гражданством и не государством.

Если же все-таки говорить о форме этой организации, хотя и не правовой и противоправной, то это есть *равовладельческая диктатура* невиданного размера и всепроникающего захвата.

Правовое государство покоится всецело на признании человеческой личности — духовной, свободной, полномочной, управляющей собой в душе и в делах, т. е. оно покоится на *лояльном правосознании*. Тоталитарный режим, напротив того, покоится на *террористическом внушении*. Людям грозит: безработица, лишение, разлука с семьей, гибель семьи и детей, арест, тюрьма, инквизиционные допросы, унижения, избиения, пытки, ссылка, гибель в каторжном концлагере от голода, холода и переутомления. Под давлением этого всеохватывающего страха им внушается: *полная покорность, безбожно материалистическое мироощущение, систематическое доноительство, готовность к любой лжи и безнравственности и согласие жить впроголодь и впроход при надрывном труде*. И сверх того им внушается «пафос коммунистической революции» и *нелепое чувство собственного превосходства над всеми другими народами*; иными словами: *гордыня собственного безумия и иллюзия собственного преуспеяния*. Под влиянием этого террористического гипноза они заражаются слепой верой в *противоестественный коммунизм*, трагикомическим самонимением и презрительным недоверием ко всему, что идет не из (советской! коммунистической!) псевдо-России.

Этот гипноз инфильтрует и калечит их души — давно, десятилетиями, в поколениях; они уже не замечают его происхождения; они не понимают, откуда в них эта *одержимость гордыней*, и некоторые из них (слава Богу — не все!), попав за границу, блуждают в таком болезненном, *тоталитарном душевном состоянии* по лицу земли, никому не доверяя, злобой и презрением встречая более ранних эмигрантов и впадая время от времени в припадки болезненного самомнения. Это остатки тридцатилетнего гипноза, которые могут быть лишь постепенно изжиты и преодолены. Таковы своеобразные черты этого болезненного и чудовищного режима.

Править должны лучшие

Первое, что мы должны сделать при обсуждении устройства русского государства, это *страхнуть с себя гипноз политических формул и лозунгов*. Предоставим «верующим» демократам — веровать в необходимость и спасительность этого режима и освободим себя для беспристрастного наблюдения и опытного исследования. И еще: предоставим людям, ищущим успеха у толпы, поносить «аристократов» или совсем обходить молчанием идею аристократии, как якобы «реакционную», «контр-революционную», «старорежимную» и т. д. Когда мы думаем о грядущей России, то мы должны быть свободны, совершенно свободны от боязни кому-то не угодить и от кого-то получить «осуждение», будь то западно-европейцы или свои, доморожденные, — лево-радикалы или право-радикалы. Мы повинны Богу и России — *правдой*, а если она кому-нибудь не нравится, то хуже для него.

Обычно «демократию», как правление людей «излюбленных» и выбранных народом, и «аристократию», как правление людей «наследственно привилегированных», — противопоставляют друг другу. Это есть ошибка, которую надо понять и отвергнуть. Она есть порождение политических страстей, демагогии и ожесточения. Править государством должны *лучшие люди страны*, а народ нередко выбирает не лучших, а угодных ему льстецов и волнующих его бессовестных демагогов. Править государством должны именно луч-

шие, а они нередко выходят из государственно-воспитанных и через поколения образованных слоев народа. *Демократия заслуживает поддержки и признания лишь постольку, поскольку она осуществляет подлинную аристократию (т. е. выделяет сверху лучших людей); а аристократия не вырождается и не вредит государству именно постольку, поскольку в ее состав вступают подлинно лучшие силы народа.*

Убедимся в этом.

«Аристос» значит по-гречески «лучший». Не «самый богатый», не «самый родовитый», не «самый влиятельный», не «самый ловкий и пронырливый», не привилегированный, не старший возрастом. Но именно — *лучший: искренний патриот, государственно мыслящий, политически опытный, человек чести и ответственности, жертвенный, умный, волевой, организационно-даровитый, дальновзорный и образованный.* Можно было бы добавить к этому и другие качества, напр., храбрый, сердечный; но трудно отбросить хотя бы одно из перечисленных и отнести к «лучшим» человека жадного, продажного, интернационалиста, бесчестного, лишённого государственного разума и опыта, безвольного глупца, организационного растеряхи или наивного невежду. Именно *лучшие* должны быть *во всех государствах и при всех режимах.* Всякий режим плох, если при нем правят худшие. Нельзя и противостоительно говорить: «мы требуем демократии, хотя бы в ней выбирались, выдвигались и правила безвольные глупцы, продажные невежды, бесчестные растеряхи и тому подобный социальный отброс». Наоборот, необходимо и верно ответить: *«демократия, не умеющая выделить лучших, не оправдывает себя; она губит народ и государство и должна пасть».* <...>

Можно было бы назвать наше требование *политической аксиомой* (т. е. истиной самоочевидной): *править должны лучшие.* В жизненном распознавании этих лучших людей можно ошибиться, можно соглашаться или не соглашаться в оценке их, но задача их выделения бесспорна и основоположна. Можно было бы выразить это в виде лозунга: *дорогу честным и умным патриотам!* Дорогу им — независимо от того, принадлежат они к какому-нибудь сословию, классу, к какой-нибудь партии или нет! Важно *качество человека:* его политическая ценность и его политическое воление; и не важно его происхождение, его профессия, его классовая и партийная принадлежность. Важна его *нравственная и умственная мощь*, а не его предки; важна его верность родине, существенно направление его воли, а не его партийный билет. Партийность (всякая партийность!) не удостоверяет качество человека, а только подменяет его заслоном его. А качество человека — первое всего и драгоценнее всего.

Поэтому всякие выборы должны иметь в виду единую, главную и необходимую цель: *выделение качественно-лучших сынов народа* и поручение им политического дела. Глупо и слепо прельщаться демагогами, которые, прикрывшись партийным ярлыком, яростно отстаивают интерес какого-нибудь класса, сословия, национального меньшинства, территориального округа или же попросту — свой собственный!

Во-первых, потому, что государственное дело ищет единого, общего, всенародного интереса, а не частных вождельний; и демагог, разжигающий страсти именно в сторону частных вождельний, открыто свидетельствует о своей *политической негодности:* он является фальсификатором в политике; он подобен цыгану, выхваляющему подменно-поддельную лошадь; по отношению к наивному и доверчивому народу он выступает в качестве развратителя детей, строящего свое благополучие на подтасовке и лжи.

Во-вторых, потому, что самая его демагогия свидетельствует о его *качественной несостоятельности:* он разжигает страсти выдвинуться и погубить государственное дело, превращая его в лучшем случае в дело частного вождельния, а в худшем случае — в дело своей личной корысти.

Россия может спасти только выделением *лучших* людей, отстаивающих не партийный и не классовый, а всенародный интерес. На этом все должны согласиться и сосредоточиться. Это надо разъяснить самому русскому народу прежде всего. Для этого должны быть приняты все меры, как-то: освобождение народа от *всех и всяких* партий; введение *голосования по округам* с выставлением *персональных, лично всем известных кандидатов;* и, главное, выработка особого вида *конкурирующего сотрудничества* в нахождении и выдвижении *лучших* людей — сотрудничества государственного центра с избирателями. Это предложение будет обосновано и изложено в дальнейших выпусках «Наших задач».

Демократические выборы являются лишь *условно-целесообразным средством для безусловно-верной цели* (отбор лучших). Если такая цель и такое средство сталкиваются, то *условное средство должно уступить безусловно цели.* Требование, чтобы правила лучшие, относится к самому естеству, к самой идее государства; строй, при котором у власти водворятся худшие, будет жизненно обречен и рухнет рано или поздно, с большим или меньшим позором. *Всякое государство призвано быть аристократией в нашем смысле слова: и монархическое, и дикториальное, и демократическое; и можно было бы сказать с уверенностью, что если бы исторически-законные государства были бы на политической высоте, то они извлекли бы этих подлинно лучших из всех слоев населения; и тогда профессиональным революционерам нечего было бы делать на свете.*

Поэтому вопрос «всенародных выборов» (по четырехчленной формуле — всеобщее, равное, прямое и тайное избирательное право) есть вопрос *средства, а не высшей непреодолимой цели или догмы.* Это средство может в одном государстве и в одну эпоху оказаться целесообразным, а в другой стране, и в другую эпоху нецелесообразным. Ребязливо верить в это средство, как в политическую панацею. Совсем не всякий народ и не всегда способен выделить к власти лучших, при помощи таких выборов. Вопрос надо поставить иначе: *какой народ и когда, при каком размере государства, при каком уровне религиозности, нравственности, правосознания, образования и имущественного благосостояния, при какой системе выборов, в спокойные или бурные периоды жизни, — действительно разрешал эту задачу успешно? <...>*

Россия нуждается в такой системе выборов, которая дала бы ей верный способ найти и выделить своих подлинно лучших людей к власти. В этих выборах *лучших людей* не могут и не должны участвовать члены интернациональной партии, заведомые губители и палачи русского народа, «нырнувшие» коммунисты, перекрасившиеся предатели и т. д. А это значит, что выборы эти не могут быть ни *всеобщими, ни прямыми.* *Лучших* людей могут найти только те, которые не утратили чести и совести, те, которые *страдали, а не те, которые пытались страдальцев.* Иначе Россия будет опять отдана во власть *политической черни*, которая из *красной черни* перекрасится в *черную чернь*, чтобы создать новый тоталитаризм, новую каторгу и новое разложение. Избави нас Бог от этого!

Основы демократии

Всякий политический строй имеет свои жизненные основы — в душевном укладе народа, в его правосознании и в его социальном строении. Исчезают эти основы — и политический строй вырождается: сначала в зловещую карикатуру, а потом в свою прямую противоположность. Отсутствие этих основ в жизни народа означает, что этот *народ неспособен к такому политическому строю;* что этого государственного устройства *совсем не следует у него вводить,* под опасением гибельных последствий. Так нелепо предлагать монархический или аристократический строй для Швейцарии или для Соединенных Штатов; введение республики в Германии только и могло кончиться демагогической тиранией; свергнув монархию в Греции, в Югославии или в Испании — значило бы поставить эти страны на край гибели и т. д. История учит нас всему этому на каждом шагу; но доктринеры не учатся у истории, они сами думают поучать историю, подчиняя ее своим теоретическим выдумкам.

Так и демократия имеет свои жизненные основы — в духе народа, в его правосознании, в его социальном укладе. Нет этих основ, и демократия вырождается — или в охлократию (засилие черни) или в тиранию. Каковы же эти основы?

Демократия (по-русски — «народоправство») предполагает в *народе способность не только вести государственную жизнь, но именно править государством...* Для этого народу необходимо прежде всего уверенное и живое *чувство государственной ответственности:* «от того, что я делаю, как я держу себя и за что голосую, — зависит судьба моего народа, моего государства, моя собственная, моих детей и внуков: за все это я отвечаю; все это я должен делать по чести и совести». Это есть сразу чувство творческой связи между собой и государством, и чувство *предстояния* (Богу, родине и совести, чести и грядущим поколениям). Народ, лишенный чувства ответственности, не способен к *народоправству:* он поведет себя безответственно и погубит все

дело. И пока это чувство в нем не воспитано — взвалить на него бремя народоправства можно только сослепу, от доктринерства и от своей собственной безответственности.

Во-вторых, народоправство неосуществимо без *свободной лояльности* и без *элементарной честности*. Народ, не научившийся чтить закон и добровольно соблюдать его за совесть, не будет уважать ни своего государственного устройства, ни им самим изданных законов; всяческое *правонарушение окажется основной формой его жизни* и во всех делах его водворится «черный рынок». Мало этого, — этот народ окажется неспособным ни к контролю, ни к суду, ни к принудительным мерам, ни к мобилизации своей армии; ибо в основе всего этого лежит *добровольное закононаблюдение, чувство долга и неподкупность*. Но, где законы не уважаются, там особенно и непрестанно попираются *законы имущественные*: грани между «твоим и моим», между «моим и общественным», между «моим и казенным» утрачиваются; в жизнь внедряются всяческое *воровство и мошенничество, продажность и взяточничество*; люди не стыдятся уголовщины — и народоправство становится своей собственной карикатурой. Первая же война провалит его с позором.

В-третьих, народоправство требует от народа *государственно-политического кругозора, соответствующего размерам страны* и державным задачам этого народа. Малому, ни откуда неугрожаемому народу достаточно узкого политического горизонта: датчанину можно обойтись без того кругозора, который необходим англичанину; гражданин княжества Монако может не видеть далее своей колокольни; но американский «изоляционист» есть близорукая «деревенщина»; и русский калужанин, отвергающий борьбу за морские берега на том основании, что «нам калужским моря ня надо», неспособен к народоправству. Народ, не понимающий своих исторических и державных задач, создает жалкую карикатуру на демократию и погубит себя и свою культуру.

В-четвертых, народоправство требует от народной толпы известных знаний и самостоятельного мышления о *знаемом*. Есть степень народного невежества, при которой вводить демократию можно *только для того, чтобы надругаться над ней*. Народ, не знающий ни истории, ни географии своей страны, не увидит сам себя; и все его голосования будут бессмысленны. Народ, не способный самостоятельно мыслить о своей судьбе и о своем государстве, будет цепляться за подсказываемые ему фальшивые лозунги и побежит за лживыми предателями. Мировая конъюнктура есть состояние сложное — и дипломатически, и стратегически, и экономически, и национально, и религиозно. К какому народоправству способен народ, не знающий ничего верного о других народах, о их жизни, интересах, претензиях, планах и намерениях? Ни к какому? Он политически слеп и дипломатически глух; в финансовых вопросах он подобен ребенку; в делах культуры и науки он не компетентен; в делах стратегии и войны он беспомощен. Что же весит его голосование? У темного человека «право голоса» будет всегда украдено политическим жуликом...

В-пятых, народоправство осуществимо только там, где народу присуща *сила личного характера*. Что сделает со своим «голосом» человек, лишенный чувства собственного достоинства? Он продаст его повыгоднее первому же ловкому покупателю голосом.

Во что превратится избирательная кампания у народа, лишенного моральной дисциплины? В погромы, в резню, в гражданскую войну. Массы людей, отучившиеся от взаимного уважения и доверия, неспособны ни к честной организации, ни к сговору, ни к координации сил. Народ, без характера — быстро разложит «народоправство» в анархию, в войну всех против всех.

Однако, помимо этих *духовных основ* и условий демократии, есть еще социальные основы.

Во-первых, народ, потерявший *оседлость жилища, крепость семьи и уважение к труду*, становится беспочвенным и политически несостоятельным; он приближается к римскому плебсу эпохи цезаризма. Люди перестают быть политическими индивидуумами и становятся пылью, трагическим сором, несущимся по ветру. Вспомните войну алой и белой розы; перечитайте исторические драмы Шекспира; и не делайте себе иллюзий! Кто не имеет оседлого жилища, тот легко становится «ландскнехтом», ищущим себя «кондотьеры». Кто не дорожит традициями своего честного рода и своим семейным очагом, тот превращается незаметно в авантюриста. У кого отнят смысл труда, тот перестает быть гражданином. Народ, находящийся в таком состоянии, неспособен к государственному самоуправлению, к кор-

поративному строю, к демократии.

Во-вторых, участник народоправства должен иметь *волевою независимость и гражданское мужество*. Это дается не легко. Легче всего это дается человеку, *имущественно стоящему на своих ногах*: крестьянину-собственнику, людям «среднего класса», квалифицированному кадру пролетариата, богатым гражданам. Именно в этих слоях демократия и имеет свою главную опору. Обнищавший народ, опустившийся до состояния черни, быстро вырождает и погубит всякое народоправство.

Наконец, некая исторически-национальная и государственная *ткань солидарности*. Люди должны быть вращены в нее *трудом, семейственностью, правосознанием, религиозным чувством и патриотизмом*. Ею держится всякое государство, особенно же демократическое. Нет ее, нет этой незримой творческой спайки в национальное всеединство — и *корпоративное устройство государства становится неосуществимым*. Тогда надо искать спасения в государстве-учреждении, которое должно будет медленно, но упорно крепить эту *ткань солидарности и растить корпоративные навыки, т. е. демократические способности в народной массе...*

Такова основа демократии.

Обоснование свободы

Человеку подобает свобода в силу двух оснований: 1) в силу того, что он есть *живой организм*; 2) в силу того, что он есть *живой дух*.

1. Всякий живой организм (от растения до человека) есть *самостоятельное существо*, со своею внутренней, таинственной самостоятельностью и особым жизненным инстинктом. На эту инстинктивную самостоятельность можно оказывать снаружи известное влияние (например, поливкой, удобрением и прививкой у растений; кормом, усовершенствованием породы и лечением у животных; питанием, лечением, словом, духовным воспитанием у людей), но подавить, пресечь или отменить ее невозможно ничем. Организм *живет сам по своим внутренним законам*. Изучая эти законы, вползая в них и комбинируя их, можно до известной степени направлять жизнь организма, но погасить его самостоятельность можно, только прекратив его существование. В этом и состоит *естественная свобода человека*: он от природы самостоятелен, он *строит себя сам* — в здравии и в болезни, в потребностях и в отвращениях, в питании и труде, в любви и размножении. Его инстинкту присуща *внутренняя целесообразность*, которую необходимо признавать, поощрять, духовно воспитывать (дисциплина) и устраивать в свободе. Заменить эту самостоятельность *ничем*: этого нельзя достигнуть ни гипнозом, ни приказом, ни страхом. Все подобные попытки обречены на жизненную неудачу, на уродование организма, на ослабление его функций и унижение его души и духа. Коммунисты пытались это сделать: как материалисты, они приравнивали человека — машине и ставили его в положение «робота» или раба. Они отняли у него собственность, свободную хозяйственную инициативу, свободу труда и свободу предметного суждения. В ответ на это человек как бы *отвлек* свой инстинкт от *коллективного сектора жизни*, от коллективной собственности, от коллективной инициативы, от коммунистического труда и коммунистического общественного мнения. Творческий инстинкт спрятался и ушел в себя: он сосредоточился на *частном секторе жизни* и предал коммунистическое хозяйство и коммунистическую культуру на изуродование, расхищение и вырождение. Вот почему коммунистический транспорт разваливается, советские дома не стоят, коллективная земля не родит, колхозная корова не телится, а уровень коммунистического образования неудержимо падает: *у человеческого организма отняли свободную самостоятельность, и инстинкт его вышел из жизни*. В грядущей России это должно быть исправлено и восстановлено: личный творческий инстинкт человека должен быть признан, поощрен, духовно дисциплинирован и устроен в свободе. Русский человек опять получит доступ к частной собственности: он будет иметь свободу труда и свободу предметного суждения. И вся Россия быстро возродится и зацветет.

2. Но человек есть не только живой организм: он есть *живой дух*. Духу же подобает *свободы веры и любви, созерцаний, убеждений и творчества*. Дух есть живая личность, ответственная перед Богом и отвечающая за себя перед

другими людьми, — за свои верования и воззрения, за свое делание и неделание. *А ответственность предполагает свободу.* При этом надо разуть не «метафизическую свободу воли», а отсутствие общественно-политического принуждения в нашем духовном самоопределении; не отсутствие законов (уголовных, гражданских и политических), не разнуздание человека, не злоупотребление правами и преимуществами, но *законное ограждение внутренней жизни человека.*

«...»
Далее нам необходимо понять, что *любить, созерцать, исследовать и творить* человек может только по *внутреннему дару и влечению* согласно требованиям сердца, вдохновения и совести. Все это полноценно только тогда, когда свободно. Нельзя полюбить по приказу и разлюбить на основании запрета. Нельзя ждать художественного искусства от «социальных заказов», скрепленных голодом и террором. Ученый, готовый исследовать по предписанному методу и трафарету, есть не ученый, а лишенный духовного достоинства симулянт. Ибо творчество есть всегда дело свободы и предметного вдохновения.

Наконец, мы должны убедиться в том, что все *живые источники человеческого качества* — от элементарной порядочности до высших ступеней святости — суть дело свободы, т. е. ненавязанного и невынужденного другими людьми, самостоятельного приятия и осуществления. Так, чувство собственного духовного достоинства, эта воспитанная в нас христианством живая основа личности и ее служения (морального, общественного, гражданского и воинского), есть дело свободного опыта и свободного утверждения: кто сам не воспринимает в себе Божьего сына, того не исправит никакой террор. Чтобы пробудилось в человеке *чувство чести*, надо погасить в нем раба; и *совесть* есть прямое проявление *личной свободы в добре*; и *патриотизм можно пробудить и расшевелить* в людях, для того чтобы он свободно загорелся в них, но *навязать* его невозможно. И самый высший героизм, и самое чистое самоотвержение являются проявлением свободной, доброй воли.

Кто берет у людей свободу, тот *лишает их всех источников добра* в жизни. Путь к вере, к любви, к смирению и героизму, к очевидности и художественному созерцанию есть путь свободы, личного обращения к лучу Благодати. Покорность же без свободы ведет в лучшем случае к *законничеству* (к *внешней, мертвой лояльности*), но не к любви. А без свободной любви иссякает в жизни всякое благо: вера и знание, совесть и честность, правосознание и верность, искусство и хозяйственный труд, патриотизм и жертвенность. И потому государственная власть, подавляющая свободу человека, строящая все на тоталитарности и терроре, *подтачивает свои собственные силы и силы управляемого ею народа.*

И вот будущей России предстоит сделать выбор: между свободным человеком и рабом, между воспитанием народа к *свободной честности духа* и тоталитарным террором. И ныне уже ясно, что именно она выберет. Безумию левого большевизма Россия должна противопоставить не безумие правого большевизма, а *верную меру свободы*: свободу веры, искания правды, труда и собственности. Это не будет свобода разнуздания. Это не будет свобода соблазна, преступления, эксплуатации, предательства, шпионства, революции и анархии. Это будет свобода *здорового, органического инстинкта и свобода духовного опыта*, пределы коей будут указаны в законе.

Россия велика, многолюдна и многоплеменна, многоверна и многопространственна. В ней текут и струятся разные ручьи. Она никогда не была единоставным, простым народным массивом и не будет им. Она была и будет *Империей*, единством во множестве, государством пространственной и бытовой дифференциации, и в то же время органического и духовного единения. Она и впредь будет строиться не страхом, а любовью, не классовым произволом, а правом и справедливостью, не тоталитарностью, а свободой.

Идея ранга

Современное человечество утратило *чувство верного ранга*. Поэтому оно перестало верить в идею ранга вообще: поколебало ее, расшатало и попыталось погасить ее совсем: объявить всякий ранг мнимым, произвольным, незаслуживающим ни признания, ни уважения... «Все в жизни условно и относительно; кому что нравится и выгодно, то и хорошо;

кто силен, кто умеет импонировать и принуждать, тот и выше; а остальное — человеческие выдумки, с которыми давно пора покончить...» Так обстоит во *всех* вопросах ранга: в политике, в искусстве, в науке, в религии и церкви — везде. И в этом состоит самая сущность революции — *в сознательном, вызывающем, поправлении всякого ранга*, в осмеянии самой идеи ранга, а все остальное является естественным и неизбежным последствием этого.

На это сокрушилась тридцать лет тому назад наша Россия. И только позже, слишком поздно, русские люди стали понимать, что *здоровое чувство ранга* враги подрывали в них для того, чтобы *все фальсифицировать*: чтобы выдвинуть худших, чтобы вознестись бессовестных и бесчестных, чтобы создать новый социальный отбор *бесчестия, раболепства и насилия*, а когда русские люди стали это понимать, то увидели себя в ярме, увидели себя перед выбором: или *участвовать в раболепстве и бесчестии* — или *погибать в лишениях и унижениях*. Ранг был просто «отменен»: он был украден, злоупотреблен, фальсифицирован и заменен новым «антирангом».

И вот среди современного человечества есть два различных мирозерцания: *ранговое и элитарное*. Они стоят в борьбе друг с другом на всем протяжении земли и во всех областях культуры. Досмотрим в этом все до конца.

1. *Люди равенства* (эгалитаристы) не любят и не терпят превосходства: они отвергнутся от него, стараются его не замечать; они всегда готовы подвергнуть его сомнению, закритиковать, осмеять, «завдвинуть» его интригой или клеветой; или, еще хуже, фальсифицировать его, выдвигая *рекламой «своих»* обычно бездарных, тупых, криводушных, двусмысленных разлагателей, но... покорных. «Мы не терпим никакого превосходства», — говорили мне дословно умные республиканцы одного из демократических государств, — *всякому выдающемуся человеку мы сумеем затруднить и испортить жизнь, чтобы он не заносился, но если он, несмотря на это, чего-нибудь достигнет, то мы, пожалуй, поставим ему посмертный памятник...* «У нас в школе, — рассказывал профессор из другого демократического государства, — планомерно заваливают учеников необъятными фактическими сведениями и гасят у них в душах все, что связано с творческим воображением: добиваются равенства, трафаретного сходства и убивают индивидуальность». Слушая такие признания, я молча поучаю и вспоминаю Петра Верховенского (в «Бесах» Достоевского). «Не надо высших способностей! Высшие способности всегда захватывали власть и были деспотами... их изгоняют или казнят. Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалывают глаза, Шекспир побивается камнями... Рабы должны быть равны... Мы всякого гения потугим в младенчестве. Все к одному знаменателю, полное равенство...»

Так, люди равенства считают всякий духовный ранг произвольной выдумкой, посяганием или узурпацией: таков был дух первой Французской революции, объявившей, что «люди рождаются равными» и обратившейся в виде доказательства к гильотине. Согласно такому воззрению в людях *существенно сходное и одинаковое*, тогда как различное, особенное, своеобразное, тем более превосходное — несущественно. Одна советская коммунистка так и требовала во всеуслышание: «Все должны делать *только* то, что *все могут делать*» (долгой высшие способности!).

Это воззрение, исторически говоря, родится из семейных и социальных несправедливостей, из обиды, зависти «подполья» (описанного у Достоевского), безбожия и духовной слепоты, оно питается отвлеченным мышлением, отвергается от всякого несходства и презирает всякое превосходство. Оно выражает себя в «общеутвердительных суждениях» (все одинаковы, все равны, всем всего поровну!) и в «обобщающих суждениях» («никто не смеет быть лучше, выше, богаче, никому не представлять никаких преимуществ» и т. д.). Это воззрение безответственно, заносчиво, материалистично, завистливо, мстительно, безбожно, революционно и социалистично. Оно не считается с природой, вечно производящей бесконечное разнообразие, и потому оно *противоестественно*. Оно не считается и с духом, берегущим каждого человека, как единственного в своем роде и драгоценного в своем своеобразии «сына Божия», и потому противодуховно. Политически это воззрение «верует» во всеобщее равное голосование, в арифметический подсчет голосов, в «народный суверенитет» и тяготеет к *республике*.

2. *Люди, признающие значение ранга* (сторонники духа и справедливости, индивидуалисты), не верят ни в есте-

ственное равенство, ни в искусственное и насильственное уравнивание. Они считают, что все люди, сколько их ни есть, *рождаются неодинаковыми*, своеобразными и самобытными и затем, по мере своего развития и совершенствования, делаются все более самобытными и своеобразными. В этом не только нет никакой беды или опасности, но, напротив, это естественно нормально и духовно желательно. Но так как люди от природы *различны и своеобразны*, то справедливость требует, чтобы к ним относились *неодинаково*, т. е. соответственно с их свойствами, качествами, знаниями и делами. <...>

Ибо справедливость не только не предписывает равенства, но, напротив, она состоит в *предметном неравенстве*, вдоваремом всюду, где возможно.

Итак, «люди рангового воззрения» видят естественную неодинаковость ближних, ценят их духовное своеобразие и удостоверяются на каждом шагу наблюдением, умом и сердцем, что *равенства в действительности нет*, что оно только выдумывается ограниченными и завистливыми людьми и что введение его было бы несправедливо и насильственно. И если они замечают где-нибудь «сходство», то они сохраняют уверенность в том, что за этим видимым и поверхностным подобием скрывается *сушая и драгоценная неодинаковость*. Живая сущность людей не в том, что их уподобляет, а именно в том, что делает их *единственными в своем роде и незаменимыми*.

Ранговое воззрение родится, исторически говоря, из *естественного отцовства-материнства*, а духовно — из *религиозного благоверия*. Оно питается внимательным наблюдением природы, чуткой совестью, чувством справедливости, живой индивидуализирующей любовью и молитвенным созерцанием совершенства Божия. Оно выражается в осторожных и вдумчивых «частных» суждениях — то положительных (напр., «люди редко похожи друг на друга», «некоторые люди завистливы», «этот человек умнее других», а «этот честнее многих», «мне радостно преклониться перед ее добротой» или «перед его храбростью» и т. д.; отсюда культ героев!), то отрицательных (напр., «многие люди не терпят чужого превосходства», «есть люди, неспособные к политическому голосованию», «многие демагоги совсем не думают о социальной справедливости» и т. д.). Это воззрение движимо чувством ответственности и справедливости; оно способно к трезвому смирению и *умеет радоваться чужому качеству*; оно духовно, склонно к традиции и консервативности; оно естественно, органично, лояльно и религиозно. Политически оно стремится к отбору лучших людей — будь то назначением или голосованием и тяготеет к *монархии*.

О русской идее

Итак, русская идея есть идея свободно созерцающего сердца. Однако это созерцание призвано быть не только *свободным*, но и *предметным*. Ибо свобода, принципиально говоря, дается человеку не для саморазнуздания, а для *органически-творческого самооформления*, не для беспредметного блуждания и произвола, а для самостоятельного *нахождения предмета и пребывания в нем*. Только так возникает и зреет духовная культура. Именно в этом она и состоит.

Вся жизнь русского народа могла бы быть выражена и изображена так: *свободно созерцающее сердце искало и находило свой верный и достойный Предмет*. По-своему находило его сердце юродивого, по-своему — сердце странника и паломника; по-своему предавалось религиозному предметовидению русское отшельничество и старчество; по-своему держалось за священные традиции Православия русское старообрядчество; по-своему, совершенно по-особому вынашивала свои славные традиции русская армия; по-своему же вынашивало русское боярство традиции русской православно-государственности; по-своему утверждали свое предметное видение те русские праведники, которыми держалась русская земля и облики коих художественно показал Н. С. Лесков. Вся история русских войн есть история самострашенного предметного служения Богу, Царю и Отечеству; а, напр., русское казачество сначала искало свободы, а потом уже научилось предметному государственному патриотизму. Россия всегда строилась духом *свободы и предметности* и всегда шаталась и распадалась, как только этот дух ослабевал, как только свобода извращалась в произвол

и посягание, в самодурство и насилие, как только созерцающее сердце русского человека прилеплялось к беспредметным или противопредметным содержаниям...

Такова русская идея: *свободно и предметно созерцающая любовь и определяющаяся этим жизнь и культура*. Там, где русский человек жил и творил из этого акта, он духовно осуществлял свое национальное своеобразие и производил свои лучшие создания — во всем: в праве и в государстве, в одинокой молитве и в общественной организации, в искусстве и в науке, в хозяйстве и в семейном быту, в церковном алтаре и на царском престоле. Божие дары — история и природа — сделали русского человека именно таким. В этом нет его заслуги, но этим определяется его *драгоценная самобытность в сонме других народов*. Этим определяется и задача русского народа: *быть таким со всей возможной полнотой и творческой силой, блюсти свою духовную природу, не соблазняться чужими укладами, не искажать своего духовного лица искусственно переживаемыми чертами и творить свою жизнь и культуру именно этим духовным актом*.

Исходя из русского уклада души, нам следует помнить одно и заботиться об одном: как бы нам наполнить данное нам свободное и любовное созерцание настоящим предметным содержанием; как бы нам верно воспринять и выразить Божественное по-своему; как бы нам петь Божьи песни и растить на наших полях Божьи цветы... Мы призваны не заимствовать у других народов, а творить свое по-своему: но так, чтобы это *наше и по-нашему созданное* было на самом деле *верно и прекрасно*, т. е. Предметно.

Итак, мы не призваны заимствовать духовную культуру у других народов или подражать им. Мы призваны творить свое и по-своему — русское по-русски.

У других народов был издревле другой характер и другой творческий уклад: свой особый — у иудеев, свой особый — у греков, особый у римлян, иной у германцев, иной у галлов, иной у англичан. У них другая вера, другая «кровь в жилах», другая наследственность, другая природа, другая история. У них свои достоинства и свои недостатки. Кто из нас захочет заимствовать их недостатки? Никто. А достоинства нам даны и заданы наши собственные. И когда мы сумеем преодолеть свои национальные недостатки — совестью, молитвой, трудом и воспитанием, — тогда наши достоинства расцветут так, что о чужих никто из нас не захочет и помышлять.

Так, например, все попытки заимствовать у католиков их волевою и умственную культуру были бы для нас безнадежны. Их культура выросла исторически из преобладания воли над сердцем, анализа над созерцанием, рассудка во всей его практической трезвости над совестью, власти и принуждения над свободой. Как же мы могли бы заимствовать у них эту культуру, если у нас соотношение этих сил является обратным? Ведь нам пришлось бы погасить в себе силы сердца, созерцания, совести и свободы или, во всяком случае, отказаться от их преобладания. И неужели есть наивные люди, воображающие, что мы могли бы достигнуть этого, заглушив в себе славянство, искоренив в себе вековечное воздействие нашей природы и истории, подавив в себе наше органическое свободолобие, извергнув из себя естественную православность души и непосредственную искренность духа? И для чего? Для того чтобы искусственно привить себе чуждый нам дух, пропитывающий католическую культуру, и далее — дух римского права, дух умственного и волевого формализма и, наконец, дух мировой власти, столь характерный для католиков?... А в сущности говоря, для того чтобы *отказаться от собственной, исторически и религиозно заданной нам культуры духа, воли и ума*, ибо нам не предстоит в будущем пребывать исключительно в жизни сердца, созерцания и свободы и обходиться без воли, без мысли, без жизненной формы, без дисциплины и без организации. Напротив, нам предстоит вырастить из свободного сердечного созерцания свою особую, новую, русскую культуру воли, мысли и организации. Россия не есть пустоеместилище, в которое можно механически, по произволу, вложить все, что угодно, не считаясь с законами ее духовного организма. Россия есть живая духовная система, со своими историческими дарами и заданиями. Мало того, за ней стоит некий божественный исторический замысел, от которого мы не смеем отказываться и от которого нам и не удалось бы отречься, если бы мы даже того и захотели... И все это выговаривается *русской идеей*.

Эта русская идея *созерцающей любви и свободной предметности* сама по себе не сулит и не осуждает инородные

культуры. Она только не предпочитает их и не меняет их себе в закон. Каждый народ творит то, что он может, исходя из того, что ему дано. Но плох тот народ, который не видит того, что дано именно ему, и потому ходит побираясь под чужими окнами. Россия имеет свои духовно-исторические дары и призвана творить свою особую духовную культуру: культуру сердца, созерцания, свободы и предметности. Нет единой общеобязательной «западной культуры», перед которой все остальное — «темнота» или «варварство». Запад нам не указ и не тюрьма. Его культура не есть идеал совершенства. Строем его духовного акта (или вернее — его духовных актов) может быть и соответствует его способностям и его потребностям, но нашим силам, нашим заданиям, нашему историческому призванию и душевному укладу оно не соответствует и не удостоверяет. И нам незачем гнаться за ним и делать себе из него образец. У Запада свои заблуждения, недуги, слабости и опасности. Нам нет спасения в западничестве. У нас свои пути и свои задачи. И в этом — смысл русской идеи.

Однако это не гордость и не самопревознесение. Ибо, желая идти своими путями, мы отнюдь не утверждаем, будто мы ушли на этих путях очень далеко или будто мы всех опередили. Подобно этому мы совсем не утверждаем, будто все, что в России происходит и создается, — совершенно, будто русский характер не имеет своих недостатков, будто наша культура свободна от заблуждений, опасностей, недугов и соблазнов. В действительности мы утверждаем иное: хороши мы в данный момент нашей истории или плохи, мы призваны и обязаны идти своим путем — очищать свое сердце, укреплять свое созерцание, осуществлять свою свободу и воспитывать себя к предметности. Как бы ни были велики наши исторические несчастья и крушения, мы призваны самостоятельно быть, а не ползать перед другими; творить, а не заимствовать; обращаться к Богу, а не подражать соседям; искать русского видения, русских содержания и русской формы, а не ходить в кусочки, собирая на мнимую бедность. Мы Западу не ученики и не учителя. Мы ученики Богу и учителя себе самим. Перед нами задача: творить русскую самостоятельную духовную культуру из русского сердца, русским созерцанием, в русской свободе, раскрывая русскую предметность. И в этом — смысл русской идеи.

О предметности и продажности

Если бы надо было выразить и закрепить одним словом сущность современной мировой смуты, то я произнес бы слово *продажность*. Чем больше эта смута углубляется и укореняется, тем более люди отвыкают от служения и тем чаще и беззащитнее они помышляют о добыче. Раз заразившись этим, человек постепенно привыкает сосредоточиваться не на Деле и не на Предмете, а интересоваться своей личной «пользой», своим материальным прибытком или иным лично-житейским выигрышем. Важнейшим вопросом его жизни становится свой успех, свое «приращение», свое преуспеяние. Иногда он прикрывает эту свою заботу, главную заботу своего существования, — словами о «классовом интересе», или о «партийном успехе», или «удачных делах»; есть и соответствующие доктрины, начиная от «экономического материализма» (самое важное это обладание орудиями производства и классовый интерес пролетариата) и кончая «меркантилизмом» (самое важное это выгодная конъюнктура и торговое процветание страны). Но доктрина является для большинства ненужной роскошью или бременем: это большинство не теоретизирует, а просто «практикует», спрашивая про себя «а какая мне от этого польза?»...

Чем бы человек ни занимался, что бы он ни делал, где бы ни служил — он руководится своими внутренними мотивами и не может сознавать ту цель, ради которой он делает свое дело. И вот, во всяком благом деле есть некоторое высшее, сверхличное задание, предметная цель, придающая высший смысл всему тому, что Пушкин обозначал словами: «жизни мышья беготня», и указующая человеку, что и как надлежит ему делать. Это и есть то Дело, которым воистину стоит жить, за которое стоит бороться даже до смерти и за которое стоит и умереть. Человек, проникающийся этим смыслом, работающий во имя этого Дела, чувствует себя *предстоящим, ответственным, включившимся и включенным в некий предметный «кадр» и «фронт»*. То, что он делает, оказывается уже не служ-

бой, а служением. Он носит в своем сердце идею и знает; что такое идейный пафос, т. е. вдохновение, подьемлющее личные силы и расширяющие личные возможности. Он сразу поймет, если мы скажем, что служение *окрыляет его*; или если мы вспомним восклицание Суворова: «господа офицеры, какой восторг!»... В устах Суворова это слово «восторг» отнюдь не было ни преувеличением, ни аффектацией: оно точно выражало то самое, что он разумел и переживал сам и что он хотел передать другим... — *окрыленный подъем души, созерцающей совершенство*. То, что составляет самую сущность Христианства.

Напрасно думать, что «совершенство» есть пустое слово, что оно неосуществимо в земной жизни и свидетельствует лишь о наивности человека, который его произносит и принимает всерьез. «Что там говорить о совершенстве? Все мы люди слабые, грешные, страстные и уже по одному этому удобопревратные ко злу... Совершенных людей нет, не было и не бывает. А кто мнит себя совершенным, тот впадал в соблазн гордости и самопревознесения»... Такие речи не раз случалось слышать в Западной Европе и притом именно из уст *исославного духовенства*. И каждый раз я удивленно спрашивал наставлявшего меня пастора: «зачем же сказано в Евангелии — будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный?» (Мф. 5. 48, срв. Луки 6. 35—36). И каждый раз за этим следовала растерянная пауза.

Мой возражатель явно не разумел чего-то главного и глубокого, а именно: полнота совершенства, конечно, доступна единому Господу; *но воля к совершенству*, но требование «самого лучшего» от самого себя, — в каждый отдельный миг своего служения, — есть то самое драгоценное Евангельское солнце, которое было оставлено нам Сыном Божиим и от лучей которого человеческая совесть обновилась и стала *христианской совестью*. Конечно так: совершенных людей нет, не было и не бывает. Но *совестная воля* неустанно зовет человека к *исканию, обретению и осуществлению* самого лучшего, совершенного душевного строя и доступно-наилучшего исхода из каждого жизненного положения. Она зовет к тому, чтобы увидеть высший смысл своей жизни; чтобы найти себе сверхличное задание, свою предметную цель; чтобы преобразить «дела» в «Дело» и «службу» в *Служение*; чтобы всегда чувствовать себя ответственным и предстоящим, включившимся и включенным в духовно-предметный «кадр» и «фронт»; чтобы приобщиться счастью *идейного пафоса* и тому окрыленному подъему души, которой дается ей именно от созерцания совершенства.

Это означает, что *религиозность* человека отнюдь не кончается вместе с воскресным богослужением, а развертывается в жизни и захватывает всю его деятельность. И, первое, что она делает — она обновляет *внутренние мотивы*, т. е. движущие силы его жизни. Она противопоставляет *психологию предметного служения* — *психологии личного успеха и добычи*. Она делает человека *непродажным, но целостно-предметным*.

Под продажностью и подкупностью совсем не следует разуметь *измену идее за деньги*. Такая измена есть лишь наиболее грубая форма продажности: человек забывает о служении и кривит душой за личный денежный прибыль. Это то, что называется «взяткой» или «поборами» на службе, а в Западной Европе и Америке «коррупцией», о которой с доказательствами в руках так часто и прямо говорил недавно в своих речах новый президент Эйзенхауэр. Человек имеет известные публично-правовые полномочия и обязанности; и вместо того, чтобы править долг службы — или, как говорили на Руси в старину «дело Царево вести честно и грозно», — он поступает так, как ему в данный момент *выгоднее*. Бесчисленные русские пословицы, — острые и верные, — не устают клеймить продажных воевод, судей, подъячих и дьяков. За злоупотребления, вымогательства, поборы и взятки Петр Великий учил своих ближайших вельмож — дубинкой, сохранившейся и до наших дней (в царском Петровском дворце). Но в России это было остатком или пережитком эпохи обще-государственных затруднений (бесконечные оборонительные войны!), когда казна не могла платить надлежащее жалование и прибегала к «системе кормления». Медленно изживалась эта порочная установка; медленно, но верно. Уже к началу XX-го века дореволюционная Россия не знала взятки — ни в суде, ни в управлении, ни тем более в дипломатии или в школе (единичные случаи порочности были исключением). И иностранцы совершенно напрасно рассказывают друг другу о том, что «в России все продажно».

Но теперь... Теперь, когда мы пережили революцию

в России, с ее стихией своекорыстного предательства и чуть не повальной продажности; когда мы видели, как революционная смута разливалась по всему миру; когда по нашей жизни прокатился каток правого тоталитаризма, а потом еще более тяжелый и страшный каток второй мировой войны,— мы должны понять и выговорить, что *жажда личной добычи таится во всех народах, и в низах, и в верхах*; что болезнь продолжает распространяться по свету, как сущая эпидемия; и что «личной добычей», привлекающей, разлагающей и развращающей, является не только золото и «валюта», но и *личный успех, личная карьера, всяческое политическое и журнальное «выдвижение», почет, власть и закулисное влияние*. Словом,— все то, что поднимает человека над толпой, давая ему возможность «фигурировать», возноситься и наслаждаться. За все это современный человек готов забыть свою умолкнувшую совесть, порвать со своим духовным достоинством и со своей честью, выдать врагам государственную тайну, получить в качестве дипломата двойное и тройное жалование от других держав, бесчестно клеветать и демагогировать на выборах и всячески,— изобретательно, бесстыдно и ненасытно,— пользоваться «выгодной конъюнктурой». И все это в то время, когда в мире появился *назойливый покупатель продажных людей* с неистощимым кошельком. Современный человек перестал верить в Бога и именно поэтому так легко и так охотно продает свою душу дьяволу.

Современная смута превращается в своего рода эпидемию прежде всего и больше всего потому, что современное человечество *утрачивает религиозное понимание жизни и религиозное отношение к ней*. Оно не чувствует духовности и не ищет ее. Оно не видит Бога и не измеряет себя Его лучами. Поэтому оно теряет чувство собственного духовного достоинства, совесть, честь и вообще все высшее и духовно-божественное измерение жизни. Оно разучается отличать добро от зла и честное от бесчестного. Современный человек все более впадает в «аутизм» (от греческого слова «аутос» — сам), т. е. в «само-культивирование»: ему важно и драгоценно только собственное вожделение, удовольствие, преуспеяние. Он живет в двух измерениях: *инстинкта и самосознания*; третье измерение,— *главное, духовное, религиозное*, — перестает для него существовать. Для него *все есть товар*, который надо успешно обменять на житейский успех. Отсюда его продажность. Отсюда же все эти современные типы: ловчащие господчики, скользкие нырялы, перевертни, приспособляющиеся хамелионы, бессовестные журналисты, продажные ученые, политики «без хребта», политики беззастенчивого напора, партийные интриганы, шпионы и доносчики... Он всегда там, где выгоднее; развивает то воззрение, которого требует его деньгодатель или устроитель его карьеры; он готов говорить «за хорошего коммуниста», через год проповедывать «христианское движение», через два года наяться в национал-социалисты, через три года работать в союзнической разведке, и, кто знает, далеко ли ему еще до участия в черной мессе или до тайного инославного ордена.

При этом надо еще иметь в виду «благоприятствующие» условия нашей эпохи. Чем тяжелее жизнь, чем хуже и ниже *уровень питания и жилища*, тем труднее человеку блюсти честь и совесть, тем навязчивее становятся жизненные «компромиссы», тем незаметнее для самого себя человек преступает грань продажности. И еще: чем трусливее человек, чем он *жаднее и честлюбивее*, тем легче ему переступить эту грань бесчестия и предательства. А тут еще эта дразнящая техника, этот заманчивый комфорт, эта повышенная нервность, жаждающая развлечений, острых ощущений, неизведанных удовольствий. К этому присоединяется — *безработица*, грозящая всем и настигающая столь многих, и не только в силу экономических кризисов и беженства, но прежде всего в силу *перенаселения* во многих странах и государствах. И в довершение — *соблазны и угрозы тоталитаризма*, то левого, то правого; оба одинаково требуют *недумавшей и не чувствующей покорности и готовности на любое предписанное злодейство*; оба обещают и лгут; оба соблазняют и обманывают; оба грозят и приводят свои угрозы в исполнение.

В результате миром завладевает *эпидемия продажности*. На наших глазах люди, мы считали идейными и стойкими, начинают политически двурушничать, приспособляться из-за денег и фигурирования, придумывать двусмысленные лозунги и всячески затуманивать черту, отделяющую добро от зла и верность от предательства.

А между тем *национальной России необходимо совсем, совсем иное!* И правы, тысячу раз правы те, которые пред-

почитают скучную жизнь и молчаливое одиночество — крик души и продажности: ибо в них, именно в их предметном, неподкупном стоянии живет и готовится грядущая Россия...

Что нам делать?

Глубокоуважаемый Николай Викторович!*

Вы просили меня, чтобы я написал для Вашего журнала «о себе самом». Я понимаю это так, что мне следует формулировать для Ваших читателей мои жизненные *воззрения и убеждения*. Я делаю это с радостью. И при этом исхожу из вопроса: *что нам делать?* — нам, русским людям, верным России и ищущим путей к ее возрождению...

И вот, с самого начала нам надо признать, что кризис, приведший Россию к порабощению, унижению, мучничеству и вымиранию, был в основе своей не просто политический и не только хозяйственный, а *духовный*. Трудности хозяйственные и политические могут возникнуть и накопиться ведь и могут обрушиться на каждое государство... Но каждому народу даются духовные силы именно для того, чтобы преодолевать эти трудности и творчески справляться с ними, не впадая в разложение и не отдавая себя на соблазн и растерение силам зла... Но в роковые годы 1-ой мировой войны (1914—1918) русские народные массы не нашли в себе этих необходимых духовных сил: эти силы нашлись у героического меньшинства русских людей; а разложившееся большинство, — ибо за вычетом пассивно-нейтральных «хоронок» это было, по-видимому, большинство, — соблазнилось о вере, о родине, о верности, о чести и о совести, пошло за соблазнительями, помогло им задавить и выбросить за рубеж верных и стойких, а само было поработано на десятки лет своими соблазнительями.

Политические и экономические *причины*, приведшие к этой катастрофе, бесспорны. Но *сущность* ее гораздо глубже политики и экономики: она *духовна*.

Это есть кризис русской религиозности. Кризис русского правосознания. Кризис русской военной верности и стойкости. Кризис русской чести и совести. Кризис русского национального характера. Кризис русской семьи. Великий и глубокий кризис всей русской культуры.

Я глубоко и непоколебимо верю, что русский народ справится с этим кризисом, восстановит и возродит свои духовные силы и возобновит свою славную национальную историю. Но для этого ему необходимо прежде всего *свободное дыхание* воли и разума; — и честные, верные слова *диагноза, цели и прогноза*. А это дыхание отнято у него в России — уже тридцать лет. Оно имеется только у нас, за рубежом, и то далеко не у всех и не целое. Отсюда наша величайшая ответственность перед Россией.

Мы не должны, мы не смеем упрощать и снижать проблему нашего национального возрождения. Мы должны честно, как перед лицом Божиим, исследовать наши слабости, наши раны, наши упущения; признать их, и приступить к *внутреннему очищению и исцелению*. Мы не смеем предаваться церковным раздорам, партийным распрям, организационным интригам и личному честолюбию. Мы должны *строить себя заново*: внутренне, духовно; готовить те верные слова и те оздоравливающие идеи, которые мы высказываем нашим братьям в России, в глубокой уверенности, что мы и там найдем наших единомышленников, втайне все время промышлявших и радевших о России, о ее очищении и восстановлении.

После того, что произошло в России, мы, русские люди, не имеем никакого основания гордиться тем, что мы ни в чем не передумали и ничему не научились, что мы остались верны нашим доктринам и заблуждениям, прикрывшим просто наше недомыслие и наши слабости. России не нужны партийные трафареты! Ей не нужно слепое западничество! Ее не спасет славянофильское самодовольство! России нужны *свободные умы, зоркие люди и новые, религиозно укорененные творческие идеи*. И в этом порядке нам придется пересматривать и обновлять *все основы нашей культуры*.

Мы должны заново спросить себя, что такое *религиозная вера*? Ибо вера цельна, она строит и ведет жизнь; а нашу жизнь она не строила и не вела. Мы во кресте крестились, но во Христа не облекались. Наша вера была заглушена страстями; она была разведена и подорвана рассудком, который

* См. в примечании.

наша интеллигенция принимала за *Разум*. Поэтому мы должны спросить себя, что такое Разум и как добывается его *Очевидность*. Это очевидность разума не может быть добыта без *сердечного созерцания*. Им-то Россия и строилась больше всего: из него исходила (в отличие от католичества и протестантства) Православная вера; на нем покоилось в России верное правосознание и военная доблесть; им было проникнуто все русское искусство; им вдохновлялась ее медицина, ее благотворительность, ее чувство справедливости, ее многонародное братство.

И вот, *созерцающая любовь* должна быть вновь оправдана после эпохи ненависти и страха и вновь положена в основу обновляющейся русской культуры. Она призвана возжечь пламя русской веры и верности; возродить русскую народную школу; восстановить русский суд, скорый, правый и милостивый, и переродить русскую систему наказаний; она призвана перевоспитать в России ее администрацию и ее бюрократию; вернуть русскую армию к ее суворовским основам; обновить русскую историческую науку в традициях Забелина; открыть и оплодотворить всю русскую академическую работу и очистить русское искусство от советчины и от модернизма. И главное: **ВОСПИТАТЬ В НАРОДЕ НОВЫЙ РУССКИЙ ДУХОВНЫЙ ХАРАКТЕР.**

Подготовка это духовное возрождение в наших исследованиях, мы должны поставить перед собой и разрешить ряд вопросов глубокого, последнего измерения.

Почему так необходима и драгоценна человеку духовная свобода? Почему так важно воспитать в человеке самостоятельную и ответственную духовную личность? В чем сущность верного характера и как возродить его в русских людях? Что такое христианская совесть и как осуществляется совестный акт? Почему надо беречь и держать в чистоте семейную жизнь? Как найти духовные основы и духовные пределы патриотизма и национализма? Чего требует справедливость — равенства или неравенства? Каковы суть аксиомы правосознания, нарушение которых разложит всякий режим и погубит всякое государство? Каковы суть необходимые аксиомы демократии, без коих ее нелепо вводить и бессмысленно поддерживать? В чем основы монархической власти, отсутствие которых погубит всякую монархию? Каковы суть аксиомы и задачи академического преподавания? Почему оно требует свободы для профессоров и самостоятельности от студентов? В чем состоит истинная свобода художника? В чем состоит художественность искусства? Почему ни одна отрасль духовной деятельности не терпит ни продажности, ни лести, ни личной, партийной и всякой иной закулисной протекции? В чем сущность здорового хозяйственного акта? Почему он требует свободной инициативы, частной собственности и братской щедрости? В чем состоит воочию обнаружившаяся антисоциальность социализма? В чем состоит противостоимость всякого тоталитаризма, все равно левого или правого? В чем различие между авторитарным строем и тоталитарным? Почему Россия выросла политически и духовно в авторитарном строе и стала мировой раной при тоталитарном порабощении?

Ясно: вся духовная культура, во всех своих священных основах требует от нас исследования и новых национально-русских ответов... И нашему народу предстоит встать из своего долгого унижения: покаяться в своих соблазнах и в своем падении, неизмеримо величайшем, чем то, о котором взывал некогда Хомяков; вновь утвердить свой национальный духовный лик и заткать новую ткань новой жизни. Это будет делом нескольких поколений; но оно будет осуществлено и достигнуто.

А теперь позвольте мне сказать два слова о себе лично.

На протяжении всей моей жизни, с тех пор как я приступил к самостоятельным научным исследованиям, я работал именно в этом направлении. Ибо я понял политические опасности России еще во время первой революции; я увидел соблазнительность новой русской поэзии и новой русской публицистики в годы, предшествовавшие первой мировой войне; и пережил крушение России кровью сердца и пять лет изучал большевизм на месте. И в советских тюрьмах давал себе клятву идти безоглядно по пути этих исследований.

Но я торопился писать и печатать мои книги. Так, мое исследование «О сущности правосознания» закончено в 1919 году, читанное в виде кусков лекций в московских высших учебных заведениях, обсужденное не раз в заседаниях московского юридического общества и в частных собраниях московской доцентуры и профессуры, доселе еще не увидело света. Я давал моим трудам спокойно вызреть в течение десятилетий. У меня есть темы, вынашивающиеся по три-

дцать лет («Учение о духовном характере», «Аксиомы религиозного опыта») и по сорок лет («Учение об очевидности», «Монархия и республика»). Я возвращался к каждой теме по многу раз, через пять-шесть лет, и все время накапливал материалы; потом садился писать, записывал все, что было зрело, и снова откладывал. Теперь мне 65 лет, я подвожу итоги и пишу книгу за книгой. Часть их я напечатал уже по-немецки, но с тем, чтобы претворить написанное по-русски. Ныне пишу *только* по-русски. Пишу и откладываю одну книгу за другой, и даю их читать моим друзьям и единомышленникам. Эмиграция этими исканиями не интересуется, а русских издателей у меня нет. И мое единственное утешение вот в чем: если мои книги нужны России, то Господь уберет их от гибели; а если они не нужны ни Богу, ни России, то они не нужны и мне самому. Ибо я живу *только* для России.

Примечания

Публикация избранных статей И. А. Ильина, составивших в свое время духотомник «Наших задач», представляет читателю совершенно особую часть философского наследия «русского ренессанса».

В связи с тем, что мы публикуем только одиннадцать статей из этого духотомника и с небольшими сокращениями, хочется предостеречь читателя от некоторых идеологических стереотипов нашего времени.

Не стоит забывать, что философ рассматривает русскую народность и русское государство как единство многообразия, находя в этом как положительные, так и отрицательные начала. Утверждает национальное как духовное всеединство, основанное на христианских заповедях, при этом — не абстрактного, а «волевого противления» национал-социалистскому и тоталитарному злу, т. е. фашизму в любых его проявлениях (в сборнике есть разделы, целиком этому посвященные). Также стоит обратить внимание и на то, что статьи эти выходили в свет с 1948 года по 1954 год.

Редакция не во всем может согласиться с автором «Наших задач», особенно это касается перспектив развития нашей страны и нашего общества. Но мы преследуем одну лишь цель — возвращение философского наследия со всеми его идейными и морально-этическими противоречиями. Недаром в предисловии к «Нашим задачам» было записано, что статьи эти рассчитаны на читателя, умеющего «самостоятельно наблюдать и мыслить», способного к «собственным воззрениям и независимым убеждениям».

Печатается по изданию: Профессор И. А. Ильин. Наши задачи. Статьи 1948—1954 гг. Париж, 1956.

Статья «Что нам делать?» была напечатана в 16-м сборнике «День русского ребенка» (С.-Франциско, апрель 1954 г.) в виде письма на имя редактора сборника Николая Викторовича Борзова. У нас — по тексту парижского издания 1956 года.

Подготовка публикации и примечания Геннадия ЗВЕРЕВА.

Дорогие читатели!

В последних номерах этого года наш журнал опубликует следующие произведения.

№ 9

Владимир МАКСИМОВ. Главы из романа о судьбе адмирала Колчака «Заглянуть в бездну».

Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ. Сказки для взрослых.

Феликс КРИВИН. В местечке Парижé.

Последнее интервью Давида САМОЙЛОВА и его неопубликованные стихи.

Рассказ об аресте патриарха Тихона.

Дебют: Михаил РЕЗИН. Бегство талой воды. Повесть.

№ 10

Целиком посвящен гражданской войне в России (М. ВОЛОШИН, В. КОРСАК, Л. ТРОЦКИЙ, И. ШМЕЛЕВ и другие).

№ 11

Фридрих ГОРЕНШТЕЙН. Испупление. Повесть. Лев РАЗГОН. Рассказ.

Дебют: Александр ЛАВРИН. На земле живых. Повесть.

№ 12

Целиком посвящен литературе русского зарубежья (А. ГЛАДИЛИН, А. ЗИНОВЬЕВ, Э. ЛИМОНОВ, В. ПЕРЕЛЬМАН, Г. СВИРСКИЙ, В. СОЛОВЬЕВ и другие).

Предисловие
автора

Лев
ТИМОФЕЕВ

Я — ОСОБО ОПАСНЫЙ
ПРЕСТУПНИК

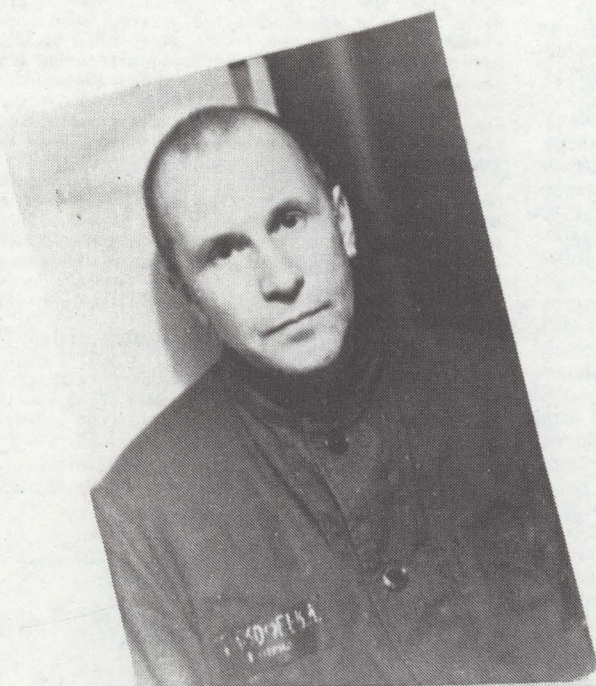


Рисунок Сони Тимофеевой.
Фото А. Бородаевского.

Почему мне удалось сделать эту книгу? Не знаю. Не понимаю. До сих пор никогда никто из осужденных по 70-й статье (за «антисоветскую агитацию и пропаганду») не имел возможности опубликовать свое «дело» так полно, как это дано мне. Кем дано? Не знаю.

Обычно тома подобных «уголовных дел» лежат где-то в секретных архивах Комитета государственной безопасности, и никогда никто из бывших политзаключенных не получал к ним доступа. И я то не чаял когда-нибудь увидеть свое «дело», думал, в лучшем случае внуки прочтут, прочтут и поймут наше время и нас самих, а скорее и вовсе будут эти документы заблаговременно уничтожены. И поэтому, когда вскоре после освобождения из лагеря я пришел в Мосгорсуд и написал заявление с просьбой ознакомить меня с моим «уголовным делом», я действовал совсем без простодушных надежд. Я совершенно сознательно ждал отказа. Мне важны были мотивы, по которым откажут. Я хотел начать «Дело об истребовании «Дела»». И вдруг: «Можно, приходите — читать будете здесь, в Мосгорсуде...» Это было едва ли не самое большое потрясение в жизни. Даже освобождение из лагеря меня не так удивило.

Что нужно увидеть за этим? Попытку соблюдения законности? Или просто где-то что-то в механизме сломалось, что-то заклинило, какая-то шестерня не туда заскочила? Время покажет... Но мне было дано, и я не имею права этим не воспользоваться...

Журнальный вариант. Некоторые документы публикуются в сокращении. Полностью опубликовано в книге «Моление о чаше», изд. «La Presse Libre», Париж, 1989 г. За эту книгу автору была присуждена парижская премия имени Владимира Даля 1988 года. В издательстве «Вся Москва» в ближайшее время выходит книга Л. Тимофеева «Я — особо опасный преступник», которая включает в себя как раз те работы автора, за которые он был привлечен к «уголовной ответственности» в 1985 году.

Герб СССР
Комитет Государственной безопасности СССР
Управление
16.03.1985 № 5/10—138

Начальнику Следственного отдела
Комитета государственной безопасности СССР
генерал-лейтенанту юстиции
т. Волкову А. Ф.

В отношении Тимофеева Л. М.

В 1980—1984 годах на Западе получили широкое распространение антисоветские сочинения Льва Тимофеева «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать», «Ловушка», «Последняя надежда выжить», содержащие клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй. Они опубликованы в журналах «Грани», «Русское возрождение», «Время и мы» и неоднократно передавались радиовещательными станциями «Свобода», «Голос Америки».

В ходе розыскных мероприятий установлено, что автором указанных материалов является Тимофеев Лев Михайлович, 1936 года рождения, уроженец города Ленинграда, русский, гражданин СССР, беспартийный, женат, ранее не судимый, с 1980 г. член профессионального комитета литераторов при издательстве «Советский писатель», проживает в Москве (следует адрес).

Причастность Тимофеева к изготовлению названных пасквилей подтверждается материалами выдачи литературы в Центральной научной сельскохозяйственной библиотеке, где он значится как получатель документов, использованных при подготовке «Технологии черного рынка...», перечень которых опубликован в журнале «Грани» № 120 за 1981 год.

Направляя опубликованные за границей пасквили Тимофеева Льва Михайловича и другие материалы, просим Вас решить вопрос о возбуждении в отношении его уголовного дела по части 1 статьи 70 Уголовного кодекса РСФСР.

Приложение: по тексту в одном пакете.

Штамп: Следственный отдел КГБ СССР
Вход. № 4/688
18.03.85

1. Резолюция: тов. Расторгуеву В. Н. Прошу возбудить уголовное дело по ст. 70 УК РСФСР, провести расследование. Волков.

2. Резолюция: тов. Губинскому А. Г. Для исполнения указания руководства Отдела. Расторгуев. 18.03.85.

ПРОТОКОЛ задержания

19 марта 1985 года

Город Москва

...Задержание произведено ввиду наличия данных о том, что Тимофеев Л. М. на протяжении ряда лет занимается изготовлением и распространением произведений, содержащих клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй СССР, т. е. на основании, указанном в пункте 3 статьи 122 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, и по тому мотиву, что, находясь на свободе, он может препятствовать установлению истины по делу либо скрыться от органов предварительного следствия. Тимофеев подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 70 Уголовного кодекса РСФСР.

Производство задержания окончено в 12 час. 55 мин...

Замечания задержанного: Мною написано заявление об отказе участвовать в следствии, которое прошу приобщить к настоящему протоколу.
19.03.85. Тимофеев.

Задержание произвел и протокол составил: начальник группы следственного отдела КГБ СССР подполковник А. Губинский.

Подозреваемого Тимофеева Л. М. содержать в Следственном изоляторе КГБ СССР.

Начальник следственного отдела
Комитета государственной безопасности СССР
генерал-лейтенант юстиции

А. Ф. Волков

ПРОТОКОЛ допроса подозреваемого

20 марта 1985 г.

Город Москва

Прокурор отдела Прокуратуры Союза ССР старший советник юстиции Чистяков и начальник группы следственного отдела КГБ СССР подполковник Губинский в служебном кабинете отдела с соблюдением требований ст.ст. 123, 150—152 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР допросили в качестве подозреваемого: Тимофеева Льва Михайловича...

Допрос начал в 11 час. 35 мин.

Вопрос: Вам были разъяснены ваши права как подозреваемого. Вы отказались принимать участие в следствии в «какой бы то ни было форме». Поясните, в каких предусмотренных законом следственных действиях вы отказываетесь принимать участие и какими предусмотренными законом правами не намерены воспользоваться в процессе предварительного следствия?

Ответ: Я отказываюсь принимать участие во всех следственных действиях и оставляю за собой право жаловаться на действия лица, производящего дознание.

Вопрос: Когда вами была написана повесть-очерк «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать»?

Ответ: Как я уже указывал в заявлении от 19 марта с.г., сам факт литературного творчества не может быть объектом уголовного расследования, поэтому я отказываюсь участвовать в следствии.

Вопрос: Названная повесть-очерк была написана вами специально для передачи за границу и ее опубликования там или вы не ставили перед собой такой цели?

Ответ: Мне нечего добавить к своему заявлению от 19 марта с. г.

Вопрос: Как ваша повесть-очерк оказалась за границей и с вашего ли ведома (как автора) была опубликована в зарубежных антисоветских журналах «Грани» и «Русское возрождение»?

Ответ: Еще раз напоминаю о своем отказе участвовать в следствии.

Вопрос: К какому виду литературы вы относите написанную вами повесть-очерк «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать»?

Ответ: Это вопрос следствия, поэтому отвечать на вопрос отказываюсь.

Допрос производился с перерывом с 13 часов 15 минут до 15 часов 20 минут и окончен в 16 часов 20 минут.

ПРОТОКОЛ допроса обвиняемого

12 апреля 1985 г.

Город Москва

Начальник группы следственного отдела КГБ СССР подполковник Губинский допросил в качестве обвиняемого: Тимофеева Льва Михайловича...

Допрос начал в 11 часов 45 минут...

Вопрос: В начале своего эссе «Последняя надежда выжить. Размышления о советской действительности» вы пишете: «Мы живем в государстве, будущее которого туманно». Поясните, на чем основан этот ваш вывод.

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: Далее вы пишете: «Куда мы движемся? Что будет с нами через три — пять лет? Ответы на эти вопросы сегодня не знает никто, и даже руководители страны не знают». А этот сделанный вами вывод на чем основан?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: «Темпы роста советской экономики падают год от года, и ожидается, что годовой национальный доход, кото-

рый уже и теперь упал до 2%, будет и дальше сокращаться», — пишете вы в своем эссе. На основании каких данных и из каких источников полученных вы утверждаете это?*

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: У вас нет ответа на поставленный вопрос. Вы не в состоянии на него ответить?

Ответ: Моя позиция по отношению к уголовному следствию изложена в заявлении от 19 марта с. г.

Вопрос: В своем заявлении от 19 марта с. г. вы заявили, что не считаете литературное творчество уголовно наказуемым деянием. В данном случае речь идет о вашей работе, в которой вы клеветаете на внутреннюю политику Советского государства, заявляете, что «нас ждет застой и обнищание — в общегосударственном масштабе...». Кроме того, клеветнически утверждаете, что якобы в нашей стране «террор остается основным методом политического правления». Распространение же клеветнических измышлений, порочащих советский и общественный строй, путем изготовления (сочинения) литературы такого содержания является уголовно наказуемым деянием. Понятно ли вам сделанное разъяснение? Намерены ли вы отвечать на поставленные вопросы?

Ответ: Ответа не последовало.

Допрос производился с перерывом на обед с 12 часов 45 минут до 14 часов 50 минут и окончен в 16 часов 45 минут.

ПОКАЗАНИЯ ОБВИНЯЕМОГО

Мне было спокойно в следственной тюрьме. Да и в лагере потом было спокойно.

В первые часы после ареста и в первые несколько дней я очень остро чувствовал свое новое положение. Жизнь резко изменилась. Но еще более резко изменилось восприятие жизни. Конечно, я заранее знал, что меня могут арестовать, и мы с женой обсуждали такую возможность, но одно дело — болезнь, хоть болезнь и смертельная, а все надеешься, и другое дело — смерть. Впервые я понял, что значит умереть для прежней жизни. То есть слова-то эти я хорошо знал — за несколько лет до того я был крещен — и много раз читал и слышал эти слова, но умер только теперь в глухой, без окон, с пыльной решеткой вентиляционного отверстия камере, куда меня завели для предварительного обыска, медицинского осмотра и прочих процедур, предшествующих заключению в тюрьму.

Я умер и все лучше понимал это по мере того, как меня пытались допрашивать, по мере того, как меня обыскивали, отнимали металлические предметы: нательный крест, часы, авторучку, даже брюки мои отняли, найдя в них запрещенную металлическую застежку, и выдали мне обесцвеченные многими стирками серые эковские портки на веревочной завязке — впрочем, оказавшиеся очень удобными, как пижама, — я их проносил все девять месяцев пребывания в Лефортове...

Я умер. Но уже и после смерти прежняя жизнь не отпускала меня, и во сне я держал на руках своих детей, ласкал жену — так постоянно, так осязаемо, что сознание подсказывало какие-то как бы реалистические обоснования: это меня на день отпустили домой, — и пробуждение в жизнь было такой же четкой реальностью, как и реальность сна: я как бы запросто переходил из пространства в пространство.

Конечно же, я тревожился за моих близких. Я знал, что им сейчас много хуже, чем мне, а вскоре и вовсе стал интуитивно ощущать тяжелую болезнь жены (как-то в камере мне приснилось много свежего, кровавого мяса, кажется, это была человечина, как в фильме А. Германа), потом же и прямо узнал о болезни: в коридоре суда и после, на свидании, увидел жену, утратившую разум, понял, что дети будут расти и без отца, и без матери.

И при всем при том мне было спокойно и в следственной тюрьме, и потом, в лагере. Я не знаю, как это объяснить, но я всегда знал, что все, что происходит со мной и с моими близкими — все это страшное горе, — надо воспринимать как должное, как данное. И в этой данности, в этом должновании есть благо. Думаю, что для христианского сознания горе, данное как благо, не кажется ни парадоксом, ни поэтическим приемом. Это основа всему.

* Здесь и далее сохранен синтаксис подлинников.

Но тут же я хорошо понимал и свою двойственность, свою слабость: моя душа, мое нравственное чувство — это было спокойно, но постоянно возмущено было мое социальное сознание — я постоянно осознавал бессмысленность, тупое отсутствие логики, животный автоматизм в действиях тех, кто меня арестовал, мучил идиотскими вопросами на следствии, устраивал собачью комедию суда и потом сторожил, открывал и закрывал множество тяжелых замков, обыскивал по четыре раза на дню, запрещал есть или, наоборот, встать, вталкивал в камеру или выволакивал из камеры. Зачем все это? Ради чего? Неужели все только из-за того, что я позволил себе думать? Ведь никаких иных проступков я не совершал! Я только думал и мысли свои записывал на бумагу.

И когда я понимал это, признаюсь, успокаивалось и мое социальное сознание; значит, я хорошо думал, значит, я правильно думал, если все эти мерзавцы так встревожены... Но тут же тревога, возмущение возникали вновь: ну, хорошо, но ведь не из мерзавцев же только состоит мир, как же могут все эти люди, все эти писатели, артисты, деятели кино, просвещенцы и просветители, все эти блестящие писатели и говоруны — как же могут они говорить и писать, когда я вот здесь сижу за десятью замками, за пятью стенами, охраняемый двумя или тремя десятками мерзавцев, и все только за то, что я позволил себе думать! Нелепость какая-то...

И вот теперь я никогда не взялся бы за эту книгу, если бы речь шла только о горе, пережитом мной и моими близкими, — это нам дано, и нельзя жаловаться, все надо принимать с благодарностью. Но социальная бессмысленность происшедшего не дает мне спокойно жить. Нельзя казнить человека только за то, что он позволил себе думать и записал свои мысли на бумагу.

Смешно даже говорить об этом, смешно и страшно...

Но в Лефортове страшно не было. В Лефортове скоро стало спокойно и привычно: в двери камеры открывался черный квадрат кормушки, появлялось комсомольское лицо молодого надзирателя, и он указывал ключом или просто пальцем:

- Фамилия?
- Тимофеев.
- Имя, отчество?
- Лев Михайлович.
- На вызов.

На вызов — это на допрос: по металлическим, но ковровой дорожкой застеленным мосткам тюрьмы, по коридорам следственного корпуса, где в окнах простое стекло и можно успеть на ходу увидеть часть сквера, прохожих, детей, играющих в классы, и в глухой темный коридор, в кабинет следователя.

ПРОТОКОЛ допроса обвиняемого

Город Москва

16 апреля 1985 г.

(Подполковник Губинский допрашивает Тимофеева)

Допрос начал в 14 часов 40 минут.

Вопрос: В своем эссе «Последняя надежда выжить. Размышления о советской действительности» вы пишете: «...сегодня уверенно можно сказать, что осознание обществом своей оппозиции власти — важнейший социальный и духовный процесс современной России». На основании чего вы так уверенно говорите о якобы «осознании обществом своей оппозиции власти»?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: Считаете ли вы себя находящимся в «оппозиции к власти»?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: Вам в очередной раз разъясняется, что написанные вами сочинения «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать», «Ловушка», «Последняя надежда выжить. Размышления о советской действительности», содержащие клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй, используются зарубежными центрами идеологической диверсии во враждебной пропаганде против Советского Союза. Намерены ли вы, используя свое право автора, обратиться в редакции журналов и радиостанций, использующих ваши сочинения в указанных враждебных СССР целях, с тем, чтобы предот-

вратить в дальнейшем их публикации и использование в передачах и тем самым нанесение ущерба нашей стране?

Ответ: Ответ на этот вопрос, как и на всякий другой, возможен только после того, как органы КГБ прекратят преследовать меня в уголовном порядке как автора литературных произведений.

Вопрос: Назовите те литературные произведения, автором которых вы являетесь и за которые, по вашему мнению, вы необоснованно «преследуетесь в уголовном порядке»?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: О том, что ваши сочинения с клеветой на советский общественный и государственный строй используются зарубежными пропагандистскими центрами во враждебных СССР целях, свидетельствует передача радиовещательной станции «Голос Америки» от 8 сентября 1984 года. Вам оглашается выдержка из нее следующего содержания: «В трех последних номерах издающегося в Нью-Йорке журнала «Время и мы», в выпусках с 75-го по 77-й, опубликована последняя большая работа проживающего в Советском Союзе публициста Льва Тимофеева «Последняя надежда выжить. Размышления о советской действительности». В сегодняшнем выпуске программы «Религия в нашей жизни» мы познакомим вас с отрывками из эссе Тимофеева, в которых речь идет о духовной жизни современного советского общества. Другая замечательная работа Льва Тимофеева под названием «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать» была опубликована в 1980 году в ряде номеров издающегося в Соединенных Штатах квартального журнала «Русское возрождение», а затем вышла отдельным изданием в Нью-Йорке в издательстве «Товарищество зарубежных писателей». Между прочим, «Технология черного рынка» Тимофеева передается в текущих выпусках сельскохозяйственной программы «Голоса Америки». Эссе Тимофеева, опубликованное в журнале «Время и мы», — это размышление о государстве и обществе в Советском Союзе. Главный тезис этой работы: советское общество постоянно сопротивляется навязанной ему мертвящей доктрине». Что вы можете сказать по поводу приведенной вам выдержки из передачи?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: Вы отказываетесь принимать меры к предотвращению ущерба интересам Советского Союза, причиняемого западными антисоветскими центрами с использованием ваших уже упоминавшихся выше сочинений?

Ответ: Нет ответа.

Вопрос: Следует ли это понимать так, что вы умышленно в целях причинения ущерба изготовили названные сочинения и передали их на Запад для их использования антисоветскими центрами во враждебной пропаганде против Советского Союза?

Ответ: Нет ответа.

Допрос окончен в 17 часов 55 минут.

ПРОТОКОЛ допроса обвиняемого

Город Москва

18 апреля 1985 года

(Подполковник Губинский допрашивает Тимофеева)

Допрос начал в 11 часов 20 минут.

Вопрос: Вам предъявляется рукописный текст на трех листах белой стандартной бумаги, озаглавленный «Грузинские деньги и нищая Россия», начинающийся со слов: «Я — нищий... Вам, читатель, знакомо это ощущение гольной нищеты?» — и заканчивающийся словами: «Взятки? — спросите у наших медсестер. Тайна». Данный текст изъят у вас в квартире при обыске 19 марта 1985 года. Кем исполнен этот текст?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: Не являетесь ли вы автором предъявляемого вам текста?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: В этом тексте говорится: «Мое положение в обществе всегда казалось мне достаточно высоким: я специальный корреспондент центрального журнала...», далее: «И вот, дожив до сорока четырех лет и оглянувшись вокруг, я вижу, что я — нищий». Эти и другие изложенные в тексте

данные дают основание полагать, что автором данного текста являетесь вы. Так ли это?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: В том же тексте вы пишете: «Какая-то мистическая сила все более и более овладевает нашим обществом. Черный рынок, теневая экономика, темные связи. Тайна! Бесполезно искать разгадку этих тайн в выступлениях политических лидеров, в комментариях обозревателей, в публикациях экономистов и социологов — кругом завеса, туман. Какие-то темные силы играют нашей судьбой — как в кошмаре мелькают свиные рыла телеобозревателей, копытца мелких партийных секретарей, хвосты и уши профессоров экономики...» и далее: «Прочь! Понять-то нужно. И не только и даже не столько потому, что мне, нищему, хочется узнать, кто же мой век заел, сколько затем, чтобы увидеть воочию — что есть социализм?»

Уже в этих строках, судя по тексту, написанных вами в 1980 году, усматривается ваше негативное, если не сказать враждебное, отношение к существующему в нашей стране социалистическому строю. Для какого круга читателей предназначалась эта написанная вами статья под названием «Грузинские деньги и нищая Россия»?

Ответ: Нет ответа.

Вопрос: Вам предъявляется рукописный текст на десяти листах белой стандартной бумаги, исполненный красителем зеленого цвета со вставками, исполненными красителем красного цвета. Текст начинается словами: «Наташа! А вот еще: на лекцию в санаторий...» и заканчивается словами: «Я не говорю о двух десятках барменов — миллионеры, как сказал бы кавказец Гаспар». Этот текст также изъят у вас в квартире при обыске. Кем исполнен этот текст?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: Как этот текст, адресованный «Наташе», оказался у вас в квартире, не являетесь ли вы автором текста и не адресован ли он вашей жене Экслер Наталье Евгеньевне?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: В предъявленном вам тексте говорится: «Мы — страна слепоглухих. Лишь то, что доступно осязанию, составляет наши знания о мире. Мы и себя-то знаем на ощупь». Далее: «Нужно написать методику сбора материалов. Нужно сказать, в каких условиях оказывается любой задумавшийся и ищущий» и там же: «попробуйте отнять привилегии у партийной бюрократии — долго ли продержится система? Да ни единого дня! В правящей структуре никого не останется, все разбежится по артелям, да в снабженцы, да за прилавков». Чем вы можете объяснить столь разительное сходство приведенных выдержек из двух рукописных текстов, предъявленных вам, с тем, что вами написано в статьях «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать» и «Последняя надежда выжить»?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: Вам предъявляется рукописный текст на одном листе белой стандартной бумаги, исполненный красным красителем, начинающийся со слов: «Дефицит как принцип власти. Сухарики к пиву» и заканчивающийся словами: «при открытом рынке этих условий нет». Данный текст также изъят при обыске в вашей квартире. Кем он исполнен?

Ответ: Нет ответа.

Вопрос: В тексте говорится: «любая власть, для того, чтобы существовать, должна создать дефицит. Дефицит политических свобод. Дефицит выбора пути. Но для того, чтобы упрочиться, она должна этот дефицит расширить, сделать всеобъемлющим принципом. Только в условиях дефицита власть имеет возможность распределять по своему усмотрению. При открытом рынке таких условий нет». А как вы объясните совпадение этой выдержки с тем, что вами изложено в статье «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать»?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: Вам предъявляется рукописный текст на 37 страницах белой стандартной бумаги, исполненный красителем синего и красного цвета. Текст начинается словами: «Ален Безансон. Краткий трактат по советологии, предназначенный для гражданских, военных и церковных властей (1976 г. ВРХД. №№ 118, 119)» и заканчивается: «Какая все это глупость! Партия и государство живут в обществе и за счет общества и одновременно развращают его и ассимилируются им идеологически. А Безансон попался на удочку, против которой сам предостерегал — партия и государство на практике вовсе не то же самое, что принимает образ реальности

газетных передовиц и парадных докладов. И Брежнев в раз-
ных аудиториях говорит иногда противоположные по своему
смыслу вещи. И в «Соснах» нет лозунгов. Этот текст также
изъят у вас на квартире при обыске. Кем он исполнен и не
написан ли вами?

Ответ: Нет ответа.

Вопрос: В данном тексте записано: «И в «Соснах» нет лозун-
гов». В своей статье, опубликованной в антисоветском жур-
нале «Грани» № 120 в 1981 г., «Технология черного рынка,
или Крестьянское искусство голодать» вы пишете (страница
104 журнала): «Но село-то Уборы — оно отнюдь не затеря-
лось в просторах, но находится в получасе езды от столицы
и между двумя самыми привилегированными санаториями
страны, между «Соснами» и «Барвихой», а далее (страница
133 журнала): «но нету лозунгов ни в строгих коридорах
обкомов партии, ни в здании ЦК, ни в санаториях, где
отрешаются от повседневности высшие партийные чиновни-
ки».

Чем вы можете объяснить такое сходство в рукописи
и написанной вами статье?

Ответ: Нет ответа.

Вопрос: На второй странице этого рукописного текста запи-
сано: «Вообще предположение, что нет рынка — неверно.
При этом исходят из внешней видимости советской системы.
Рынок существует, но, стесненный демагогической доктри-
ной, он принимает форму черного рынка». Приведенная
выдержка текста также совпадает с изложенным в вашей
статье «Технология черного рынка, или Крестьянское
искусство голодать». Не является ли предъявленный вам
рукописный текст наброском тезисов к упомянутой статье?

Ответ: Не последовало.

Вопрос: На третьей странице той же рукописи говорится:
«да и партийная бюрократия, эти хозяева страны, лишь на
словах прикрывали рыночные отношения — т. е. отноше-
ния по поводу обмена благами — они прикрывали эти отно-
шения лишь затем, чтобы под идеологической завесой раз-
вернуть во всю ширь отношения черного рынка, то есть
такие отношения, где можно спекулировать преимуществами,
никакого отношения не имеющими к преимуществам
экономическим: преимуществом власти в первую очередь». А
это совпадение со статьей «Технология черного рынка,
или Крестьянское искусство голодать» чем вы можете объ-
яснить?

Ответ: Не последовало.

Вопрос: В связи с тем, что столь явные совпадения дают
основания считать вас автором рукописного текста, поясни-
те, где, когда и от кого вы получили журнал «Вестник
русского христианского движения», номера 118 и 119, издаю-
щийся в Париже, со статьей Безансона и кому затем их
передали?

Ответ: Не последовало.

Вопрос: Вам предъявляется рукописный текст на 19 листах
белой стандартной бумаги, исполненный красителем черного
цвета. Текст начинается со слов: «Ален Безансон. Краткий
трактат по советологии, предназначенный для гражданских,
военных и церковных властей. Вестник русского христиан-
ского движения. 1976, № 118, стр. 171—205» и заканчивает-
ся словами: «Кстати, не из Польши ли ждать главной беды
всей системе? Адрес не такой уж неожиданный». Кем испол-
нен этот текст и не являетесь ли вы его автором?

Ответ: Ответа не последовало.

Допрос производился с перерывом на обед с 12 часов 45
минут до 14 часов 40 минут и окончен в 17 часов 40 минут.

ПОКАЗАНИЯ ОБВИНЯЕМОГО

Заклоченных Лефортовской тюрьмы в шесть утра будят
надзиратели — громким стуком в дверь или криком в рас-
крытую вдруг кормушку: «Подъем! Подъем! Кончай ноче-
вать!» Но еще раньше будит далекий звук первого трамвая
и плотный непрерывный вороний крик.

Я никогда прежде не был в районе тюрьмы и теперь,
освободившись, все никак не соберусь туда съездить. Но
знаю и так — и говорили, и из коридоров следственного
корпуса видно — рядом парк. Где-то недалеко есть еще
и кладбище, на кладбище — церковь, и иногда во время
прогулки оттуда слышен мягкий звон, — и эски, вышагиваю-
щие, или бегающие, или делающие зарядку в своих тесных

прогулочных двориках, останавливаются и прислушивают-
ся, да и те, кто в судьбе своей отчаялся настолько, что даже
на прогулке перестал двигаться и сидит на лавочке потерян-
но, — и эти поднимают голову на церковный звон, прислуши-
ваются...

Но громче всего, заглушая все, звучит вороний крик.

Ворона — главная птица для заключенного. По ней
можно движение времени чувствовать: замолчали воро-
ны — значит, день к концу, скоро отбой, закричали воро-
ны — значит, вот-вот по тюремному коридору застучат
кормушки и в твоей камере кормушка со стуком откинется
и закаркает в нее надзиратель: «Подъем! Подъем! Подъем!
Подъем!»

Я в общем-то хотел говорить о том, как много птицы
значат в мире заключенного, — о воробьях, которых мы
зимой, в лютые пермские морозы, подкармливали в сле-
пенькое окошечко рабочей камеры внутрилагерного карце-
ра, о синице, которой на зоне доставалось последнее сало
из редкой и скудной эзковской посылки (посылка полагает-
ся только по прошествии половины срока, один раз в год,
пять килограммов весом — если не лишит начальство. За-
прещены в посылке: масло, колбаса, кофе-какао. Сало —
можно).

Я хотел говорить о птицах, но и здесь вот ворона, главная
птица, лезет вперед, заглушает всех других. В Лефортове
ворона — лефортовский соловей, а привезут вас в пермский
лагерь, в Кучино, и там прежде всего ворону услышите —
кучинский соловей, как будто иной гармонии эску и от
начальства не положено.

Но бывали дни, когда и ворона радовала, трогала душу —
не криком, нет, — но своим существованием, тем, что
вот она, жизнь, живая плоть.

В лагере в апреле, в марте ли — не помню точно, в апреле,
должно быть, — две вороны стали вить гнездо на высокой
березе. Вить, пожалуй, тут неточное слово: на самой верхуш-
ке голый еще березы они складывали свое гнездо, и весь
небольшой наш лагерь, пятьдесят особо опасных государ-
ственных преступников — от двадцатилетнего Финкельштер-
на, посаженного за то, что, служа в армии, закричал как-то
по пьянке своему командиру, что удерет в Израиль (восемь
лет строгого режима: три — тюрьмы и пять — лагеря, за
намерение шпионажа в пользу иностранной державы), и до
восьмидесятилетнего Бутлера, латышского крестьянина,
мобилизованного некогда немцами (десять лет лагерей через
тридцать лет после изгнания немцев), — весь наш особо
опасный лагерь три раза в сутки ходил в столовую, возле
которой росла береза, задрав головы, и следил, как продвигает-
ся воронье строительство, и обменивался впечатлениями.
Ни суда, ни следствия, ни многих лет за забором —
только птицы на березе.

Все началось с трех толстых прутьев, положенных попе-
речно, — фундамент!

Потом пошли прутья более мелкие, но видно было, что не
просто внаброс кладутся, а с толком, вскрепу — оба, и он,
и она, были хорошие строители, и кто-то видел, как они,
скача по забору, таскали с промозны тонкий провод в зеле-
ной пластиковой изоляции — обмотанное этим проводом
путье не развалит никакому урагану.

Как только гнездо было готово, они, подменяя друг
друга, принялись насиживать яйца, не слетая с гнезда даже
в самые жестокие дожди и ветры, даже и в позднюю, уже по
первым листьям, метель, вызывая этим наше эзковское
одобрение.

А вскоре береза зазеленела, гнездо скрылось из глаз —
и что там с этой семьей было дальше, трудно сказать. Но
в начале июня запрыгал по веткам соседних берез любопыт-
ный вороненок — их ли вороненок, или из соседнего переле-
ска залетел чужой, а их — через заборы в перелесок уле-
тел — кто знает? Птицы здесь свободно летают, по ним
охрана не стреляет...

Зимой же главной птицей становится сорока — она как-то
теряется летом, а зимой, на снегу, ярко видна, и видно,
какая это красивая птица, какое у нее перо с радужным
переливом... Особенно эта сорочья живописность видна то-
гда, когда долго просидишь в карцере и месяц или полтора
ничего, кроме темно-серых шершавых бетонных стен, нет
перед глазами, а выходишь — яркий снег, солнце, густая
голубая тень от барака — и сорока на заборе, подвижная,
веселая птица — и никакого ей нет дела до колючей прово-
локи, до охранника, скрючившегося от холода на своей
вышке, — и сорочьи перья переливаются на солнце. Хоро-
шо!

Герб СССР
Всесоюзная ордена Ленина
и ордена Трудового Красного Знамени
Академия сельскохозяйственных наук
имени В. И. Ленина
Центральная научная
сельскохозяйственная библиотека

Старшему следователю
следственного отдела КГБ СССР
тов. Осину Н. И.

08.04.1985 № 22

На Ваш № 19-340 от 28.03.1985

Тимофеев Л. М. пользовался Центральной научной сельскохозяйственной библиотекой ВАСХНИЛ в 1977 и 1978 гг., что установлено по регистрационной тетради.

В 1977 году имел читательский билет № 25425 в читальном зале и № 2769 на абонементе.

В 1978 году имел читательский билет № 6864 в читальном зале и № 3056 на абонементе...

По тетради регистрации читателей, пользующихся спец. фондом, установлено, что в 1977 году Тимофеев Л. М. посетил читальный зал 2 раза: 2 июня 1977 года взял 12 книг; 3 июня 1977 года взял 6 книг...

Просмотром книжных формуляров выявлены книги, которыми Тимофеев Л. М. пользовался. Список литературы прилагается (на двух листах).

Директор ЦНСХБ А. Яйкова

Замечание обвиняемого: Я не умею снять недоумение, которое возникнет у читателя, когда он сопоставит дату этого письма с датой самого первого документа дела, где говорится, что мое авторство уже тогда было вычислено с помощью материалов выдачи литературы в ЦНСХБ.

ПРОТОКОЛ допроса обвиняемого

гор. Москва.

11 мая 1985 года

(Губинский допрашивает Тимофеева)

Допрос начат в 14 часов 40 минут.

Вопрос: В процессе обыска 19 марта 1985 года у вас был обнаружен протокол Рязанского государственного педагогического института о сдаче вами 15 июня 1963 года кандидатского минимума по диалектическому и историческому материализму с оценкой «отлично». Так оценен ваш ответ экзаменационной комиссией на вопрос «исторический материализм как наука о законах развития общества». В эссе «Последняя надежда выжить. Размышления о советской действительности» марксистско-ленинскую теорию вы называете «мертвящей доктриной» и утверждаете, что «марксистская философия в принципе отказывается видеть в наших жизнях, в нашем опыте сущность истории». Это свидетельствует о том, что вы при написании эссе допускали заведомую ложь. Поясните, с какой целью вы это делали?

Ответ: Нет ответа.

Вопрос: По сообщению редакции журнала «Молодой коммунист», в 1976 году вы были приняты кандидатом в члены КПСС. Это говорит о том, что, вступая в партию, вы стояли на марксистских принципах, полностью разделяя Устав КПСС. Почему же спустя два года вы стали собирать материалы для своего пасквиля «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать», в котором возводите заведомую клевету на руководящую роль партии, ее внутреннюю политику?

Ответ: Не последовало.

Вопрос: Как видно из текста очерка «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать» и примечания к нему, опубликованного в антисоветском журнале «Грани» № 120, вы при написании этой работы использовали многочисленные источники. Вам предлагается дать показания по этому вопросу.

Ответ: Нет ответа.

Вопрос: В названном примечании вы указали, в частности, что приведенные материалы в очерке опубликованы в бро-

шюре-справке «О продаже и ценах на колхозных рынках», которую можно найти в спецхранах Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки ДСП № 3762». Из сообщения упомянутой библиотеки за № 22 от 8 апреля 1985 года следует, что в 1977—1978 годах вы пользовались книгами этой библиотеки, в их числе указанной брошюрой-справкой, а также другими изданиями, которые направлены в распоряжение следствия. Данные обстоятельства являются подтверждением вашего авторства враждебного сочинения «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать». Что вы можете показать в этой связи?

Ответ: Не последовало.

ПОКАЗАНИЯ ОБВИНЯЕМОГО:

В окна лефортовских камер вставлено не стекло, а непрозрачный, как бы покрытый морозным узором пластик — в солнечные дни в небольшой камере на троих довольно светло, и если камера на южную сторону, то заметно, как солнечное прямоугольное пятно перемещается по стене, но прямых солнечных лучей нет, самого солнца нет.

Нет его и на прогулке — стены прогулочных двориков высоки, сами дворики маленькие, с ту же камеру размером, редко чуть больше, гулять же надзиратели стремятся вывести пораньше, начинают прогулки еще до завтрака — чтобы пораньше, к обеду, «прогулять» всю тюрьму и самим пораньше освободиться и сесть играть в домино во внутреннем тюремном двореке. (И будут играть до ночи, и смеяться, и придут другие, и тоже сядут играть, и при этом станут так стучать фишками, что не дадут спать измученным обитателям тех камер, что выходят окнами во двор.)

Понятно, что утром в тюремном двореке солнце освещает только-только верхушку трехметровой стены да еще колючую проволоку, которой забрано все пространство над головой. Этот проволочный потолок в крупную колючую клетку — «небо в арифметику» — сооружение совершенно бесмысленное, поскольку на три метра все равно не подпрыгнешь, да и надзиратель ходит по мостику над головой, смотрит, но действует психологически: одного раздражает, другого давит, третьего и вовсе подавляет. Вот этой-то паучьей сети над головой и достается все утреннее солнце, о котором внизу с тоской мечтает заключенный.

Меня арестовали в марте, и первые месяцы я вообще не видел солнца. Но в начале июня установились ясные дни, прогулки случались иногда и ближе к полудню, когда солнце уже заглядывало и в глубь прогулочного дворика, и можно было скинуть рубашу и майку, и тоскующее бледное тело прямо-таки ощутимо впитывало солнечное тепло и радиацию.

Прогулка — главное событие дня.

Через пару месяцев я научился скандалить, если вызов к следователю грозил сорвать прогулку, и, бывало, добивался, что меня водили гулять и одного, если к моему возвращению с допроса сокамерники уже погуляли...

Остаток лета я провел в одной камере с весьма привилегированным узником — с сильно проворовавшимся бывшим министром из Узбекистана, и его, а значит, и нас, его сокамерников, выводили гулять поближе к полудню, — так что за лето я все же чуть загорел, и осенью в бане верхняя половина тела была чуть темнее нижней.

Говорят, солнечные лучи способствуют образованию в человеческом организме какого-то важного витамина, влияющего на целостность зубов и волос, на остроту зрения. Не знаю. Но моего тюремного загара, видно, было недостаточно: уже в декабре, когда я приехал в лагерь, у меня тут же выкрошились зубы — и один, и второй — и зрение ослабло так, что пришлось заказывать новые очки.

ПРОТОКОЛ допроса обвиняемого

гор. Москва

13 мая 1985 года

(Губинский допрашивает Тимофеева)

Допрос начат в 10 часов 15 минут.

Вопрос: В процессе сопоставительного осмотра очерка-повести «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать» с текстами использованной вами литературы при ее написании установлено, что вы, дабы придать внеш-

нюю правдивость своему клеветническому сочинению, заведомо занимались подтасовкой, фальсификацией и искажением смысла этой литературы, тенденциозно подбирали выдержки и цифры из нее, трактуя их в отрыве от основного смысла того или иного источника.

Что вы можете показать в этой связи?

Ответ: Не последовало.

Вопрос: Так, на странице 51 очерка «Технология черного рынка...», помещенного в антисоветском журнале «Грани» № 120, вы, рассматривая вопрос об оплате труда колхозников, привели из работы Г. В. Дьячкова («Общественное и личное в колхозах» (издательство «Колос», Москва, 1968 год) следующую цитату: «В 1939 году около 16 тысяч колхозов не оплачивали труд в деньгах, 46 тысяч колхозов выдавали только по две копейки на трудодень, около 9 тысяч колхозов не выдавали зерна на трудодень», из чего сделали клеветнический вывод как о свидетельстве будто бы преднамеренной «грабительской» политики государства по отношению к крестьянам. В то время как Г. В. Дьячков говорит совершенно об ином — об объективных причинах такого положения с оплатой труда колхозников, подчеркивает, что в период становления колхозного строя это было вполне обосновано, так как во многих колхозах основным источником дохода еще оставался колхозный двор, а производительность общественного труда оставалась низкой. Поясните, с какой целью вы допустили приведенные клеветнические измышления на политику Советского государства по отношению к крестьянам?

Ответ: Нет ответа.

Вопрос: На странице 71 вы цитируете И. В. Сталина: «средняя выдача зерна в зерновых районах на один колхозный двор поднялась с 61 пуда в 1933 году до 144 пудов в 1937 году», указывая, что это является подтверждением тому, что будто бы «...с самого начала сплошной коллективизации, с первых дней колхозной системы «пролетарское государство» оставило крестьян на произвол судьбы...».

Как видно из сборника «Вопросы ленинизма» И. В. Сталина (Госполитиздат, 1952 год, стр. 626), эти цифры подтверждают обратное, то есть то, что продолжающийся подъем промышленности и сельского хозяйства в 30-х годах привел к новому росту материального обеспечения трудящихся. Эти цифры также являются подтверждением тому, что внутренняя политика Советского государства в указанный период времени была направлена на удовлетворение материальных потребностей тружеников села...

Вам предлагается сборник «Вопросы ленинизма» и предлагается дать показания о цели допущенных вами извращений относительно политики Советского государства на селе.

Ответ: Не последовало.

Вопрос: На страницах 107—109 очерка «Технология черного рынка...» вы используете выдержку из книги П. Шелеста «Одна сельская семья. Штрихи к социальному портрету сельского рабочего 70-х годов» (издательство «Советская Россия», Москва, 1972 год, стр. 97) о расходах семьи Александровых на приобретение промтоваров (по автору, как свидетельство роста благосостояния в семье) и делаете клеветнический вывод о соответствии уровня жизни, уровня потребностей крестьянина в 70-х годах «...мелкотоварной, нищенской, докапиталистической форме хозяйствования, которая единственно возможна на присадебных участках в условиях административных запретов на частную инициативу в широком масштабе, в условиях крепостнических земельных отношений, столь характерных для общества «развитого социализма».

Вам предлагается книга П. Шелеста. Покажите, разве это не является подтверждением вашего умышленного истолкования любых данных в ущерб их объективности, с целью возведения злобных клеветнических измышлений на существующий в СССР государственный и общественный строй?

Ответ: Не последовало.

...**Вопрос:** Эти, приведенные вам, и другие факты фальсификации действительности свидетельствуют о необъективном, предвзятом использовании вами первоисточников для того, чтобы придать внешнюю правдивость возводимым вами заведомо ложным, клеветническим измышлениям, порочащих советский государственный и общественный строй, руководящую роль КПСС, ее внутреннюю политику. Дайте свои пояснения, с какой целью вы распространяли этот свой пасквиль «Технология черного рынка...», который

столь охотно был напечатан в журналах «Посев», «Грани» зарубежной антисоветской организации НТС, ставящей задачу свержения Советской власти и изменения существующего у нас в стране строя, и использовался другими враждебными подрывными центрами Запада в ущерб СССР?

Ответ: Ответа не последовало.

Допрос производился с перерывом на обед с 12 часов 20 минут до 14 часов 45 минут и окончен в 16 часов 30 минут.

ПОКАЗАНИЯ ОБВИНЯЕМОГО

В Лефортово меня много бросали по камерам, и я просидел со многими сокамерниками, арестованными по уголовным статьям. Среди них были и министр, и бывший полковник милиции, и университетский доктор технических наук, и веселый азербайджанец-мошенник, и неудачливый унылый фарцовщик. Всех их роднило одно: хотя они постоянно ругали своих следователей, своих преследователей, все-таки они их уважали — и поменялись бы с ними местами с великим удовольствием (а некоторые и занимали подобные места прежде, до ареста). Поругивали они и государственные, и общественные порядки, но в целом эти проблемы их мало занимали. Значительно больше их тревожило собственное положение.

Их мучила совесть. Но это не были высокие мучения совести, когда человек в отчаянии сравнивает свою жизнь с идеалом, — нет, это были весьма частные всплески нравственного чувства, заставляющие всхлипывать и стонать: «Как я ошибся! Если бы время вернуть обратно!».

Узбекский министр хлопкообрабатывающей промышленности Вахаб Усманов, с которым я провел в камере два месяца (впоследствии, будучи уже в лагере, я узнал из газет, что он приговорен к расстрелу), в заключении совершенно опустил: то он целыми днями лежал, отвернувшись к стене, стонал, плакал, то мы, его сокамерники, должны были по его просьбе по несколько раз в день пытаться угадать, какой приговор его ждет. То есть даже не какой приговор, а какой срок — о расстреле, понятно, и вспоминать нельзя было.

Мы придумали специальную игру: по счету «три!» на пальцах выбрасывали какое-нибудь число, и Вахаб, пересчитывая мои выпрямленные пальцы и пальцы нашего третьего сокамерника, или заряжаясь надеждой, если выходило не больше семи-восьми лет, или впадал в полное уныние и становился всерьез зол и раздражителен, если получалось больше десяти лет. Мы старались беречь его и помногу ему не отпускали.

Его настроение сильно зависело и от того, с какой интонацией и какой по чину следователь вел последний допрос. Когда где-то там, в недрах следственного корпуса, куда его уводили почти ежедневно, с ним разговаривал какой-нибудь генерал от юстиции — скажем, начальник следственного отдела прокуратуры или его заместитель, — Вахаб возвращался в камеру веселый и обнадеженный: раз им занимается такой высокий чин, значит, ему придадут большое значение, значит, еще и он «наверху», причислен к тому же разряду, что и сам генерал, с которым он, кажется, был знаком еще на воле, — и он надеялся, что ворон ворону глаз не выклюет...

Когда же шли обычные, рабочие допросы, которые вели разные там капитаны и майоры, когда приходилось сдавать припрятанные драгоценности, принимать на себя все новые эпизоды со взятками и хищениями, он падал духом, начинал часто вызывать тюремного фельдшера, просить сердечные капли.

Если ему казалось, что дела его идут совсем плохо, он вспоминал, что отец его — мусульманин, а дед был даже духовным лицом, и начинал громко и гортанно молиться. Молитвенное настроение продолжалось до следующего визита генерала. Генерал, видимо, обнадеживал, и Вахаб возвращался повеселевший, свое молитвенное состояние вспоминал с улыбкой и об Аллахе говорил чуть не покровительственно, как о знакомом министре соседней республики.

Когда Вахаб был весел и разговаривал, то особенно охотно говорил о других высокопоставленных узбеках, которые были арестованы по обвинению в коррупции и о которых он какими-то путями узнавал — через следователя или от своих подельников во время очных ставок, — что они тоже тут, в Лефортове. Так он, радостно потирая руки, говаривал, что

всего скорее расстреляют бывшего первого секретаря Бухарского обкома партии. «На нем пять миллионов!» — говорил Вахаб и растопыривал свою короткопалую пятерню. (Опять-таки впоследствии от кого-то из его мелких поделщиков, с кем разговаривался через перегородку в «воронке», я узнал, что на самом Усманове было десять миллионов, — я представил себе две его растопыренные пятерни.)

В камере у Вахаба было только два занятия: он или играл в шахматы — до десяти партий в день, или писал доносы, — говорят, он повязал вслед за собой человек четыреста. Доносил он на всех, кто когда-то ему давал или кому он давал. Все по его доносам оказались взяточниками и ворами — начиная от председателей колхозов, с которыми он имел дело, и кончая первыми секретарями ЦК партии Узбекистана — и умершим Рашидовым, и живым Усманходжаевым*. (Не это ли последнее обстоятельство и решило судьбу Вахаба. Генерал появлялся всегда после особенно важных доносов.)

По-русски Усманов писал и говорил плохо, и писать доносы помогал ему с подозрительной готовностью наш третий сокамерник, некий «технический интеллигент со степенью», сидевший за фиктивные договоры и взятки, каким-то образом завязанные с иностранцами. На прогулках этот «доброхот» и Усманов тихо переговаривались, отойдя от меня в дальний угол двора, — хотя в камере мы жили довольно дружно, и передачами поровну делились, и ларек заказывали в один общий котел, — но при всем при том считалось, что я чужой. Они, — хоть и воры, хоть и провинившиеся, хоть и уголовники (так они себя, сожалея — «С кем не бывает!», — но все же сознавали) — советские люди, я же — отщепенец.

Я как-то было обиделся на их секреты, попытался протестовать, и тогда наш третий, «добровольный» усмановский помощник, спокойно объяснил мне, что, узнав содержание доносов, я могу нанести ущерб Советской власти. Я, признаюсь, оторопел. Как именно я нанесу ущерб, это он не вполне представлял себе, поскольку ехать-то мне предстояло в лагерь строгого режима, потом в ссылку...

Даже здесь, в камере тюрьмы, они были советские. Проворовавшись, ожидая приговоров, ругаясь со следователями, они были советские. А я не советский. Чем же я-то нанесу ущерб? Тем, что буду говорить, тем, что раскрою некую советскую тайну. Их тайну. Ведь и они были руководителями страны — еще так недавно были.

— Зачем это тебе нужно? — спросил как-то не то Вахаб, не то «технар».

— Что именно?

— Заниматься писаниной... В тюрьме вот сидишь...

У них в сознании как бы была картинка с фокусом: повернешь — есть человек, еще повернешь — пустое пространство, исчез человек. Так вот в этом повороте картинки, где для них мир был полон благ, в картиночном мире, где они жили до ареста распорядителями благ, в этом мире было место и министру, и следователю, и уголовному преступнику, вору и не было места мне, — и только потому, что я мог раскрыть их некую общую тайну.

— Зачем это тебе нужно?

И я действительно не умел ответить на этот вопрос так, чтобы они меня поняли. И не знаю, отвечает ли на него эта моя книга. Это ведь как повернешь картинку...

ПРОТОКОЛ допроса обвиняемого

гор. Москва

27 мая 1985 года

(Подполковник Губинский и капитан Круглов вдвоем допрашивают жену обвиняемого Экслер Н. Е.)

Допрос начал в 10 часов 45 минут.

Допрос окончен в 16 часов 20 минут.

Вопрос: Вам предъявляется изъятый 19.03.85 г. при обыске рукописный текст, начинающийся со слов: «Дм. П. Кончаловский «Пути России»...» Кому принадлежат данные записи и кем они исполнены?

* Написано в 1987 г.

Ответ: Эти записи исполнены мной и для меня лично, с какого издания — уже не помню, так как это писалось давно.

Вопрос: Вам предъявляется рукописный текст, начинающийся со слов: «Континент № 20. Игорь Ефимов-Московский. Политические выгоды нищеты», — и заканчивающийся словами: «...имперской стратегии». Кому они принадлежат и кем исполнены?

Ответ: Записи на некоторых листах (лл. 3, 5, 6, 8, 10, 12) исполнены мной и опять-таки для себя, так как я хотела подумать над написанным. Они оказались вместе с записями мужа, так как исполнены с одного источника. Писалось это не для использования Тимофеевым Л. М. в его работах, а для собственного осмысления.

Вопрос: Вам предъявляется рукописный текст, начинающийся со слов: «23 апреля. Наташа! Итак, путь...» — и заканчивающийся словами: «Погуляю — и опять! Л.». Когда и кем исполнен данный текст?

Ответ: Данный текст представляет собой письмо Л. Тимофеева мне. Когда оно было написано и в связи с чем, я не помню.

Вопрос: Вам предъявляется рукописный текст, начинающийся со слов: «Наташа! А вот еще...» Когда, кем и в связи с чем исполнен данный текст?

Ответ: Предъявленный текст мне незнаком. Когда и в связи с чем он написан моим мужем, я не помню.

В целом первое из предъявленных мне писем написано Тимофеевым Л. М. в связи с его впечатлениями от поездки на Кавказ.

Вопрос: В ходе обыска в вашей квартире 19.03.85 г. были изъятые многочисленные конспекты работ и комментарий к ним. Кому они принадлежат и в связи с чем написаны?

Ответ: Эти записи принадлежат моему мужу Тимофееву Л. М. и написаны им, но в связи с чем, сказать не могу, не знаю.

Вопрос: Во время работы в редакции журнала «Молодой коммунист» в 1976 году ваш муж был принят кандидатом в члены КПСС. В связи с чем ему было отказано в приеме в члены КПСС после окончания кандидатского стажа?

Ответ: Этот факт мне известен, но, как мне говорил Тимофеев Л. М., после какой-то докладной записки (я не помню, кто именно ее писал и о чем конкретно она была) ему было отказано в приеме в члены КПСС*. Кроме того, повлияли его несложившиеся отношения по месту работы.

Вопрос: Что вам известно о написании Тимофеевым Л. М. работ «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать», «Довушка», «Последняя надежда выжить»?

Ответ: Кроме того, что названные работы написаны моим мужем — Тимофеевым Л. М. и писались им дома (он ни от кого не прятался), мне ничего не известно. Каким образом эти работы были переданы для публикации на Западе, я также не знаю.

Должна сказать, что основные идеи, которые были изложены Тимофеевым Л. М. в «Технологии черного рынка...», он изложил ранее в большом очерке (я не помню его названия), который он во время работы в редакции журнала «Молодой коммунист» пытался официально опубликовать в каком-то журнале — то ли в «Новом мире», то ли в «Дружбе народов». Работу его приняли, но затем в публикации отказали. Тогда Тимофеев Л. М. сократил эту работу и сделал попытку опубликовать в другом журнале (не знаю, в каком), но там ее также не приняли. Затем он еще сократил ее до двух столбцов газетного текста и отнес в редакцию газеты «Комсомольская правда». Работу приняли, и муж был счастлив, что его идеи могут быть публично высказаны. Это он считал очень важным для общественной мысли в то время. Свою публикацию он считал нужной не для того, чтобы «приобрести на этом имя», а для общественной пользы. Однако через некоторое время и в этой публикации в газете ему было отказано. О том, что это делалось не «для популярности» автора, свидетельствует и размер предполагаемой газетной (по сути) заметки, на которой не сделаешь себе «имени», даже если бы у мужа и было такое желание. А иных целей, кроме как довести свои мысли до читателя, он никогда и не преследовал.

* Замечание обвиняемого: Наташа не почувствовала провокационный характер вопроса; на самом деле мне не было отказано в приеме в КПСС по той одной причине, что я вообще не подавала заявления о приеме в партию после окончания кандидатского стажа — в то время я уже работал над «Технологией черного рынка...», и сама работа требовала от меня совсем иного общественного поведения.

**ПРОТОКОЛ
допроса обвиняемого**

гор. Москва

11 июня 1985 года

(Губинский допрашивает Тимофеева)

Допрос начат в 14 часов 25 минут.

Вопрос: Вам предъявляется зарубежный антисоветский журнал «Время и мы» № 79 за 1984 год с помещенной на его страницах пьесой-диалогом Льва Тимофеева «Москва. Моление о чаше». Когда вами была написана эта «пьеса» и каким образом она оказалась на страницах названного зарубежного журнала?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: В «пьесе» «Москва. Моление о чаше» описан диалог между двумя лицами — мужем и женой. Он в прошлом «известный советский журналист» и публицист, ранее писал стихи, оставил работу в редакции два года назад, за пять лет написал две книги, которые опубликовал под своим именем на Западе и в которых «исследовал» существующую в стране систему, жена у него не работает, имеет двух детей — девочек (одна школьница и носит крестик), в доме держат собаку, в личной библиотеке имеют словарь Брокгауза из 86 томов.

Вы также в прошлом были журналистом и публицистом, ранее писали стихи, в 1980 году уволились из редакции журнала «В мире книг», к этому времени написали и передали для публикации на Запад свой антисоветский пасквиль «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать», а затем другое антисоветское «эссе» — «Последняя надежда выжить». Размышления о советской действительности, под своим именем, в которых порочили советский государственный и общественный строй. Кроме того, у вас с женой (нигде не работающей) двое детей, из которых одна школьница и носит нательный крест, в доме вы держали собаку, а в личной библиотеке имели энциклопедический словарь под редакцией Брокгауза и Ефрона в 86 томах. Все это свидетельствует о том, что данная пьеса-диалог имеет автобиографический характер и ее автором являетесь вы. Подтверждаете ли вы это?

Ответ: Нет ответа.

Вопрос: Что ваша «пьеса-диалог» имеет автобиографический характер, говорит и то обстоятельство, что ее герой в написанной и опубликованной на Западе книге говорит о старушке, которая молится на портрет основателя Советского государства. Вы в своем опубликованном антисоветском пасквили «Технология черного рынка...» также описываете сцену, когда старушка (Ховрачева Акулина Егорьевна) молится на такой же портрет. Как иначе вы можете это объяснить?

Ответ: Не последовало.

Вопрос: Героиня пьесы-диалога, болезненная женщина, ушла из журнала, где хорошо писала, нигде не работает, хорошо лепит из глины. Ваша жена — Эсклер Наталья Евгеньевна — в настоящее время домохозяйка, ранее работала театроведом, писала статьи; как показала на допросе 22 мая свидетель Р-я (следуют фамилия, инициалы), лепные изделия вашей жены ей очень понравились. Кроме того, свидетель Б-а (фамилия, инициалы) показала, что ее дочери Ане было непонятно то, что Соня (ваша дочь) «носит крестик и верит в бога» (орфография подлинника). Все это еще раз доказывает то, что данная пьеса-диалог носит автобиографический характер и ее автором являетесь вы. Станете ли вы это отрицать?

Ответ: Нет ответа.

Вопрос: В пьесе-диалоге она говорит: «За каждое слово пророк отвечает сам, и ты готов отвечать... Вот только я забыла, пророку полагаются жена и дети? Жена и дети за что отвечают?.. Я высчитываю копейки, чтобы купить детям горсть ягод или поношенные ботиночки... Ты нами расплачиваешься... Ты не пророк, ты эгоист, мелкий, тщеславный... Ты встал в позу, ты уже придумал сообщение: «Как передают западные корреспонденты из Москвы, здесь арестован...» Вокруг тебя сияние... Ты говоришь стихами... А как же я? А дети?»

На допросе 20 марта сего года свидетель К-в (здесь и впредь в подобных случаях — фамилия и инициалы. — Л. Т.) показал, что 17 марта 1985 года вы у себя дома включали транзисторный приемник и пытались слушать зарубежные радиостанции, ведущие передачи на Советский Союз.

80

Свидетель Н-я на допросе 6 июня с. г. показала: «После ареста Левы Наташа говорила, что она во время работы мужа над каким-то произведением неоднократно убеждала его прекратить работу над ним, предупреждала, что это добром не кончится, однако он на ее слова не реагировал. ...Она плакала, умоляла его прекратить это опасное занятие, но все было безрезультатно. Наташа так мне говорила, что если бы Лева не передал эту книгу, то есть написанное им сочинение, за границу, то ему бы ничего не было, он нормально жил бы с семьей, а своей писаниной он добился только ареста».

Что вы можете сказать относительно приведенных вам показаний свидетелей, которые повторяют написанное вами в пьесе?

Ответ: Нет ответа.

Вопрос: Из содержания написанной вами пьесы «Москва. Моление о чаше» видно, что вы сознавали преступный характер ваших действий, выразившихся в изготовлении и публикации за границей литературы, содержащей заведомо ложные, клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй, к каким относятся данная пьеса-диалог, повесть-очерк «Технология черного рынка, или Крестьянское искусство голодать», «Ловушка», «Последняя надежда выжить». Подтверждаете ли вы это?

Ответ: Ответа не последовало.

Вопрос: В данной пьесе вы, как и в других названных выше сочинениях, опубликованных на Западе, с враждебных позиций возводите злобную клевету на государственный и общественный строй в СССР, именуя его «нечеловеческой системой» (страница 18 журнала «Время и мы» № 69), утверждая, что в нашей стране якобы действует «закон социализма: не украдешь — не проживешь» (стр. 24), общество проникнуто ложью, со стороны государственных органов будто бы чинится незаконное, допускаете оскорбления в адрес руководителей партии и правительства (стр. 11). С какой целью вы распространили столь злобные клеветнические измышления и совершили эти противоправные преступные деяния?

Ответ: Нет ответа.

Вопрос: Совершив указанные преступные деяния и боясь ответственности за содеянное, как это видно из содержания «пьесы-диалога», вы выплывали намерение выехать за границу, рассчитывали обеспечить свое благополучие за счет денег, добытых преступным путем в виде гонораров за свои антисоветские пасквили, и вместе с тем намеревались продолжить антисоветскую деятельность, направленную в ущерб СССР. Что вы можете показать в этой связи?

Ответ: Нет ответа.

Допрос окончен в 16 часов 10 минут.

Начальнику группы следственного отдела КГБ
подполковнику Губинскому А. Г.
от подследственного Тимофеева Льва Мих.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Вчера, 11 июня с. г., вы во время допроса грубо и некачественно идентифицировали меня, автора пьесы «Москва. Моление о чаше», с героями этой пьесы. При этом вы приписали мне те самые нравственные изыскания, которыми я, как автор, наделил литературного героя. Каждому, мало-мальски знакомому с основами литературоведения, понятно, что при таких методах анализа, когда литературное произведение понимается как самоговор автора, Достоевский, как автор «Записок из Мертвого дома», и Толстой, как автор повести «Дьявол», должны быть обвинены в убийстве, так как оба эти произведения имеют автобиографические черты.

В связи с выявившейся таким образом некомпетентностью следствия настаиваю на проведении литературоведческой экспертизы, где среди прочего должен быть выяснен вопрос о принципиальной возможности в рамках уголовного дела идентифицировать личность автора и персонажа литературного произведения.

Прошу приобщить мое заявление к делу.

12 июня 1985 г.

Лев Тимофеев

(Заявление об экспертизе оставлено без ответа. — Л. Т.)

**ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля**

15 июля 1985 г.

г. Москва

(Капитан Круглов допрашивает Экслер Н. Е.)

Допрос начал в 14 часов 00 минут.

Допрос окончен в 16 часов 25 минут.

Вопрос: В журнале «Время и мы» № 79 за 1984 год опубликована «пьеса-диалог» Льва Тимофеева «Москва. Моление о чаше». Что вам известно об обстоятельствах ее написания и нескольких событиях, о которых упоминает в пьесе автор, соответствующим действительности?

Ответ: Автором «пьесы-диалога» «Москва. Моление о чаше» является мой муж, Тимофеев Лев Михайлович. В какое время он написал эту работу, я не помню, но работа писалась у нас дома. В этой работе действительно Тимофеев Л. М. использовал отдельные факты из своей и моей биографии. Однако в целом эта пьеса носит лишь автобиографические мотивы, и нельзя сказать, что она во всем соответствует тем событиям, которые происходили в действительности. Тем более это касается ряда эпизодов с упоминаемыми «третьими» лицами.

В связи с моим плохим самочувствием прошу допрос перенести на другое время.

ПОКАЗАНИЯ ОБВИНЯЕМОГО

Когда я при аресте уходил из дома, когда меня уводили из дома, я плохо знал, что нужно взять с собой. Жена положила в сумку мыло, зубную щетку, пару носков. Я сомневался, можно ли взять какие-нибудь книги, но кагебшник, распорядившийся арестом, сказал, что книги можно будет передать потом (и соврал, конечно). Но Евангелие я все же взял — удобное карманное издание, еще дореволюционное, с лиловым штампом «На память от Коломенского земства», оно много лет со мной было и дома, и в командировках.

Это Евангелие было у меня отнято почти сразу же, часа через три-четыре после того, как меня привезли в Лефортовскую тюрьму. Сказали, что я смогу получить его через следователя — так это у них было рассчитано...

Тогда же, при первом обыске в тюрьме, у меня отобрали маленький серебряный нателный крестик. Или даже нет, крестик отобрали не во время самого обыска, а минут через десять — пятнадцать, когда повели в баню. Обыск-то проводили младшие чины, прапорщики, которые по бороте моей, видимо, приняли меня за священника, и что-то, должно быть, дернулось в их душах, не посмели снять крест. В бане же, когда я уже стоял голый, налетел какой-то младший офицер с нарукавной повязкой ДПНСИ (дежурный помощник начальника следственного изолятора), обругал прапорщиков — крестик сняли, сказали, что они люди подчиненные, что существуют положения, по которым в камере запрещены металлические предметы, но что если будет ходатайство следователя... А следователь чего ради будет за меня ходатайствовать?

Так и остался я без крестика и без Евангелия... Но все-таки следователю я об этих изъятиях сказал и спросил, нельзя ли получить обратно. В то время следователь еще, видно, надеялся установить со мной какие-то выгодные для него отношения — на каждом почти допросе он, как бы невзначай, заговаривал о людях, которые, оказавшись в моем положении, все же отделялись легким испугом, признавая свою вину и раскаиваясь, — или год-другой ссылки получали, или пару лет в психушке общего типа отсиджались — читай, пиши, получай свидания — и выходили на волю, и уезжали за границу... Вот ведь я арестован, идут допросы, а западные радиостанции продолжают передавать мои очерки и статьи, так не хочу ли я воспользоваться авторским правом и хотя бы приосвоить передачу?..

Так или иначе, он написал специальное письмо начальнику тюрьмы, в котором якобы ходатайствовал о разрешении мне иметь в камере крестик и Евангелие. Но, увы... начальник тюрьмы дней через пять ответил отказом, сославшись на какие-то инструкции. Следователь как бы даже несколько огорчился... и тут же нашел выход из положения: поскольку Евангелие передано ему, он будет давать читать здесь, в кабинете...

Конечно, все это разыгрывалось как комедия. Я должен был почувствовать искреннюю душевную расположенность следователя ко мне, его готовность помочь. Он надеялся на установление человеческих отношений. Он — человек, я — человек, мы — люди. Чего же не найти общий язык?

Но нет. Это все было совсем не так. Не то, что я его за человека не считал, нет! Просто мир его был для меня за чертой. Это был потусторонний мир. Это как картинка с фокусом: посмотришь с одной стороны — есть человек, посмотришь с другой — нет никого. Пустая комната. Вот так вот в мире, где есть крест, Евангелие, молитвы — нет ни следователя, ни офицерских чинов, ни вонючих тюремных коридоров. И сама утрата (или обретение) и креста, и Евангелия не может быть связана с ними иначе как только механически — их руки забрали, по этому коридору унесли. Но суть утраты заключалась в том, что утрата мне была назначена. Точно так обретение Евангелия означало только то, что мне дано обратиться к Слову. И я обратился...

Я довольно много выписал — скажем, переписал всю Нагорную проповедь целиком и, вспомнив монашеский труд переписчиков, готов был и дальше писать и писать... Но к тому времени следователь совершенно потерял терпение, а может, и вовсе надежду установить контакт со мной, стал раздражителем, его напускная вежливость все чаще стала слетать с него, и в конце концов он сказал, что его начальство не разрешает ему более предоставлять мне Евангелие... А мне и ладно, я уже к тому времени много переписал.

Скоро же к этим листочкам переписанного Слова прибавились иные тексты, Словом вдохновенные, — я имею в виду статьи и письма В. А. Жуковского, каким-то чудом сохранившиеся в тюремной библиотеке, — и в частности, потрясающая по своей просветленности «Внутренняя жизнь христианина». И все это было дано мне в тюремной камере...

Все эти записи были со мной более полугода — я их и сам читал, и давал читать сокамерникам, и некоторые переписывали их себе и уносили с собой на этапы, в лагерь, вместе с обычными для каждого ээка бумажками, на которых начерчен план будущего дома и расчет прибыли от пасеки или теплички: каждый ээк мечтает по освобождении заняться строительством и хозяйством... И успокоиться душой.

Провез я эти записи по этапу, читал их в Пермской пересыльной тюрьме и окончательно утратил только при поступлении в лагерь: там у меня забрали все мои записи «на проверку» и отобрали теперь уже не металлический, а даже кипарисовый крестик, который на этап мне передали друзья. И больше я не видел ни записей, ни крестика — через некоторое время молодой опер с сонными глазами идиота прочитал мне акт, что-де записи и крест уничтожены. «А как уничтожили?» — спросил я его. «Сожгли».

И я подумал, что это хорошо, что они так боятся и Слова, и Креста: видимо, чувствуют, что там, где Слово и Крест, — их нету. Тоже ведь понимать надо, они ведь тоже борются за выживание — слепые, слепыми ведомые...

14 июня 1985 года

СПРАВКА

Дана настоящая в том, что по имеющимся в средней школе № 2 г. Рязани архивным данным Солженицын А. И. был принят в школу с 25 августа 1957 г. (приказ Рязанского горона № 51 от 26/8—57 г.) учителем астрономии и проработал здесь до 25 декабря 1962 года.

Директор школы
Т. Варнавская

СПРАВКА

Дана настоящая в том, что по имеющимся архивным данным в средней школе № 2 г. Рязани в 1956/1957 учебном году в 9-В классе обучалась Экслер Наталья Евгеньевна, 1940 года рождения, проживавшая по адресу: г. Рязань, ул. Каляева, д. 43, кв. 1.

По окончании 9-го класса переведена в 10-й класс.

Директор школы
Т. Варнавская

Уважаемый Александр Исаевич!

Очень давно, в 1958 году, я училась в Рязани, в 10-м классе, во 2-й средней школе. В нашем классе Вы преподавали астрономию.

Я помню, как Вы в первый раз вошли в наш класс в сопровождении директора школы.

Потом меня спрашивали, какой Вы?

Я рассказывала, как Вы впервые вошли в наш класс... Малость моего рассказа смущала слушателей: за ним ничего нет — учитель и плохая ученица. Спрашивали, что рассказывали Вы нам о лагере и что читали нам из своих произведений(?!). Разражалась слушателей моя тупость — мне говорили: «Как вы могли плохо учиться у такого человека? Как можно было не понять, не почувствовать, у кого учишься?» Видимо, если бы я была отличницей по астрономии, то это бы хоть как-то уравновесило ожидания.

Смущало и несоответствие судьбы: ведь дано же это было знакомство — ну и что? Отзвука как бы не было. Я и сама думала: зачем же это было, если нет отзвука? Для чего было? И вот как аукнулось.

Мой муж, Тимофеев Лев Михайлович, написал большой очерк о жизни русской деревни и пытался его опубликовать. Очерк вроде бы нравился, но его не брали, не взяли в одном толстом журнале, в другом. Лева показал очерк в тонком журнале, там тоже понравился, сказали сократить. Лева сократил. Не взяли. Показал в газете — там собирались сделать большую публикацию на два номера. Не пошло. Скалили сократить. Сокращал, сокращал. Осталось тезисов два столбца. Это все тянулось долго невозможно. Каждое сокращение через Левины муки. Я возмущалась, увидев, что в результате у него осталось. Но он сказал, что я ничего не понимаю, что важно опубликовать хоть два столбца, а потом, зацепившись за них, пройдет весь очерк, что два столбца — это очень важно, хоть ему еще не все ясно в самой проблеме.

Столбцы набрали, но уже из номера сняли, а Лева объяснили, что «наверху» кто-то сказал, что если «это» напечатать, тогда за что же редакция получает зарплату?

Лева работал в журнале «Молодой коммунист». И вот в этот момент появилась идея, что ему надо вступить в партию — он долго работал в журнале, и вроде бы неудобно уже было работать и не быть самому коммунистом — это была сторонняя идея, но он все больше и больше принимал ее — это как-то связывалось с его очерком — тогда напечатают, и вообще большие возможности что-то делать.

Его приняли в кандидаты. Кто-то из знакомых перестал звонить и ходить, кто-то сочувствовал, как больному, кто-то утешал — куда денешься? Кто-то одобрял — теперь больше возможностей что-то делать; были и официальные идиотские «разговоры по душам», «партийно-искренний» тон, как с посвященным, — и Лева искренне уивался, что такие вообще могут быть.

А очерк все его мучил, и какие-то проблемы, затронутые в очерке, но не решенные еще, не продуманные, все возвращали его к нему. И он замучил меня экономическими разговорами. И даже купил мне учебник политэкономии, чтобы я хоть что-то смыслила.

Ему казалось, что идеи эти носятся в воздухе, что где-то кем-то они уже высказаны, он сомневался, «не изобрел ли он велосипед».

И вот только-только его приняли в кандидаты, только стали утихать разговоры об этом, споры, полное неприятие или недоумение одних, уверенность других... К нам вдруг зашла соседка по дому — она захлопнула свою дверь, ей некуда было деваться, и она попросилась посидеть у нас.

Мы недавно жили в этой квартире, никого в доме еще не знали, ни с кем не были знакомы, но эта милая соседка как-то на улице подошла к нам — ей понравилась моя маленькая Сонька, вернее, не сама Соня, а ее имя — оказалось, что у нашей соседки ее младшая любимая сестра Соня была неизлечимо больна... Потом у нас в семье отсчит времени так и значился: «Когда Гюзель захлопнула дверь».

Тогда все и аукнулось.

Поговорили о чем-то, я звала ее заходить к нам еще, но она сказала грустно, что они с мужем буквально на днях уезжают совсем... Тогда многие уезжали, и мне всегда это было больно. Гюзель сказала, что уезжать они не хотят, но вынуждены, но почему вынуждены, она говорить не хотела, разговор прекратила и заторопилась уходить. Я не отставала: «Почему вынуждены?» Она сердито спросила, хоть слышала ли я, что Солженицына выслали? Но продолжать не стала и сказала, чтобы отделаться: «Я вам потом расскажу». Когда? Если через неделю они уедут? И почти вдогонку я ей сказала, что я у Вас училась. И тут все повернулось.

У нее лицо стало другим, и она сказала, что ее муж — Андрей Амальрик.

Я слышала о нем. Один знакомый рассказывал о гнусном фильме об Амальрике. Что там было? «Да все скрытой камерой, видно плохо, все смазано, тускло, но гнусно ужасно». И после этого фильма, а его показывали в каком-то институте, мой знакомый очень хотел прочесть, что же такого написал Амальрик, что за ним охотились со скрытой камерой.

Почему я тут же стала просить Гюзель познакомить Лева с Андреем? Почему я решила, что это необходимо для Леви? Не знаю. Знала — необходимо. Она отговаривалась занятостью, сборами, отъездом. Потом пообещала зайти вечером и ушла... Когда пришел Лева и я рассказала ему неожиданную новость, он страшно испугался. Сказал, что никуда не пойдет и ни с кем знакомиться не будет, что это провокация. Все подстроено. «Это не может быть», — говорил он каким-то угасшим голосом, — как ты не понимаешь, что это элементарная провокация». — «Для чего?» Я редела, и было очень стыдно, я видела, что он действительно не пойдет, не сдвинется, так и будет сидеть и повторять, что это провокация. И свет в комнате был какой-то тусклый, и струганные доски лежали на полу — Лева собирался строить стеллаж в пустой пока квартире, и тоска такая была...

Почему я знала, что надо идти? Почему он так испугался?

Заглянула заплаканная Гюзель.

Лева сказал мне: «Только на десять минут». И мы пошли. Мы пробыли долго.

Это была их тайная квартира — они ее наняли по случаю у каких-то незнакомых людей и приезжали сюда, только убедившись, что нет слежки. Здесь они были уверены, что к ним не нагрянут «с визитом», не поставят скрытую камеру.

Андрей никак не мог понять, почему Гюзель сказала мне, кто они такие. Почему? После их-то жизни, после такого опыта, после всего? Как она могла сказать совершенно незнакомым людям? Ей сильно поало.

Но ведь она и не мне сказала, она просто откликнулась на Ваше имя.

Ни Амальрику, ни потом, когда перед их отъездом мы познакомились у них с Юрием Орловым, — ни ему идеи Леви не показались так уж интересны. Или идеи эти были еще не продуманы до их теперешней ясности. Но дело было не в одобрении. Здесь оказался просто важен факт знакомства, факт общения — понимания того, что вот ведь есть люди, которые позволяют себе жить и думать свободно, независимо — вот они, с ними можно поговорить, до них можно дотронуться. Но самое главное было то, что Амальрик подарил нам «Архипелаг ГУЛАГ». Так уж вовремя случился этот подарок, который и совсем освободил Лева. Вот так все аукнулось.

И Лева начал работать над «Технологией черного рынка». Теперь он додумал все до конца. Проблема была ясна, ясен механизм «черного рынка», ясен механизм советской экономики. Но его еще долго мучило сомнение, не изобрел ли он велосипед, казалось тогда, что идеи эти должны носятся в воздухе и когда-то где-то должны быть уже высказаны. Но кому бы он ни показывал свою работу, об этом, главным, не говорили, предлагали свои какие-то идеи, которые казались им важнее, и советы давали от этих своих идей и словно не замечали проблем самой «Технологии...».

Муж очень нервничал. «Неужели непонятно? Не ясно?» А советы все шли и шли — от каждого свои — наболели, но никакого отношения к работе не имеющие. Он уже отчаялся получить адекватный отзыв... И вдруг он от кого-то узнал о Вашем очень добром, очень взволнованном отзыве о «Технологии черного рынка» — кому-то в частном письме пришел отзыв — это был самый счастливый день.

Для меня это было неожиданно, но после «Технологии», только закончив работу, Лева принял таинство крещения.

Так вот все аукнулось... И спасибо, что было мне дано быть на тех уроках астрономии, чтобы я просто помнила Вас и могла сказать, что помню.

Вот и все. Получилось так длинно, а я просто хотела сказать Вам, что помню Вас и что имя Ваше очень много значит в нашей жизни.

С уважением,

Наталья Экслер.

Примечание обвиняемого

Это письмо было написано женой задолго до моего ареста, но не было отправлено за отсутствием реальной возможности для этого. По счастью, оно не было обнаружено во время обыска, а то заняло бы свое место среди вещественных доказательств и несколько бы расширило тематику допросов — моих и жены. Но поскольку эта книга имеет характер уголовного дела, которое я сам возбуждаю перед судом общественного мнения, письмо это становится важным документом и его необходимо приобщить к другим материалам дела.

ИЗ ПРОТОКОЛА СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ ПО ДЕЛУ № 46/85

18 сентября 1985 г.

...Председательствующий объявляет состав суда, а также сообщает, кто является обвинителем, защитником, секретарем, разъясняет подсудимому и другим участникам процесса их право заявить отвод всему составу суда, кому-либо из судей, прокурору, адвокату, секретарю.

Подсудимый Тимофеев:

— Я хочу сделать заявление. Мое дело сфабриковано. Данный суд не правомочен разбирать мое дело. Я рассматриваю это как террор, как расправу надо мной.

Мое дело подсудно суду общественного мнения.

Я требую удалить меня из зала суда. Я не хочу и не буду повиноваться суду.

Председательствующий:

делает замечание Тимофееву о нарушении порядка в зале судебного заседания.

Подсудимый Тимофеев перебивает председательствующего и не дает возможности разъяснить права; предупрежден.

Председательствующий делает второе замечание подсудимому Тимофееву, который перебивает, лишает возможности выполнять требование УПК РСФСР о разъяснении ему прав.

Подсудимый отказывается встать, кричит, стучит пакетом о скамейку.

Председательствующий делает третье замечание подсудимому Тимофееву, нарушающему порядок в зале судебного заседания, и предупреждает об удалении из зала.

Подсудимый Тимофеев:

— Я требую удалить меня из зала судебного заседания.

Продолжает кричать...

Судебная коллегия удаляется на совещание для вынесения определения.

Определение вынесено и оглашено.

Подсудимый Тимофеев удален из зала судебного заседания...

ПРИГОВОР

Именем Российской Советской Федеративной
Социалистической Республики

19 сентября 1985 г.

г. Москва

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда в составе председательствующего Миронова Л. К., народных заседателей Калинин В. И. и Короля В. Г. при секретаре Цыганковой Т. К. с участием прокурора Дюковлева В. В. и защитника Власовой К. В. рассмотрела в открытом судебном заседании дело по обвинению Тимофеева Льва Михайловича, родившегося 8 сентября 1936 года в г. Ленинграде, русского, беспартийного, с высшим образованием, женатого, имеет двоих детей 1973 и 1980 гг. рождения, не работающего, ранее не судимого, проживающего в Москве, (следует адрес)... в преступлении, предусмотренном ст. 70 ч. I УК РСФСР.

Изучив материалы судебного следствия, выслушав судебные прения и последнее слово подсудимого, суд установил:

На протяжении 1977—1984 годов Тимофеев в целях подрыва и ослабления советской власти проводил антисоветскую агитацию путем изготовления в Москве клеветнических, порочащих советский государственный и общественный строй, письменных материалов, которые направлял за границу для использования антисоветскими подрывными цен-

трами в проведении враждебной пропаганды против СССР...*

В судебном заседании Тимофеев допрошен не был, т. к. неоднократно нарушал порядок во время судебного заседания, не подчинялся распоряжениям председательствующего, на неоднократные замечания и предупреждения не реагировал, продолжал нарушать порядок и был удален из зала суда. Суд считает, что предъявленное обвинение нашло полное подтверждение в судебном следствии, а Тимофеев виновен в совершенном преступлении.

Оценивая содержание материалов, изготовленных Тимофеевым, учитывая определенную направленность действий Тимофеева на публикацию материалов за рубежом в антисоветских журналах и использование этих материалов для враждебной против СССР пропаганды, следует признать, что Тимофеев преследовал цель подрыва и ослабления советской власти. Совокупность изложенных доказательств дает основание сделать вывод о полной доказанности совершенного Тимофеевым преступления и правильности квалификации его действий по ч. I ст. 70 УК РСФСР.

При назначении меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность Тимофеева и обстоятельства дела, смягчающие и отягчающие ответственность.

Тимофеев ранее не судим, на иждивении имеет двоих детей, до 1980 года занимался общественно полезным трудом. Вместе с этим суд учитывает повышенную общественную опасность совершенного им тяжкого преступления и считает необходимым назначить наказание, связанное с лишением свободы и ссылкой.

В стадии предварительного следствия Тимофеев обследовался стационарной судебно-психиатрической экспертной комиссией, которая пришла к категорическому заключению о его вменяемости в отношении совершенного преступления. В акте экспертизы, оглашенном в судебном заседании, подробно изложены доводы и убедительно мотивирован вывод. В судебном заседании эксперт врач-психиатр обследовал Тимофеева с учетом его поведения и данных истории болезни и дал заключение о том, что Тимофеев отдает отчет своим действиям, может ими руководить, по своему психическому состоянию может участвовать в судебном заседании. Свой вывод эксперт подробно мотивировал и представил заключение.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 301—303 и 312 УПК РСФСР, суд

приговорил:

Тимофеева Льва Михайловича признать виновным в преступлении, предусмотренном ст. 70 ч. I УК РСФСР, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет со ссылкой на пять лет с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии строгого режима. Срок отбывания наказания исчислять с зачетом предварительного заключения с 19 марта 1985 года.

Меру пресечения оставить заключение под стражу.

Вещественное доказательство — пишущую машинку «Эрика» № 4486599, как орудие преступления, конфисковать.

Взыскать с Тимофеева Льва Михайловича в доход государства судебные издержки в сумме 10 рублей (десять).

Приговор может быть обжалован и опротестован в Верховный суд РСФСР в течение семи суток со дня его провозглашения, а для осужденного Тимофеева Л. М. в тот же срок, но со дня вручения ему копии приговора.

Председательствующий

подпись

Народные заседатели:

подписи

Любимая, нет ничего — есть Ты.
Иного в этом мире не осталось.
Какая бы судьба ни ожидалась,
Любимая, нет ничего — есть Ты.
Молитвой поднимусь до высоты
Твоей.

Невидимым пребуду.
Ты не поймешь, ты удивилась чуду,
А это я — из тьмы, из ниоткуда
Молитвой поднимусь до высоты
Твоей.

21 марта 1985 года
Лефортовская тюрьма

* Далее следует изложение того, что уже хорошо известно читателю из протоколов допросов. С согласия автора мы значительно сокращаем этот документ. — Ред.

Когда сплетенные рогами бычьей морды
(а если точным быть — коровы и быка)
мне в грудь мучительно и туло упирались
и было стеснено мое дыхание
и я уже терял надежду выжить
и мягко, влажно был притиснут к стенке
и сам не то мычал, не то стонал...
открылось вдруг широкое пространство
быков не стало

и меня не стало...

Соком черного хлеба отравлен, на нары запрятан,
Без свиданий, без писем — обовшивел в тоске.

На словах все известно: блаженство гонимых

за правду...

Ни блаженства, ни правды — надзиратель

в тюремном глазе,

Бычьей мордой своей упирается в грудь мне Россия —
не рогами — поздырями, губами, слюнявой щекой
Я притиснут к стене на потеху печальным разиням...
Кто я, Господи? Прах или соли вселенской щепоть?

В этой жизни моей голос Твой как бы вовсе не слышен.
Я не то чтобы сплю, но еще не проснулся вполне.
Не вполне еще понял, что счастья не будет, что слыше
Это долгое горе как благо даровано мне.

Ничего, я готов проиграть эти мелкие войны.

Если все же выплещешь меня, Боже, в свой дивный узор,
Навести меня в срок, дай понять Твою вышнюю волю,
Посмотри на меня хоть в тюремный глазок.

Декабрь 1985 года
Пермская пересыльная тюрьма

ЧАСТЬ II

Вне гармонических звучаний
жесток и жесток этот мир...
Из жести кружка, миска, чайник,
вагон, собака, конвоир.

Стук металлической посуды
и грохот кованых дверей...
XX век — палач, паскуда,
по горло музыки твоей.

Кровь на губах. Твои nocturnы
для жести водосточных труб
звучат по пересыльным тюрьмам:
на жести спят, из жести пьют...

И снова двор тюрьмы, машина,
конвой, шипящий жесткий свет.
Где та железная пружина,
что в жизни держит этот бред?

Да наяву ли это с нами?
Откуда слышится хорал?
Кто там кровавыми губами
тюремный снег поцеловал?

Кого уведат? Чьи объятья?
Глаза слезятся на ветру...
На металлическом распятии
Христос приварен ко кресту.

Декабрь 1985 года
Пермская пересыльная тюрьма.

21 декабря 1985 года. Письмо из зоны.

Натанька родненькая! Миленькие мои девочки! Вот я на месте и вот мой адрес, если его у вас еще нет: 618263 Пермская обл., Чусовской р-н, п/о Копально, пос. Кучино в/с 389/36. Теперь жду не дожусь ваших писем. Пишите все-все о себе, письма длинные-длинные, подробные-подробные. Чем больше подробностей, даже мелочей, тем лучше: и как каждый день у каждой из вас проходит, и во что Катька играет, и что Сонька рисует, и какие уроки задают в школе, и где в гостях были, и с кем дружите и как дружите, и как бабушка поживает, и как мамочка. Пишите все как есть — и хорошее, и плохое. И плохое тоже обязательно — чтобы и я поплакал вместе с вами. Обязательно обо всем пишете... Всякий, кто захочет мне написать, доставит мне огромную радость...

Ну что же о себе? Я сбрил бороду, и под ней оказалась

некрасивая, ну просто отвратительная физиономия — надменное лицо эпохи упадка Рима... Но вообще-то я в порядке — в соответствии с обстоятельствами. Обе Сонькины передачи в Лефортово были хороши и очень кстати — мне было тепло на этапе и я был сыт. И еще с гордостью и умилением думал, какая у меня самостоятельная девочка... Только вот беспокоюсь, Соняшка, как бы тебя в другую сторону не занесло: не обижай Катьку, не обижай бабушку, не обижай мамочку. Чем быть обидчицей, лучше не быть самостоятельной. Для тебя это сейчас самый опасный грех — почувствовать себя выше других. Прости, что я назидаяю, но сам за тебя боюсь...

Ладно. Вот теперь мои новые просьбы: сразу по получении письма нужно выслать мне бандероль (вес до 1 кг), в которой будет электробритва и одна пара шерстяного белья. Пара — это рубашка и кальсоны, но кальсоны вообще-то у меня есть в достатке. Было бы хорошо получить две нижние рубашки, но, кажется, они по отдельности не продаются. Ладно, как получится, так и хорошо. Но именно нижнее белье — другого ничего не надо. Если останется место по весу до 1 кг — то можно положить сухофрукты, но любых не надо, а получше — курагу, что ли...

Перевели ли вы мне тогда в Москве деньги? Если перевели — хорошо, я их и сюда получу. Если нет, то пожалуйста, переведите сюда рублей 30—40. Думаю, что это последние траты, со мной связанные, — впредь постараюсь сам зарабатывать.

Теперь о свидании. Видимо, оно возможно будет уже к концу января. Но не знаю, право... Видеть вас мне огромное счастье: я все живу тем нашим свиданием в Лефортово, все вспоминаю, как Катька двигалась, что Соняшка говорила, что Натанька — и всех вместе меж двух ладоней глажу — и то ведь всего-то полтора-два часа, а здесь целых три дня вместе... Но подумать о вашем путешествии — двое суток в одну сторону поездом, да еще автобусом час, как не более, — а если мороз сильный? А если с автобусами перебои? — думать о такой вашей поездке мне как-то страшно. Может быть, отложит до лета? Но, с другой стороны, что там будет летом? Кто как себя чувствовать будет? Бери, пока дают... Не знаю. Напиши мне, Натанька, как ты к этому относишься, что думаешь и сообразуйся только со своим состоянием. (Да есть ли теплое, в чем ехать? Тебе-то можно было бы в моем полушубке — думаю, в этих местах его неприглядность не будет зазорной?) Пока не получу твоего письма, заявки на свидание делать не буду. Пиши.

Целую вас, милые мои, и жду писем. От Наташи, от Сони (почаще), от Кати (уже пора), от бабушки Лены (хоть одно большое — ее взгляд на детей), от бабушки Вали.

С Новым Годом вас. Кто-то будет Дедом Морозом?
И с Рождеством Христовым. Господь с вами.

Лева.

10 февраля 1986 года. Письмо из зоны.

Здравствуй, моя большая маленькая девочка! Три письма я написал отсюда мамочке, а четвертое вот — тебе. Как ты там? Ни от мамочки, ни от тебя нет ни писем, ни письма. Что же я без ваших писем? Так, ничего, кусок тоски. Живу все воспоминаниями о нашем лефортовском свидании, и все возвращает их сознание, все возвращает. И еще во сне вас вижу. И молюсь за вас...

Оттого что нет писем, нет ощущения, что вы меня слышите, поэтому и желание поговорить в письме — а хочется-то очень, прямо всю тетрадку бы исписал — желание это как бы уходит в песок... Как там моя Катенька? Читает? Пишет? Что бабушка?.. Что твоя «художка»? Знаешь, я постоянно в сознании продлеваю этот путь с тобой в «художку» — и теперь понимаю, что это были, может быть, самые счастливые часы в моей жизни — когда ты там рисовала, а я ходил вокруг, ездил по своим делам — а сознанием с тобой рядом был... Что в школе? Думаю, какие бы отметки тебе ни ставила историчка-начальница, историю надо знать на «отлично» — тем более, чем более несправедлива будет к тебе учительница. Ты просто должна стать специалистом-историком... Очень мне в жизни не хватает твоих картинок — напиши хоть словами в письме, что и как рисуешь, в какой технике, какие сюжеты? С кем дружишь и как? Где бываешь? Что матушка Анита? Что Мишка? Пиши мне, родная, почаще и поподробнее. Хорошо бы каждую неделю: встала в воскре-

сенье утром — и отчет за неделю...

Не знаю, успеет ли мое письмо к Наташенькиному дню рождения — если успеет, поздравь за меня и сделай от моего имени подарок — картинку, как мы с тобой в зоопарке гуляем (или другую какую-нибудь).

Целую вас, родные мои! Живу вами и молюсь за вас постоянно. Пишите.

Лева.

Я уже писал, что жду бандероль (электробрита, пара теплого тонкого белья, изюм, курага) и перевод (30—50 руб.) телеграфом.

ПОКАЗАНИЯ ОБВИНЯЕМОГО

Я и раньше не испытывал и теперь не испытываю ненависти ко всем этим тюремным и лагерным чинам, ко всем этим прапорщикам, лейтенантам, майорам, которые меня обыскивали, конвоировали, стерегли, загоняли в камеру или в цех, закладывали гремющие засовы и замыкали тяжелые двери. Мучали тем, что лишали необходимой теплой одежды или не давали спать, лишали писем и не давали увидеться с детьми и с женой, стремились оскорбить мелкими запретами... Нет, я никогда не испытывал ненависти к ним. Но сейчас, когда я вынужден говорить о них, я ощущаю глубокое омерзение...

Я видел, как они убивают людей... Убить сразу они теперь боятся. И поэтому потихоньку, постепенно подталкивают человека к смерти... Но об этом как-нибудь после.

Они живут по ту сторону забора. Из зоны видны крыши их домов. Слышны голоса их детей и жен, а иногда громкие и нетрезвые голоса их сапег, гармошка, или Пугачева, или даже тяжелый рок... Осенью из-за забора доносятся запахи уксуса и пряностей — места здесь лесные, хвойные, мшистые — видать, тут много рыжиков и белых, и заборные запахи нам, энкам, дают знать, что там наступила пора солить и мариновать грибы на зиму.

Зимой звуки жизни по ту сторону становятся глуше, как бы утопают в сугробах — разве что долго и громко буксует застрявший где-то грузовик, и прислушиваясь, гадает энка, не нашего ли брата, заключенного, вез воронок, и вот теперь застрял, и коченеет теперь человек в промерзшей клетке — и за час, за два задуবেет совсем, пока выволокут машину трактором и погонят дальше.

Если встать на кучу шлака, которая к марту поднимается возле котельной на промзоне, то можно увидеть детей, катающихся на санках и на лыжах, женщин с детскими колясками... Но долго на куче шлака стоять нельзя. Могут заподозрить, что ты изучаешь местность за забором, готовишься к побегу. Несостоявшемуся «шпиону» Диме Д-му (восемь лет строгого режима, из них три — тюрьмы — якобы за попытку шпионажа в пользу неопределенной иностранной державы: служба в армии, фотографировал любительским аппаратом в расположении части, вину свою признал и получил всего восемь лет, ниже низшего срока, предусмотренного соответствующей статьей) — так вот, Диме даже приписали попытку побега — за то, что он залез на кучу шлака, от которой до ближайшего забора-то добрых метров семьдесят, — залез и смотрел оттуда на волю, смотрел, оторваться не мог... Диму вообще в то время сильно прессовали за то, что он подпал под влияние одного известного христианского активиста, стал молиться перед сном и перед едой. А молитва и крестное знамение доводят ментов прямо до полного бешенства. Но это другое.

Попытку побега Диме приписали зря. Бежать тут некуда, да и невозможно, да и никто никогда не пытался. Нет, не побега нашего боятся менты — боятся, что хотя бы взгляд за забор убежит, а с ним и душа хоть чуть освободится.

Это так положено: держать в плену не только тело, но и взгляд. Здесь не хватает горизонта: взгляд все время упирается в высокий трехметровый забор из кривых грубо побеленных досок — справа беленый забор, слева забор, сзади, спереди — кругом забор. По верху забора еще и путанка проволоки под высоким напряжением. За забором видны верхушки ближайших перелесков, и в первое время по приезде в лагерь после тюрьмы и на эти-то чахлые елки да березки глядишь — не наглядись. Кажется, — в этих перелесках жизни куда больше, чем в крышах поселка, где, должно быть, единственное двухэтажное здание — казарма роты охраны, — оттуда целый день раздаются марши, строевые команды и учебная стрельба... Если Дима побежит, они его поймут.

И только в одном месте за забором — там, куда летом садится солнце, на северо-западе — виден далекий холм, покрытый редким вырубленным лесом. Туда-то по вечерам и ходит погулять тоскующий взгляд энка — и больше некуда, кругом все побеленный забор — и сегодня, и завтра, и на пять, и на десять лет — все один и тот же забор. Кругом забор. Куда ни посмотришь — забор. Перед забором — запретная зона, «запретка», ряд колючей проволоки, за которой, еще и до забора не дойдешь, — смерть твоя: по энку, вышедшему на запретку, охрана стреляет без предупреждения.

Я — советский политзаключенный. Когда меня вызывает начальство, то, входя в кабинет, я обязан представиться: «Осужденный такой-то... статья такая-то... срок такой-то...» Срок у меня — шесть лет лагеря строгого режима и пять лет ссылки... Шесть лет забора.

По углам зоны, высоко на сваях над забором, торчат четыре будки — в них круглосуточно, каждые два часа меняясь (а в морозные дни чаще), дежурят автоматчики. Оружие у них новое, вороненое, хорошо чищенное и смазанное — оно выглядит живым и современным на фоне мертвенной побелки забора и возле тусклых, каких-то потусторонних лиц самих автоматчиков. Оружие — барин, а эти — его холопы... Большинство из них — должно быть, восемь из десяти — из Средней Азии или с Северного Кавказа, или из Тувы, из Бурятии. Одевают их плохо — видимо, чтобы не уснули на вышках, — и поэтому в морозы они постоянно пляшут, громко стуча сапогами по дощатому полу вышек — так громко, что мешают спать в карцере — он расположен под одной из вышек... Так и живем мы под стук сапог да под строевые песни из-за забора.

Но еще и кроме забора меня охраняют. Я под надзором. Ежедневно меня четыре или пять раз обыскивают, общаривают карманы брюк и бушлата, залезают за голенища сапог, заставляют снять шапку, заглядывают под подушку в матрасной секции, под матрас, даже полотенце на спинке кровати перетряхивают.

Обыскивают надзиратели-прапорщики — вдвоем, втроем, — офицер рядом стоит, смотрит, а в спальную секции и сам лезет в мою тумбочку, роется в письмах — полученных и написанных для отправки, — лезет рукой глубоко в вату матраса... Глаза тусклые, сонные или красные с помехами...

Идешь на работу — обыск, на обед — обыск, с обеда — обыск, с работы — обыск. Приходишь с работы в секцию и узнаешь, что без тебя и тут шмонали и вся тумбочка перерыта, книги, тетради — все на койку выброшено, заправленная, было, постель разворочена...

Сюда на зону из тюремных привезли поздней ночью, и хотя приехал я сюда после девятимесячного содержания в камере, после этапа и пересыльной тюрьмы — и всюду были постоянные обыски, изъятия, запреты — и здесь меня тщательно, догола раздели, обыскали, отняли, отдели еще какие-то остатки домашних вещей. Здесь ничего с воли не положено. Входишь в зону голый. Одежду, обувь, шапку — здесь дадут, дешнее, форменное... И спустя много месяцев, перед тем как объявить мне об освобождении, меня снова завели в дежурку внутрилагерной тюрьмы, раздели догола и снова обыскали, только теперь отметили то, что у меня в лагере запаслось дорогое мне, — записи, письма, книги, прочитанные, с пометками на полях.

Иногда, когда оглядываешься назад во времени, кажется, что и держали-то здесь только для того, чтобы постоянно общаривать, ощупывать, оглаживать — словно для этого мы и нужны были им, чтобы постоянно быть у них под рукой для удовлетворения этой их омерзительной потребности — ощупать, залезть к тебе под мотню... Я все время ощущал себя в плену у мерзавцев. Зачем я им нужен был? Что они искали? Почему они держали меня за этим забором с автоматчиками, с собаками, с общаривающими мерзавцами? Неужели только за то, что я позволил себе думать и писать?.. Меня арестовали дома, в Москве, утром 19 марта 1985 года. Дети и жена спали. Я ходил гулять с собакой, по пути зашел в магазин. У меня гостил мой давний знакомый, и я купил довольно много всего к завтраку — и с полной сумкой в одной руке, с поводком, натянутым собакой, в другой, — я и вошел в подъезд. Тут-то они меня и ждали.

Собственно, в тот момент, когда я вошел в подъезд, здесь никого не было, но едва за мной закрылась дверь, тут же из всех темных углов, из ниши под лестницей, от лифта — отовсюду вдруг появились люди, и на площадке, наверху того пролета лестницы, по которому мне предстояло под-

няться к лифту, стоял их начальник. Я был внизу с покупками и с дворнягой Тютей и смотрел на него вверх. Мне предстояло подняться к его ногам... Я пошел к почтовым ящикам и стал доставать газету, достал, плохо соображая, но все же просмотрел...

«Здравствуйте, а мы к вам...» Тут только я сделал вид, что его увидел. Но это была, конечно, слабая игра. Их было человек пятнадцать. Группа задержания. Я был особо опасный государственный преступник... И они вошли, втиснувшись в два лифта. И потом вошли, втиснулись, черным потоком влились в двери квартиры, в судьбу моей семьи. Младшая дочь, четырехлетняя Катя, обрадовалась: сколько гостей сразу!

Нет, у меня нет к ним ненависти — только омерзение.

22 февраля 1986 года. Письмо в зону.

Папа! Я пишу тебе самое плохое: мама больна. Может быть, ты еще в Москве на свиданиях заметил. Мама больна, и позавчера ее тетя Катя и дядя Витя отвезли в психоневрологический диспансер. У мамы расстроены нервы. Она в диспансере пробудет два месяца. Сегодня у нее была бабушка. Вчера приехала матушка Анита, и мы с ней завтра пойдем в церковь. Вчера, сегодня, завтра...

Мама написала для меня письмо. Просила приехать, но нельзя, детей не пускают.

Мы с бабушкой, все в порядке. Катя сейчас играет с соседским Левоу у нас.

Папа! Бандероль мы отправить не могли, так как мама спрятала письма и не давала мне прочитать. И я ничего не знала...

Теперь школа. Все в порядке. Сегодня мальчишек поздравляли с днем Советской Армии. Игры были одинаковые, их девчонки всем купили. Игры для дошкольного и младшего школьного возраста. Это шестиклассникам! С уроками все в порядке.

Художка. Все нормально. Сейчас рисуем композицию на космическую тему, на конкурс в Австрию (международный). Я делаю смешную «Планету летающей посуды», где инопланетяне летают в посуде: в кастрюлях, в утятниках, в сковородках и в ложках.

Все в порядке.

Катя здорова, поет мало. Писать, читать не собираются. У нее шатаются два нижних зуба — первые!

Папа, ты волнуешься, что письма не дошли. Но они идут долго, свое первое письмо я написала через неделю после получения твоего первого.

Матушка Анита отправила тебе письмо и открытку. На всякий случай повторяю главное: могу ли я сама с кем-нибудь приехать на свидание в весенние каникулы, хочешь ли ты, чтобы это было личное свидание, тогда уточни число. Сразу же перечисли, что можно и нужно взять с собой — так, чтобы после свидания тебе передать. Если личное, что специально ты хочешь из еды?

Катенька уже спит.

Мы тебя целуем.

Соня.

(Приписка в том же письме взрослым почерком.)

Левишка, еще раз не волнуйся за Наташу, сейчас уже гораздо лучше, хуже было все это время без помощи. И для детей, и для тебя сейчас так лучше, ты уж поверь. Очень много тебе писала, надеюсь, что получишь. К сожалению, потом такого «урожая» не жди, без меня одна Сонечка так не раскачается — придется довольствоваться малым. Береги себя. Это главное. Не знаю, можно ли тебе давать телеграммы, но попробую. Дело в том, что хочешь запросить относительно бандероли... Привет тебе от бабушки, она очень много помогает все это время.

Целую,

Анита.

5 марта 1986 года. Письмо из зоны.

Родные мои, любимые! Получил, видимо, все ваши письма... То, что Наташу положили в больницу, внесло ясности в мои представления о вашей жизни, до сего дня мучительно неопределенные. Что же делать, все надо принимать, как есть. Милая наша матушка Анита, спаси тебя Господи с твоей добротой. Пиши мне не обязательно заказные — пока вот получаю. Конверты и бумагу не присылай — все есть... Разговор о свидании не актуален, вер-

немся к нему несколько позже...

Если еще не отослали бандероль, то нужна в теплых вещах отпала, — по крайней мере, до следующей бандероли (через 6 месяцев). Не горюйте, не так уж это и важно. Я ничуть не мерз, все есть и без того...

Что же еще? Сонюшка, письма твои хороши, но только тогда, когда ты не просто пишешь: «в художке в порядке», «в школе нормально»... Теперь, когда мамочка в больнице, пиши особенно подробно и часто — но уж раз в неделю — обязательно! Привет не передаю персонально, но само собой разумеется, тем, кто вам помогает, мой поклон и признательность — и родным, и соседям, и друзьям.

Целую вас, родные мои.

Пишите, пишите и пишите.

Лева.

19 марта 1986 года. Письмо в зону.

Дорогой Лев Михайлович!

Пишу тебе, наконец, узнав недавно адрес. Должен кое-что сообщить. Может, ты это знаешь, а скорее — нет.

Дело в том, что Наташа очень сильно больна, причем — давно. Сейчас она уже три недели в психбольнице, будет там еще месяц. Дело идет на поправку, она начала набирать вес, врачи надеются, что все будет в порядке. Попад в больницу, она снова стала общительной, радуется встречам, любит вспоминать Озеро. Мы навещаем ее регулярно, она много и охотно ест, разговорчива. Нормальна во всем, кроме двух «пунктов». Об этом подробнее.

В этот, столь неприятный для нас год мы общались с ней вплоть до лета, поддерживали ее, как могли. А потом она исчезла. Не звонила, не открывала дверь. Мы думали, она уехала. Увидели ее только раз, в сентябре, она была очень холодна, замкнута. Потом опять был большой перерыв. Соня и Катя приезжали в гости довольно часто, но она сама от общения уклонялась. И так было до начала марта.

Теперь о болезни. Сначала, не в силах жить с тем горем, которое на нее свалилось, Наташа вытеснила из себя сам факт твоего преступления закона и она вообразила, что все это большая игра, в которую втянуты буквально все, эти все морочат ей голову, а на самом деле у тебя все хорошо, ты где-то счастлив со своими друзьями и родственниками. Отсюда настороженность ко всем, самоизоляция, мрачное одиночество, нарастание вражды к тебе.

В таком состоянии она была на суде и после. Ты с ней во время свидания в Лефортове виделся уже с **больной**. Ничего не знаю о вашем свидании, но вышеизложенное прими за факт. Наверное, свидание было не таким, каким должно было быть.

В конце декабря она пыталась вскрыть себе вены, но все, к счастью, обошлось. Дети в это время были под Вологодой у матушки Аниты, а Наташа, очнувшись, под Новый Год бросилась туда, хотя вначале собиралась приехать к нам. Уехала налегке, но, Бог хранит, добралась благополучно, даже не заболела. Кинулась она туда под воздействием галлюцинаций: видела девочек мертвыми, струсил. Девочки, естественно, были в порядке, она вернулась и — пошел новый этап болезни.

Вытеснив тебя и то, что с тобой произошло, из своего сознания, она должна была найти себе другую поддержку. И нашла. Появилась мысль, что жив ее отец и его надо найти. С этой идеей она приставала к Елене Николаевне, с которой возобновила отношения, ранее прерванные. И вот в конце февраля она стала проявлять свою ненормальность уже перед посторонними: приставала к какому-то старику в вашем доме, уверяя, что он — ее отец.

Елена Николаевна и до этого считала, что ее надо лечить. А тут, при помощи соседей, ночью, ее отвезли в психиатрическую больницу (обычную, у метро «Калужская»). Там мы ее и увидели в первый раз с сентября, слабую, худую, постаревшую, но какую-то успокоенную. Условия у нее хорошие: чистота, врачи внимательны. Поговаривают о назначении ей пенсии на год. Она была общительна при нашем свидании, но насчет тебя и папы несла чепуху. Путалась в противоречиях и не могла из них выбраться.

Через неделю, 8 марта, она была уже много лучше, но оба «пунктика» были при ней. Хочет лечиться, стала лучше относиться к врачам. Ждет встречи с детьми, собирается «прибрат в доме», то есть все привести в порядок (до этого была разлука).

Девочки с бабушкой Еленой Николаевной. Она (бабушка) от ответственности и внутренней энергии даже помолодела. Хозяйничает, суется. Представляешь? Но настоящий глава дома — Соня. (Лева, в своем воспитании ты был совершенно прав.) Она очень повзрослела, командует в доме ответственно и разумно. Ходит на занятия в художественную школу, хорошо учится, не более (не время). Катя стала совсем большой красивой девочкой — общительна и кокетлива. Пока в доме есть все. Не беспокойся.

Зная твои письма, Лева... О свидании с Наташей и детьми ты пока не думай! Ей нужно поправиться. Не думай... Наверное, она скоро выздоровеет, за детьми мы непременно присмотрим. Да и за ней тоже.

Елена Николаевна написала письмо на Съезд с просьбой о послаблении тебе. Результатов пока нет.

Главное, береги себя, не делай новых глупостей!!!
Целую! И целуем!!!

(подпись неразборчива)

Конец марта 1986 года. Письмо из зоны.

Родные мои, любимые девочки! Как вы там? Натанька, солнышко мое, ты-то как там? Все время думаю о тебе. Что же ты, родная моя? Как же это душа твоя так затуманилась и от меня отделилась? Возможно ли? Ведь я давно уже на многое в этом мире смотрю твоими глазами, а уж о себе самом — точно в твоих понятиях думаю. Ты — жизнь моя. Видно, все-таки как-то душа твоя замерзла и плохо меня ощущает, если такое отдаление, отдаление было возможно. Но я, родная моя, уверен, еще потеплеет у тебя. И молось, и верю, что так будет... Может, напишешь? Не надо много — хоть 2—3 строчки.

Получил я от вас и еще письма, и бандероль, и деньги. Хорошо! Большие все-таки порадовала каткина песенка — хожу и пою себе: «Жили были два котика, съели кашки два горшка», — и вроде бы все у меня прекрасно, пока пою. Жаль только, песенка короткая, быстро кончается. А поэтому, если хотите, чтобы мне жилось лучше, шлите еще и еще каткиных песенок...

Милая наша матушка Анита, спасибо и за письма, и за бандероль, и за деньги — да только ли за это! Бандероль замечательная... Спасибо, что заботишься о детях...

Что же о себе? Живу. Здоров. Теперь, после бандероли, в пределах обстоятельств никаких материальных нужд нету. Все нормально. Голова постепенно возвращается к мыслям о XVIII веке, о Радищеве, о Пушкине. Начал читать об этом... Но душа занята только вами, родные мои. Что там бабушка Лена? Я очень хорошо понимаю и чувствую, что весь дом на ней, и сил, видимо, не остается... Поклон ей низкий.

Лева.

ПОКАЗАНИЯ ОБВИНЯЕМОГО

В лагере надо жить. Надо выжить.

Как бы ни было у тебя на душе, надо ухом выйти на улицу и сделать зарядку. Надо обтереться холодной водой. Надо улыбнуться товарищам и сказать им: «Доброе утро!» Надо отойти в сторонку и прочитать молитву.

Надо жить. Надо выжить...

В лагере не было голодно. Но пища была грубая, тяжелая, однообразная — каши да каши да капуста. Свежего, витаминного — ничего. И поэтому с первой весной, с первой травкой начиналась охота за витаминами. Лучшее всего в ход шла крапива — ее на зоне было довольно много по подзаборным окраинам... Но тоже ведь все становится проблемой.

Чтобы нарвать крапивы, нужно время — хоть пять минут. А когда? Если ты на промзоне в цеху за станком работаешь, то в рабочее время не уйдешь, менты заметят, составят акт о нарушении — либо ларька лишат, либо очередного свидания, либо наберут три-четыре акта и в карцер посадят... Так когда же за крапивой? Если начался перерыв на обед — все. Построились и пошли... Значит, все-таки надо как-то исхитриться, чтобы в рабочее время незаметно, когда мент отлучился, рискуя, выскочить да в дальний угол промзоны смотаться, да нарвать свежих верхушечных листьев — в носовой платок завернуть да в карман спрятать, а лучше в тот же платок да в сапог, чтобы на шмоне по выходе с промзоны не отобрали — в сапоги все же не каждый раз залезают.

Если все это удалось, если горстка крапивных листьев в платке — тут тоже свои заботы начинаются: при съеме на обед вставая в строй первым — надо успеть пораньше до

барака добежать и за те пять минут, что до звонка на обед остаются, успеть кипятком из титана крапиву ошпарить, обжигаясь, тут же ее порезать, в кружку сложить, — тут и сигнал на обед. Но крапива уже готова — ароматная, крепкая зелень — хочешь, в суп клади, а хочешь, со вторым, где каша да два-три крошечных кусочка мяса, как две-три строгалинки от бефстроганов...

Ели мы и цветы одуванчиков. Просто срывали головки и жевали. Они сладкие и нежные.

Пытался я как-то сделать салат — из подорожника, мать-и-мачехи, листьев одуванчика и крапивы. Было не то, чтобы очень вкусно, трава есть трава — но зато зелено и свежо... Но больше я такой салат не делал, потому что оказался он очень сильным биостимулятором. А в лагере тоже не всякую энергию стимулировать надо.

Ближе к осени удавалось иногда набрать горсть рябины — хотя то, что на ветках, раньше нас птицы оклевывали. Нам же доставалось уже то, что на земле, в траву осыпалось. Ничего, горсть наберешь, помоешь — сладость!

Были на зоне и грибы. В одном месте на промзоне рядовки какие-то, в другом, недалеко от столовой, можно было молодых навозников набрать, в третьем, возле ментовской дежурки, луговых опят. Но грибов, понятно, было совсем немного — за лето раза три удавалось нам небольшую кастрюльку потушить — мы их тушили с луком и заливали разведенными в кипятке плавленными сырками, которые иногда случались в лагерном ларьке...

Вообще-то рассказывать обо всем этом немного неловко — нам со всякой этой крапивой и грибами сильно повезло — на других зонах ничего этого нет: голая земля, асфальт. У нас же зона была небольшая, но довольно зеленая — десятка, наверное, три или четыре деревьев, много травы, которую осенью мы, эски, косили после основной работы на производстве — в порядке работ «по благоустройству территории». Куда шло сено — неизвестно, куда-то его за зону увозили.

Но была в зоне и своя живность: на отдельной территории, за особым забором — небольшой свинарник голов на пятьдесят. Хозяйничал тут литовец Генрих Яшкунас — человек, фанатично преданный всякой живой твари (он был «истинный» марксист, уже многолетний эск — и не по первому сроку! — сидевший за то, что обличал правящих марксистов как «неистинных»). Преданность Яшкунаса делу (не марксизму, а свинарнику) постоянно создавала какую-то напряженную атмосферу вокруг свинофермы. Дело в том, что обычному эску на свиней решительно наплевать — хоть они все передохни, — тем более, что мясо шло за зону на ментовское потребление. И, бывало, у работящего Яшкунаса с ленивыми помощниками доходило чуть не до драки...

Работа на свинарнике, со стороны-то глядя, и мне нравилась, и, когда пошел слух, что Яшкунаса увозят — его срок уже к концу шел, — я начал интригу через тогдашнего очередного яшкунасова помощника — чтобы он сказал по начальству, что вот-де есть человек, который не прочь... Но интрига была грубо пресечена: уполномоченный КГБ, мордатый мужик с тонким бабьим голосом и бабьей же задницей — фактический безоговорочный начальник зоны, перед которым и майор-начальник вытягивался и честь отдавал, а прапорщики и вовсе деревенели, — вот этот вот самый уполномоченный, без которого ничья судьба в лагере не решалась, сказал тому моему ходатаю, что меня на ферму пускать нельзя: «Этот писатель начнет мемуары писать». Как же они там с этой фермы воровали, если он боялся и через много лет (да еще выживу ли!) каких-то разоблачений.

Все-таки слово — великая сила! Вон как в страх-то вгоняет. Но и страдать за него приходится — не попал я на ферму, куда и шел только потому, что там, за тем же заборчиком, еще и тепличка была, да и вообще было это место чуть подальше от ментовского глаза, а значит, летом можно было и грядку свою вскопать и посадить что-нибудь, — у человека, держащего тепличку, и семена были... Ничего, заел я эту свою беду горстью рябины, да и забыл про нее. Тем более что скоро меня и раз посадили в карцер, и другой, и третий, а еще раньше и длительного, трехдневного свидания с семьей лишили — и пошли пресовать по всем здешним правилам, а там и вовсе на четыре месяца упрятали в ПКТ (помещение камерного типа — читай: внутрilaгерьная тюрьма) — и вышел я зимой оттуда «тонкий, звонкий и прозрачный», и сил уже не было на свинарнике работать, хоть бы и поставили...

Но нет, все равно надо было каждое утро вставать на

зарядку. Обтираться холодной водой. Улыбаться товарищам. И ждать весны, чтобы сорвать первый пучок крапивы. В лагере надо жить. Надо выжить.

2 апреля 1986 года. Письмо из зоны.

Сонюшка родная, девочки мои любимые — и маленькие, и старенькие. Письма ваши — не знаю, все ли, — но получаю регулярно. Меня они и огорчают, и радуют. По письмам чувствую, что хоть и тяжело вам приходится, но ничего, тяните. Так ли? Как там бабушка Лена справляется — дай ей Бог силы и здоровья! Единственное, чего не хватает в твоих письмах, Соняшка, — подробностей о Наташе. Как она там? Что говорят врачи? Впрочем, в последней открытке есть обещание написать побольше. Подожду... Но я все получаю письма — и от тебя, Соняша, и от матушки Аниты, и даже вот от Леши получил письмо (получил я, читая, почувствовал, что становлюсь слаб на слезы, — если не заплакал от радости, то был близок к тому...) — так вот, от вас получаю, а вам о себе — ничего... Ну что же, родненькие мои девочки, попробую вот о себе побольше.

Что же я? Я совершенно здоров... Когда я впервые обрил бороду, то показался себе очень старым и противным — может быть, потому, что борода — это «грим» значительной, вернее, значимой, старости, а тут значительность сошла с бородой и мыльной пеной, а старость осталась, и было непривычно. Но ничего, теперь я к этой физиономии в зеркале привык — вполне в соответствии с возрастом и положением. Даже и не такой уж старческий кажется. А когда матушка Анита прислала такую замечательную электробритву и я гладко и без раздражения выбрит — то и вовсе спокойно гляжусь в зеркало... Я сит. Питаюсь не хуже, чем в подмосковном пансионате «Чайка» (хуже, чем там, я вообще никогда и нигде не питался!). Одет достаточно тепло, а после матушкиной бандероли — уж тем более не замерзну. Да и наступила весна... К слову, климат здесь прекрасный, здоровый. И воздух чистый, уральский...

И уж тем более вы не должны тревожиться за мое душевное здоровье. Словом, я здоров вполне. Жизнь должным образом упорядочилась. Ежедневно я стараюсь часа по два заниматься. Читаю по-английски. Можно даже сказать, занимаюсь английским серьезно — и после стольких лет перерыва занимаюсь с неожиданным удовольствием — видимо, мои занятия русским языком дали и новый вкус к английскому. Вообще за последний год я очень много читал — от Гомера до Леви-Стросса... Последнее, что прочитал — в сборнике английский пьес (на английском), который, к сожалению, был у меня на руках всего несколько дней, с удовольствием прочитал семейную драму того Шеффера, который написал и нашу великую пьесу о Моцарте — ту, что так не понравилась мне у Товстоногова. Но все же, прочитав, подумал: вам бы, милые, их проблемы семейные! Сейчас наслаждаюсь Шервудом Андерсоном (на английском же) — вот безоговорочно прекрасный писатель, но до Чехова, понятно, сильно не тянет...

Книги я здесь могу получать только через книжные магазины — наложенным платежом. Правда, здесь возможности довольно широкие, в принципе можно получить книги из любого магазина страны — скажем, я недавно получил толковый английский словарь Хорнби (не большой, к сожалению, как я запрашивал, а учебный, но для моих нынешних нужд пока и этот хорош). Но, понятно, не все доступно. Вот очень бы нужен недавно вышедший томик Романа Якобсона (кажется, в «Прогрессе»), но понимаю, что дефицит, и не знаю даже, какой магазин мог бы выслать. Но вместе с тем, скажем, «Контексты» или «Проблемы структурной лингвистики» и многие другие хорошие книги сюда поступают регулярно. Словом, книги есть, а значит, и есть, что делать, а поэтому я исподволь начинаю подбираться к пушкинской теме...

Пишите, пожалуйста, нет ли пропуска в ряду моих писем (они пронумерованы все), и возьмитесь нумеровать свои. Целую вас, любимые мои! Обо многом, Соняша, хочется еще сказать тебе, но это уже в следующем письме.

Л.

5 мая 1986 года. Письмо из зоны.

Девочки мои любимые! Вот горькое известие: мне было объявлено, что я лишен длительного свидания — то есть того самого, о котором так мечтал и на которое ждал вас

всех. Не то, чтобы этого нельзя было предвидеть... но все равно горько. Так что ехать вам не надо. Понимаю, что вас это тоже огорчит, но что же делать, если за все, что происходит в моей жизни, огорчениями и горем приходится вам расплачиваться. Что же делать... Как ни трудно, а будем учиться все принимать с благодарностью — даже и само горе... Что же писать... Живу. Работаю. Зимой работал кочегаром, сейчас вот ремонтирую те печи, которые топил зимой. Впрочем, пришлось на несколько дней затопить снова, так как после десяти дней совершенно летней (до +25°) погоды задул северный ветер, выпал и лежит снег... Ладно, что-то не пишется мне сегодня... Как ты там, Натанька, горюшко мое? Соняшины письма весьма информативны, спасибо, родная, — последнее было о посещении Наташи в больнице...

Катечка любименькая, читаю я с огромным удовольствием и то, что ты мне пишешь, и следующее свое письмо я напишу тебе, а пока вот: ПАПА ОЧЕНЬ ЛЮБИТ КАТЮ.

Целую вас, родные мои.

Лева.

28 мая 1986 года. Письмо в зону.

Левонька, миленький, родненький!

Вернувшись из больницы, я увидела совершенно измученную, землистого цвета бабушку, совершенно издерганную Соньку и Катьку, которая затаенно, постепенно, не сразу поверила, что я — это я — ее мама. На другой день она старалась привести в дом всех своих подружек — показать, что у нее есть мама. Если кого-то нельзя было привести, она стояла под окном и кричала: «Мама!» — я выглядывала в окно, и этого ей было достаточно.

С Сонькой была просто катастрофа: после твоего ареста у нее немедленно пропал цвет в работах, было все грязно и тускло, работала еле-еле. Потом пропала линия. Я не знала, что делать, не знала, надолго ли это. И не знала, чем помочь ей. Да и не могла я раньше ей помочь ничем. Сейчас уже все чуть свинулось. Делаю ей хвойные ванны. Она спокойнее. Возвращаются и цвет, и линия. И ее все это радует. Она уже чувствует каждую удачную свою работу, и это ей в радость, и спокойствие, и в удовольствие, но все же приходится заставлять.

Не знаю, что писать тебе. Даже сердце болит от невозможности написать все-все. Да и физически после больницы писать очень трудно. Похожу по квартире и опять пишу строчечку.

Письма твои получила все. Идут они примерно две недели.

Псылаю тебе Катюшкины песенки. Она все поет и пританцовывает. И научилась кататься на велосипеде. Научилась очень быстро и была счастлива. Вчера был ее день рождения.

Начала писать 26-го мая, а сегодня уже 27-е. Отправляю, не дописав про день рождения, а то прособираюсь. Уже хорошо, что писать начала, а то после таблеток больничных писать очень трудно.

Целую, миленький.

Наташа.

Уже 28-е — иду опускать тебе письмо и поведу Катьку в поликлинику — оформлю ей медкарту для школы — пойдет в подготовительный класс, а то ей дома скучно.

Писать тебе — так странно, я будто бы и не расставаюсь с тобой — ты рядом и все знаешь и без писем.

Целую.

28 мая 1986 года. Письмо в зону.

Дорогой Лева, с огорчением узнал, что твои девочки к тебе не едут. Жаль, потому что ты бы порадовался за них и успокоился — как порадовались и успокоились мы, когда приехали поздравить Катюшку с днем рождения. Праздник удался на славу — было много детей, и торт со свечками, и масса всяких шипучих лимонадов, и, главное, обстановка праздника — улыбающаяся Наташа, красавица Соня в вышитой белой блузке и красной юбке — невеста из гоголевской сказки! Елена Николаевна на кухне в боевой готовности. В доме чисто и светло, книги и рисунки Соняши на стенах... Пишу тебе не для того, чтобы «отчитаться»,

а чтобы ты почувствовал изменившуюся атмосферу дома, связанную в первую очередь с улучшением Наташиного состояния. Впрочем, она, надеюсь, тебе сама напишет. Забыл сказать, что наш Алешка с восторгом и завистью изучал Сонины дипломы и медаль из Японии. Ты знаешь о них? За конкурс рисунков.

Письма твои читал...

Держись, Лева. Желаю тебе мужества и сил. И здоровья — это тоже важно. (Насколько это может от тебя зависеть, говоря твоими словами, «по обстоятельствам».) Все тебя помнят и присоединяются к моим пожеланиям. Домашние тебе кланяются.

Жму руку.

Алексей.

ПОКАЗАНИЯ ОБВИНЯЕМОГО

Вот они выхватили тебя днем с работы, наскоро приговорили — минутная формальность — и, захватив в жилом бараке твою кружку и ложку, вдвоем, втроем обступили, повели, потащили.

И все встречные знают, куда тебя ведут. Спрашивают: «Сколько дали?» «Тринадцать». Тринадцать суток ШИЗО (штрафного изолятора), карцера.

Это в зоне еще особая зона. За нашими заборами еще особо забором выгорожена. Совсем глухо отгорожена от мира. И домишко слепой — на окнах деревянные бельма повешены.

Темная камера. Стены — грубо застывший наляпанный бетон, бетонная «шуба». Холодно. Сыро. Стены сырые, с потолка капает, и на полу вдоль наружной стены собирается лужа... Голые нары — и те днем подняты к стене, закрыты на замок. Днем — от подъема до отбоя — сидеть можно только на бетонной тумбе с деревянным кружком-сиденьем, и облокотиться можно только на бетонный холодный стол, но надолго не облокотишься, от холода начинают ныть суставы.

Тут всякая мелочь становится значима... Мне вот, к примеру, везло. Из четырех длительных карцерных сроков три я провел в камере, где одни нары (а всего их в камере четверо) — так вот, одни нары из четырех были недавно отремонтированы, и их почему-то упустили покрасить. А красят жесткой нитрокраской, поверхность становится гладкой, стеклянной, холодной. А ведь ни матрасика, ни хотя бы бушлатика — под себя подстелить — ничего этого у тебя нету, только тоненькая хлопчатобумажная одежонка на тебе — ложись на голые нары и спи. Да хорошо ли уснешь на этом холодном стекле... Но те некрашенные нары были иные — струганое сухое теплое дерево, и если удавалось еще пронести хотя бы половину газеты из рабочей камеры или из бани — это и вовсе была удача, — газетой можно укрыться, газету можно к ногам под носки записать.

Газета, да и любая бумага — спасение в карцере. Хорошо тем, кто получает много писем. Газеты-то в карцер не доставляют, а вот письма обязаны приносить по мере их поступления. И вот мне как-то за двенадцать или тринадцать дней карцерного сидения пришло семь писем от родных и друзей. К концу этого срока я ложился спать, позаснував развернутые письма под майку, и было мне тепло и спокойно. Любимые грели меня.

Но сама возможность иметь в камере хотя бы клочок бумаги зависит и от того, насколько крепко тебя прессуют. Захотят и письма задержат до конца карцерного срока или вовсе будут конфисковывать все подряд, что тебе с воли приходиться будет, или и без конфискации станут выкидывать, тебе ничего и не объясняя даже. Когда-то, наконец, случится, придет письмо — родные пишут: шлем, шлем письма, а нет, не получал ничего месяцами.

Если сильно прессуют, то в ШИЗО и из рабочей камеры не дадут клочка бумаги пронести, будут каждый раз на шмоне догола раздевать, каждый шовчик трусов прощупают. Не только что газеты у тебя не будут — и для параша-то, для санитарных нужд станут бумагу давать размером с почтовую марку — пойдешь, управься...

И, наоборот, если велено им отпустить пресс или только начали прессовать и еще не сильно закрутили, то шмонать будут не очень жестоко, можно и газетку притырить, и еще коротких проволочек из цеха натащить, чтобы на ночь ими приторочить куртку к брюкам — и получится такой комбинезон, спальный мешок — пусть из тонкой бумажной ткани, но в него уже можно с головой залезть и надышаться немно-

го — все легче.

Здесь, в карцере, как нигде, ощущаешь ничтожество своей телесной оболочки. Я слышал, как в соседней камере в голос плакал старый закаплатский крестьянин Иван Новак (мальчишкой он был мобилизован немцами, теперь десять лет строгого режима — старику). В карцере ему было нестерпимо холодно. Он плакал. Менты смеялись в коридоре, заглядывая в глазок его камеры...

Плоть здесь ничтожна... Время, проведенное в карцере, — это время чистого духовного опыта. Нигде и никогда не бывает так светла молитва, как здесь. Нигде и никогда не чувствуешь так близость Света, к которому и обращена молитва... Никогда и нигде не дается тебе такая ясность мышления и миропонимания.

Здесь являются высокие слова. Вся бетонная поверхность стола, покрашенная все той же стекловидной краской, исцарапана надписями — по-грузински, по-литовски, на иврите. Что там — жалобы, стоны? Да нет, вряд ли. Вот порусски: «И будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня... Претерпевший же до конца спасется».

И еще:

Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.

Поэтический дух Ахматовой посетил кого-то в камере...

Вообще-то старик Новак оказался в ШИЗО по какой-то, не помню уже, случайности. Стариков, сидящих «за войну», начальство не прессует. С них что взять, они материал послушный. Их здесь держат просто из принципа «ничто не забыто, никто не забыт» — они и на воле никому не помешали бы. Многие из них в момент ареста были на руководящих должностях, были в партии — нормальные советские люди. Иное дело — «семидесятая статья», политические — эти не когда-то, сегодня активны. Эти себя не виноватыми — правыми считают. Эти и после суда при своих взглядах. Вот этих-то и таскают по карцерам, обламывают. И чем крепче человек стоит, тем больше над ним звереют...

Я никогда не мог понять, что им от меня надо?

Кто я такой? Почему оказался в лагере? Почему теперь в карцере?

Я — писатель. Я — думал и писал. Мне казалось, что я кое-что понял в жизни страны, в жизни общества. Я сказал об этом вслух. Я могу понять, что мои идеи не каждому близки. Но ведь это только идеи! Они подкреплены доказательствами. Они опубликованы, их прочитали и услышали по радио тысячи читателей и слушателей — их теперь нельзя убить в карцере. Их можно только опровергнуть другими идеями.

Но нет, мои идеи здешнее начальство не интересовали. Никто из них, кажется, и не знал, за что я сижу. Им сказали только, что я — особо опасный преступник. Они знали только, что я не раскаиваюсь, что я упорствую в своих преступных взглядах на жизнь.

«Вы не хотите стать советским человеком», — заявил мне как-то майор, начальник лагеря. Это был приговор. И кому там важно, что именно я доказывал в своих книгах. Известно, что я закоренелый преступник — все! Меня начали прессовать.

Самое страшное не карцер. Ну, померзнешь немного — ничего... Они знали, что именно для меня самое страшное, они лишили меня длительного свидания с женой и детьми (это за год три-четыре суток максимум — длительное!) — да и тех политических не дают — сутки, двое от силы). Я ждал этого свидания. Жена была больна. Мне казалось, я смогу повлиять на ход ее болезни...

Уже через много дней после замполит зоны — маленький прыщавый старлей с университетским значком на груди — спокойно сказал мне, что свидания меня лишили именно потому, что я его больше всего хотел. Я онемел от этой откровенности. А он засмеялся, как смеялись надзиратели, когда Новак плакал от холода. Он смотрел на меня открыто и прямо. Ему нечего было скрывать. Это были принципы лагерной педагогики, спущенные сверху. Он их выполнял.

Я не испытывал ненависти к нему — только тоску и омерзение...

Мне с женой и детьми дали короткое свидание — три часа разговора через пыльное стекло. Я даже младшую дочь не смог взять на руки. Даже дотронуться до них не мог —

только до пыльного стекла перед ними...

А потом пошли карцеры, карцеры. Из меня пытались сделать «советского человека». Выпустить меня отсюда способным думать и говорить по-прежнему они не могли. Не имели права. Это была бы их недоработка... Машина крутилась, и сопротивляться ей или искать компромиссов было моим личным делом. Только моим личным делом. Решительно никого не интересовало, останусь ли я жив. И это было только мое личное дело.

Однажды в карцере я тоже выпарапал стихи на бетонной поверхности стола:

Заблудилась душа моя в звездах,
Закричал я во сне и проснулся,
Поздно жизнь мне менять, но не поздно
Лба холодным трехперстием коснуться.

Обратиться очами к Востоку,
Вспомнить восемь стихов от Матфея
И предаться слезам и восторгу,
Перед словом Господним немая.

Конец июня 1986 года. Письмо в зону.

Милый Левонька!

Мы тогда остались и ночевали рядом с тобой, уехали утром. И для детей, и для меня это было очень важно. Катька сказала: «Бедный папочка — живет за забором». Сонька окрепла и поуспокоилась. Говорят о тебе с радостью — печаль и тоску высказать еще не умеют — все отзовется потом.

Ездили по гостям, к друзьям на дачи...

Никто не представляет себе тебя бритым, а нам ты очень-очень понравился. Все вспоминаем, какой ты.

Миленский, напиши поподробнее, что приготовить для бандероли. О шерстяном белье я поняла, постараюсь. Что еще? Приготовила рукавицы теплые и носки — нужны?

Сонька сказала после нашего свидания: «Вы оба так светились, что мы с Каткой были не нужны» — обиделась. Говорит: «Я вас такими не видела». Миленский, родненький, жаль-то как, что она раньше нас не видела такими, но как хорошо, что все же увидела, и отметила, и запомнит.

Я все живу радостью нашего свидания. Все вижу тебя. Нашла блоковский «Сиенский собор» и все повторяю. А Жуковского у друзей нет. Попрошаю еще. Сегодня Троица. Наш праздник. Я знаю — ты с нами сегодня. И очень это чувствую. Так светло.

Оля по молодости своей сказала, что будешь ты старый через пять лет. Разве старый? Дожить бы.

Сонька стала писать маслом. Купила ей краски и холсты. Очень ей понравился. Акварелью тоже работает. Было вяловато и сухо, но должна освободиться.

Сегодня уже 23-е — Духов день, и сегодня получили письмо от тебя. Не сердись, милый, что не пишем. Соня не пишет — я для этого есть, а для меня странно еще писать — ты с нами постоянно, надо привыкнуть писать.

Целуем, родненький.

Наташа.

Ах, пингвин, пингвин, пингвин.
Бело пузо, черный спин.

Это Каткина песенка — ей матушка подарила пингвина. Целуем.

Конец июня 1986 года. Письмо из зоны.

Девочки мои любимые, Натанька! После свидания я только на следующий день немного успокоился, и тогда вдруг стало горько — именно вдруг. Какой-то короткой, острой конвульсией — но прошло, а осталась — и до сих пор — радость, что вы были, что я вас видел, что вы такие красивые, умные — и, конечно же, радость, что ты, любимая моя, смотришь здоровой. Надеюсь, подробности вашего обратного пути уже идут ко мне в письмах?.. На этой же неделе получил я письма — твоё, от матушки Аниты два, от Леши, Сонянины открытки — и всюду каткины письма и песенки — все получил, прочитал по пять раз и хожу счастливый, пою каткину песенку:

Что бы мне такое сделать
Из изделия вчера?
Что бы мне такое сделать
Из изделия сегодня?

А правда, что бы? Сегодня выходной, идет дождь. День большой-большой, и много сделать можно. Я вот отчитал свой ежедневный час по-английски (в будни вечером, в воскресенье — утром) — и что бы еще сделать из изделия сегодня? Все чаще возвращается сознание к «Онегину»... Скажи, пока ты болела, я и думать не мог, что сумею писать о Пушкине. Так, брезжило что-то в душе, как тоска. Но вот ты здорова — и сознание мое как бы освобождается от спазма... Что мне сейчас важно? Самое интересное и важное сейчас — подумать о композиции, о композиционных принципах, о структуре романа...

Ладно, миленькие мои. Вот я начал с утра это литературоведческое письмо, а теперь уже к вечеру — устал так долго писать с не привычки. Что же еще? Тут, конечно, приходит в голову много побочных мыслей — и о композиции соняных картинок, и об особенностях композиции лепных игрушек — частично это обсуждал Лессинг в «Лаокооне». Когда-нибудь поговорим...

Как там, Соняша, твои труды?..

Всем приветы и поклоны.

Целую вас, родные мои.

ПОКАЗАНИЯ ОБВИНЯЕМОГО

В слепом домишке лагерного «штрафного изолятора» — тюрьмы внутрилагерной — всего шесть камер. Шесть камер, крошечная баня на одного человека (а запикивают сюда и по трое) и еще просторная дежурка для надзирателей. Здесь, вдалеке от строгих глаз начальства (у них ведь тоже свои проблемы), надзиратели любят собираться ночью, посидеть, попить чайку, потравить анекдоты — все это с громким ржанием, от которого вздрагивает и просыпается забывшийся в карцере трясущийся от холода ээк.

На шесть камер — три камеры для карцера, две — для ПКТ (помещение камерного типа — строжайший тюремный режим, строже обычной тюрьмы) да еще рабочая камера — небольшой цех. Назначено ли ээку полгода ПКТ или неделя — другая в карцере — он обязан работать. И на работу выводят в эту самую рабочую камеру. ПКТ, как правило, выводят в первую смену, карцер во вторую.

Когда сидишь в карцере, то возможность выйти в рабочую камеру — благо. Тут можно даже найти пару сигарет — есть такие укромные места, о которых не то чтобы менты не знали, но в которые им добираться каждый раз лень — они ведь тоже люди с советской психологией и, создав видимость работы, больше того пальцем не двинут — то-то и ээку благо, а то бы вовсе невпродых было.

Сигареты оставляют ребята, сидящие в ПКТ, — им и курить разрешается, они и газеты в камеру получают. В тюрьме закон: чем строже режим у человека, тем больше ему внимания от товарищей. А уж строже карцера режима не бывает. Карцеру — самое уважение.

Когда в декабре 1985 года я только еще приехал на зону и здесь, в «штрафном изоляторе», проходил десятидневный карантин, то первое человеческое слово я услышал из дырки отхожего места: «Здравствуй!» — прошептало мне оттуда. Я поздоровался и представился. «Вы прибыли на 36-ю, политическую зону, — тихо, но с напором шептало в ответ. — Я Алексей Смирнов, москвич, сижу по 70-й статье за издание «Хроники текущих событий». Сейчас нахожусь в соседней с вами камере — в карцере, уже больше месяца безвыходно. Последний раз добавили десять суток срока за то, что одна пуговица на куртке была расстегнута. Издеваются... Но не во мне дело. Чем вы можете помочь товарищам, сидящим в ПКТ? Там писатель Борис Черных. У него болящая печень. Передачку можно оставить в прогулочном дворике в снегу...»

Он ничего не просил для себя. Он говорил о сидящих в ПКТ — Борисе Черных (пять лет лагерей и три ссылки за создание «Вампиловского педагогического товарищества» в Иркутске), о ленинградском историке и поэте Ростиславе Евдокимове (шесть лет лагерей и четыре ссылки за издание бюллетеня, пропагандирующего независимые профсоюзные). Он ничего не просил для себя, хотя уже сороковой день сидел в камере, где одна стена была покрыта густым инеем. Уже потом он мне рассказывал, что ему было не так уж плохо, потому что удалось хлебным клеем склеить одеяло из трех газетных листов — из газет, которые Черных и Евдокимов оставили ему в рабочей камере.

Сидел он в камере не один, а с молодым парнем из Киева, с Сергеем К-о (десять лет лагерей за одно свидание с амери-

канским военным атташе. Американец малость не расчухал и решил, что парня можно завербовать «явочным порядком», и послал ему до востребования в городишко, где Сергей тогда временно жил, письмо, написанное тайнописью, с инструкциями. Письмо так и пролежало невостребованным — да парню и в голову не пришло бы, что он завербован, — пока не вскрыли письмо «заинтересованные лица». Тайнопись проявили — К-о получил десять лет). Так вот, Сергей, с которым я, в свою очередь, тоже в карцере сживал, очень хвалил Смирнова за находчивость: и при газетах всегда были, и курево было, и даже пару раз чайком побаловались — дали знать на зону, и с деталями в цех было прислано... «С ним хорошо сидеть», — говорил Сергей, и это высшая похвала для зэка. А может быть, и вообще высшая похвала для человека в этой жизни.

Хорошо сидеть было с Борисом Ивановичем Черным. Мы сидели с ним несколько месяцев в ПКТ уже через год после моего приезда на зону и его первого «пэкэтэшного» срока. На Новый год — 1987-й — мы себе не только чаю заварили, но даже торт сделали (крошка ларечного печеня, маргарин, пыль какао с сахаром, ссыпавшаяся с дешевых карамелей, яблочное повидло. Чай же нам — пару хороших заварок! — опять-таки в укромном месте рабочей камеры оставил азербайджанец Алиев, бывший в то время на карантине после возвращения из Чистопольской тюрьмы (к сожалению, я так и не успел с ним хорошо познакомиться: вскоре после того, как я вышел из ПКТ на зону, посадили его). Ему же этот чай тоже достался в порядке зэковской взаимовыручки — кто-то на этапе сунул: человек, возвращающийся из крытой, — самое уважаемое лицо в пестром этапном потоке — и в камере, и в «столыпине». Ему через весь вагон и чайку передадут — если не заваривать, так хоть пожевать, — и курева, и вообще, если нужда в чем-то есть — ну, скажем, тапочки нужны — найдут, подберут поудобнее и подгонят.

Вообще на нашей политической зоне никто не голодал еще и потому, что хорошо была поставлена взаимовыручка. И если менты упорно прессовали кого-то, и упорно, месяц за месяцем, лишали ларька и посылки, то так же упорно, месяц за месяцем, все остальные со своих ларечных покупок отделяли должную часть — и жил человек, не нуждаясь. Душой этой взаимовыручки был католический священник о. Альфонсас Сваринскас — многолетний зэк, тянувший уже свой третий срок (на этот раз за издание журнала «Комитета в защиту верующих» — семь лет лагерей и пять лет ссылки). Он внимательно следил, чтобы у каждого из нас была пачка маргарина, банка повидла, флакон подсолнечного масла, горсть дешевых конфет... В рамках предложенных обстоятельств никто не сидел одиноко, сложив руки и понутив голову, хоть и были все люди разных мировоззрений. Наша правота, наше сопротивление было еще и в том, что мы стремились выжить не каждый по отдельности, но все вместе. И в этом один поддерживал другого. И если была хоть малейшая возможность, никого не оставляли в одиночестве.

И когда кто-то погибал, в этом не было вины его лагерных товарищей. Туда, за край, уходили люди, удержать которых у нас просто не было возможности...

Может быть, мне и здесь повезло. Говорят, на других зонах было иначе. Говорят, политзэки были разъединены, а иногда и вовсе вражда разъедала зону... Не знаю. По отношению к нравственному климату 36-й политической зоны в те времена, когда я здесь сидел, в моих словах нет ни тени идеализации. Все так было, как я говорю.

Повторяю, за край уходили только те люди, удержать которых у нас просто не было возможности.

Начальнику Главного управления
исправительно-трудовых учреждений
МВД СССР
от Экслер Натальи Евгеньевны

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, жена Тимофеева Льва Михайловича, находящегося в заключении в лагере 389/36, не имею никаких известию о нем с 9 сентября с. г. На телеграмму, посланную в лагерную медсанчасть, я не получила ответа.

Прошу помочь мне узнать, что с моим мужем.

Когда я раньше спрашивала начальника лагеря, почему не приходят письма, то он отвечал, что последнее письмо отправлено такого-то числа. Но когда отправлено последнее

из дошедших писем, я и сама знаю. Меня тревожит, почему так долго нет писем. Они не доходят? Или мой муж не может писать?

Если не доходят, то почему?

По последнему письму за 9 сентября я поняла, что два не дошедших до этого письма (за август и сентябрь) были посвящены рассуждениям чисто литературным (мой муж — литератор и был занят изучением творчества Пушкина до ареста). Имеет ли право заключенный делиться в письмах семье своими размышлениями о литературе? Если цензорам что-то не понятно в этих размышлениях, то причина ли это для конфискации писем?

Прошу Вашего содействия. Прошу разобраться, по каким причинам были задержаны письма (заказные). Может быть, с ними ознакомились более грамотные цензоры, которым будут доступны размышления о Пушкине, которые способны понимать, что это действительно размышления о литературе, о законах творчества, что за ними нет никаких намеков и второго смысла.

И мне, и нашим детям очень важно знать, имеет ли мой муж хоть малую возможность продолжать свои занятия литературой и посвящать нас в свои литературные интересы.

Это о конфискованных письмах. Но я тревожусь, что мой муж вообще лишен возможности писать письма и подвергается в лагере притеснениям. И не только отсутствие писем это подтверждает.

По произволу лагерного начальства нас лишили положенного в этом году личного свидания. Начальник лагеря Долматов сказал, что он не помнит, за что именно лишен свидания мой муж, и отказался говорить на эту тему. Опер. Журавков заявил мне, что мой муж грубит, не выполняет норму и нарушает режим. И все оказалось ложью. На общем свидании мой муж рассказал, что до того, как он подал заявление о личном свидании, у него не было ни одного замечания, но сразу после заявления начались мелкие придирижки (вышел вне строя — замечание, раньше почему-то не замечали, надел не тот лагерный бушлат — замечание — раньше ходил так же, но не обращали внимания). Разве это не показывает бесчеловечного стремления лагерного начальства под любым предлогом не дать свидания и этим унижить, оскорбить надеющегося узника... и в этом вопросе я еще раз прошу Вашей помощи и контроля. Я прошу положенного личного свидания.

Почему по произволу лагерного начальства наши дети лишаются возможности хоть три дня в году побыть вместе с отцом? А не только три часа смотреть на него через стекло.

И еще. Насколько мне известно, при каждом лагере существует помещение гостиничного типа, где могут останавливаться родные, приехавшие на свидание. Я попросила поместить меня с детьми в такую комнату. Начальник лагеря отказал. И только после моего обещания почитать с детьми на улице нас поместили в нежилую, грязную, промозглую комнату. При этом опер. Журавков заявил, что если бы не дети, то меня-то они уж точно оставили на улице. Если мы родные человека, осужденного за свои убеждения, то дает ли это право на бесчеловечное обращение с нами? У них служба, но и служить можно с достоинством, не опускаясь до лжи и хамства. Если эти люди не отказывают себе в удовольствии поиздеваться над женщиной с детьми, то какие же у них возможности для жестоких издевательств над людьми, которые находятся под их неограниченной властью?

Может быть, все-таки в Ваших силах помочь нам всем?

13 ноября 1986 года

Подпись.

ПОКАЗАНИЯ ОБВИНЯЕМОГО

Когда после суда меня привезли в лагерь, Михаил Денисович Фурасов был уже очень болен, и все понимали, что болен он безнадежно: он горстями ел снег, чтобы хоть как-то избавиться от вкуса мочи, который он постоянно ощущал во рту, — почки уже вовсе отказывались работать.

Это был очень тихий, очень вежливый человек. Интеллигент, кандидат технических наук... Эзки, которые любят обмениваться для чтения своими приговорами и знают все о судебных делах каждого, установили специальный приз — пачку чая — тому, кто скажет, за что сидит Фурасов. Это была тайна. Его дела никто не знал. Была у него статья 70

(в ее украинской версии), но говорить о подробностях он не хотел: «Я давно признал свою вину. Теперь надо выжить и выйти отсюда».

Выжить в лагере люди пытаются по-разному. Можно в «седьмом кабинете», в кабинете уполномоченного КГБ, этого хозяина зоны, распорядителя наших судеб — можно в этом кабинете дать понять, что ты готов к долгим содержательным беседам. Это, конечно, за зону не выведет, но освободит от мелких придирок, и бандерольку в срок получишь, а придет время — и посылку, да и свидания не лишат, как строптивых лишают, а дадут длительное, «личное», на положенные трое суток, да еще могут и дополнительное, льготное разрешить — опять трое суток с семьей... Да и работу дадут полегче, а то и вовсе художником или даже нарядчиком поставят...

Нет, Михаил Денисович хоть и был до робости тихим эзком, но никакими льготами не пользовался. Напротив, трудно сказать, за что, но его спокойно и верно убивали на глазах у всей зоны. И ни для кого это не было тайной, и только сам Фурасов как бы не хотел этого видеть и сердился, когда ему предлагали организовать коллективную поддержку — писать в его пользу или объявить голодовку. Он боялся озлобить ментов. Он боялся их злобы.

И действительно, менты, кажется, и не злились на него...

Когда-то, года за полтора до меня, он приехал на зону здоровым человеком. Делал зарядку, бегал по утрам по небольшой лужайке возле медчасти, обтирался холодной водой. Но зимой простудился — то ли выгнали его в ботинках мокрых снег убирать, то ли заставили шлак на холодном ветру грузить, и его, распарившегося от работы, и прихватило — как именно простудился, он и сам не помнил. Простуда дала осложнение на почки. Врач посмотрел, дал какие-то таблетки, но от работы не освободил, хоть от таблеток лучше не стало.

Прошло месяцев пять, если не больше, прежде чем его повезли в больницу или, как здесь говорят, «на больничку». Там — когда иного завсегда «седьмого кабинета» держат в больнице и по месяцу, и полтора, отпуск ему устраивают, отдых — Фурасова продержали всего две недели, лечить не лечили, но анализы сделали. Врач посмотрел анализы, сказал: «Теперь мы знаем, что с вами», но опять — как-то странно — лечить не стали, а отправили назад, в зону.

Вот и все. Лечение закончилось, не начавшись. Давали, как и прежде, какие-то таблетки, но толку от них не было. Казалось, что лагерное начальство, а из-за их спин и врач, со спокойным любопытством смотрят, как развивается болезнь и как движется человек к краю. Двигается и движется, и они его туда подталкивают и подталкивают полегоньку...

Фурасов работал не то чтобы на трудной, но на достаточно нудной операции: за маленьким станочком нарезал он мечиком еле видимую резьбу в крошечном латунном контакте — зона делала детали для электроустановок, которые собирали где-то на другой зоне.

В цеху гуляли сквозняки. Фурасов сидел целый день, сгорбившись, за своим станочком, укрывшись больные почки бушлатом. Из-за станка не встань, не отходни — сразу замечание, а то и наказание — или ларька лишают, или заставят вне очереди снег на жилой зоне убирать после работы.

Уставал Денисыч сильно, к концу рабочего дня опухали ноги, но даже и в свободное время хоть бы прилечь на койку — нельзя, запрещено. Вечерами в бараке за большим столом, где люди читали или играли в шахматы, он сидел рядом с нами, положив голову на руки и тяжело забывавшись. Так он ждал отбоя, после которого можно было, наконец, лечь по-настоящему.

Но ночью Фурасов спать не мог. Он постоянно просыпался. Мучили почки, мучила мигрень, мучил отвратительный застоявшийся вкус во рту — хотелось полоскать рот чистой водой, хотелось пить чистый растопленный снег — и он вставал, бродил по бараку, заходили дежурные менты (и по ночам нет покоя!) — громко топая, светя фонариком на лица спящих, — и Фурасов выслушивал их змеиные, свистящим шепотом замечания.

Болезнь развила в нем обостренное «чувство пользы». Весной он первый находил на зоне пучок свежей крапивы и, ошпарив кипятком, съедал его. В ларьке из наших жалких эзковских восьми рублей, положенных на все про все (хотя ему, кажется, регулярно разрешали потратить еще пятачку — «производственные» за выполнение нормы и за безупречное поведение — словно знали, что это не остановит его движения к краю), — из этих жалких денег он каждый раз

выкраивал что-то на свежие (на самом деле всегда полугнилые, бросовые) овощи — редьку или лук. (Нужды нет, что их-то как раз почечному больному и нельзя — где уж там! — другого-то свежего нет ничего, а хочется.)

Иногда вдруг он задавал вслух вопросы, которые диктовал ему не разум, но диктовала его болезнь: «Почему они не завозят в ларек молочные продукты?»

Он надеялся выжить и выйти отсюда. Он был совершенно одинок, и, хотя ему было уже пятьдесят, он рассказывал, что решил было жениться, но вот помешал арест. Но он еще надеялся. Он говорил мне, что скоро он выздоровеет и снова начнет делать зарядку и обтираться холодной водой. Он спрашивал у меня, сколько может стоить домик — пусть какая-нибудь развалюха — в сельской местности. Кажется, из своего почти символического заработка (и того половину «законно» забирает «хозяин» — начальник зоны) — из этой малости он ежемесячно откладывал что-то пятнадцать ли, двадцать ли рублей — на будущий дом. Он надеялся купить развалюху и дать ей ремонт... Сидеть ему было еще пять лет, и он надеялся.

Добило его, кажется, общее для всех ежегодное распоряжение о переходе на летнюю форму одежды: с началом лета бушлаты носить запрещалось. Наступал июнь, начальству — сытым, здоровым — показалось, что уже достаточно тепло, и последовал приказ: телогрейки снять... Как-то завернул северный ветер, пошел дождь — но приказ есть приказ: кто вышел в бушлатах-телогреечках — тех от ворот промзоны назад, да еще и со взыванием за получившееся опоздание да за ослушание. Так и с Фурасова в этот ветер и дождь сорвали бушлатик. И еще его к краю подтолкнули, теперь уж совсем близко...

Недели через две, что ли, я проснулся ночью от того, что кто-то в секции сильно храпел. Вообще-то в лагере храпунов хватает — люди все немолодые и больные. Я, к слову, долго спал рядом с человеком, который громко — громче, чем храп, — скрипел зубами. Скрипел на всю секцию, где спали тридцать человек, — и я к нему всех ближе спал — и ничего, привык. Но тут был такой храп, что я проснулся. Храпел Фурасов. К нему уже склонился его сосед: «Он не храпит — хрипит без сознания...» Побежали за дежурным, послали за врачом.

Врач пришел, да хоть он и будет на зоне — к больному в секцию не придет, хоть пусть умирает человек — несите в медсанчасть.

В ночных сумерках, почему-то не зажигая света, двинулись темные тени над хрипящим Фурасовым. Положили на носилки. Понесли. Исчезли.

Утром увезли его «на больничку». А на следующий день он умер.

О смерти Фурасова начальство прямо не сообщило. Но когда через день кто-то спросил по-хитрому, не умер ли Фурасов, дежурный чин окрысился: «Ну и что, что умер, — и на воле люди умирают». Так люди узнали, что Михаил Денисович до своего домика не дожил.

В день, когда Фурасова еще только увезли в больницу, меня как раз посадили в карцер — не помню уж точно, как было сказано, за что, — кажется, за голодовку, которую мы объявляли, протестуя против сдвигивания бушлатов с окошечных эзков.

Вышел я из карцера больной и пошел на прием к лагерному врачу — к длинному, довольно спокойному basketballно-спортивного вида парню лет тридцати пяти — пошел не только за таблетками, но еще и в надежде узнать, как умирали Фурасов, каков окончательный диагноз.

Врач — словно чувствовал вину — даже разговорился, против ожидания свободно. «Он ведь был почечный, а почечные дела не предсказать. Я на «скорой» работал, знаю». Оттого он и разговорился, что ему надо было распространить, вбить нам в сознание определенный взгляд на смерть Фурасова.

Я слушал и помнил, что этот вот долговязый не давал уже слабющему человеку освобождение от работы — до последнего дня не давал! — и еще за три дня до смерти заявил, что Фурасов «практически здоров» — так Денисыч и закрипел в ночь после обычного рабочего дня. «За станком умер», — говорили эски... И вот сидел я рядом с этой тусклостью и опять чувствовал не ненависть, а тоску. «Мы ведь тоже тут мало можем», — так он говорил, и я думал, что вот сидит врач — какую-то там клятву Гиппократу они, что ли, дают — да не в клятве дело! — ведь вот когда-то хотел лечить людей, на «скорой» работал, спас, должно быть, не одного... и вот пошел сюда работать, не лечить —

но если уж и не убивать прямо, то, по крайней мере, смотреть равнодушно, как они равномерно, спокойно, не торопясь, подталкивают человека к смерти, а другие руководят этим подталкиванием, и стал тоже подталкивать («Мы ведь тоже тут мало можем») — и вот нет Фурасова.

За что? Что он такое сделал? Что мы все такое сделали?

Я сидел и слушал его, и у меня даже желание не появилось сказать ему что-то резкое. Тоска! Но вот мой товарищ Борис Черных — тот не выдержал — в рожу ему закричал: «Убийца!» И отправили Черных в карцер, хоть и сам он в то время грипповал и был в жару, — не сразу, к вечеру пришли в секцию, вынули из постели больного, насильно одели, выволокли. Это было уже совсем рядом. Это уж и меня возмутило — и меня туда же, в карцер, больного с температурой, — чтобы не возмущался.

Смерть Фурасова, двое больных в карцере — зона была возбуждена: «Менты обнаглели!» На следующий день пятнадцать человек не вышли на работу — забастовали... Начальство ответило по-своему: распахали людей по карцерам, приехали еще и начальники сверху — чуть не бунт на зоне! — всех выслушали, всем поугрожали, но и покивали головами, пообещали разобратся, расследовать — и ничего. Глухо. Как было все, так и осталось.

После всех карцерных передышек вышел я на зону уже в январе. Пошел было работать на знакомое кочегарское место. Но почувствовал, что не могу, что еле доволакиваю смену. Сердце, что ли, от полугода малой подвижности сдавать стало? А кому пожалуешься? Врач выслушал — иди, здоров!.. И вот тут-то я и подумал, не меня ли будут теперь спокойно и неторопливо подталкивать к тому краю, за которым исчез Фурасов? А пока меня не было на зоне, исчез за этим краем и старик Бутлерс — тоже до последнего дня работал. И еще один несчастный — язвенник Пушкар, заправдавший северокорейский шпион...

Не моя ли очередь?

Сидеть-то мне еще четыре года с лишком, не считая ссылки.

Уже много позже я не то чтобы узнал, но слух был, за что именно сидел Фурасов: он будто бы искал неизвестные факты биографии Брежнева. И находил. И что же это за факты были такие? Видать, страшным делом занимался Михаил Денисович! Не оттого ли его так быстро и свалили за край?

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО В ГАЗЕТУ «ИЗВЕСТИЯ»

13 февраля 1987 года

В последние дни средства информации Запада сообщают об освобождении в нашей стране ряда политических заключенных. Но отрядное известие это содержит подробности, которые вызывают недоумение, а порой похожи и на прямую дезинформацию. Как освободили? Отвечают: Указами Президиума Верховного Совета от 2 и 9 февраля. О чем Указы? О помиловании. Причем неоднократно и настоятельно повторяется — кому-то нужно это повторять! — что заключенные писали прошение о помиловании и что их помиловали. То есть перековались политэзки, раскаялись, запросили пощады.

Не могу сказать за всех освобожденных, но что до меня, то здесь прямое недоразумение. Я не только никого никогда не просил о помиловании (т. е. о прощении вины), но и самой-то вины за собой не знаю и не знал никогда прежде — и об этом заявлял неоднократно с момента ареста.

Нет, политзаключенному не все равно, как и при каких обстоятельствах его освобождают. Кому заключение страшнее всего, тот вообще не станет публично заявлять свои убеждения. За это — лагерь, тюрьма. Многие и молчали. И молчат. А и в лагере-то сидели по 70-й, печально известной статье в большинстве своем те, кто не стал молчать — совесть не позволяла. Чего бы теперь-то свобода так уж вздоржала, что дороже совести?

Будучи арестован два года назад за свои литературные работы (и только за литературные работы), я был приговорен к 11 годам лишения свободы — 6 лагерей и 5 ссылки. Поскольку само обвинение и следствие, и суд — все было основано на лжи и беззаконии, я отказался отвечать следовательно, отказался не только участвовать в суде, но и присутствовать в зале суда. Видимо, за это (а к разным разным отношениям) в лагере меня ждал особенно жестокий режим:

в первый же год — почти шесть месяцев карцера и особо строгого камерного содержания во внутривоспитательной тюрьме. По логике событий, накатанной десятками судеб, надо было готовиться к переводу в тюрьму, а подалее будущее было и вовсе туманно... Что же, к любому надо быть готовым, как готовы были те, кто прошел здесь раньше и кто навсегда остался на тюремных и лагерных кладбищах — только за последние два года с небольшим только на одной нашей 36-й зоне умерли 12 человек — это там, где всего-то не более 70 заключенных!

И вдруг все решительно меняется. В конце января в пермском лагере № 36, где я отбывал срок, появился прокурорский чиновник, который от имени Президиума Верховного Совета заявил мне (и других по одному вызывал и говорил), что через две-три недели я буду освобожден и буду дома. Без прошения о помиловании. Без признания своей вины. Прямо так вот и сказал: две-три недели... Неслышанно!

Я — литератор, публицист — был арестован за свои убеждения. И нынешнее освобождение без признания мной вины есть фактическое признание права на те убеждения, за которые прежде сажали. А как еще понять?

Вообще-то говоря, и мне, и многим моим товарищам по зоне прежняя логика развития лагерных событий, ужесточение режима казались в противоречии с логикой событий в стране за последние полтора года. Слово о близком освобождении воспринималось как еще один шаг к наметившемуся просветлению общественного климата...

Что говорить, я рад освобождению. Не только потому, что снова с детьми и женой. Я рад освобождению (а знаю, что и многие другие мои товарищи по зоне тому же рады) потому, что это может и должно означать отказ от политики жесткого подавления сверху всякой не только что критической, но и просто аналитической мысли — отказ от политики, так тяжело угнетавшей творческие возможности нашего общества. Я рад освобождению, поскольку надеюсь, что для нас, для советского общества в целом, наступает время социального мира и творческого сотрудничества, к которому приглашаются все наличные общественные силы — сотрудничество на основе уважения мнения каждого и самого разнообразия мнений.

Я — гражданин своей страны. Я — часть общества. Я наравне со всеми разделяю ответственность и не уступлю эту ответственность за судьбу страны никому и ни при каком условии. Но я готов к широкому сотрудничеству. Вот почему я рад освобождению. Вот почему рады освобождению многие из тех, кто вышел на свободу одновременно со мной.

Вот почему я пошел навстречу просьбе того благовестившего чиновника и написал заявление в Президиум Верховного Совета: «Прошу освободить меня от назначенного мне срока заключения. Не имею намерения наносить ущерб советскому государству, как, впрочем, не имел такого намерения никогда прежде».

Я пошел навстречу социальному миру и сотрудничеству. Пошел, сохраняя свои убеждения. Пошел, потому что знаю, что разнообразие убеждений и мнений и прежде было нужно обществу и теперь не менее необходимо...

И вот теперь кому-то хочется, кому-то выгодно распространить униженный и, может быть, даже провокационный слух, что все не так. Что-де не об уважении к моим (и других освободившихся) убеждениям говорит Указ Президиума Верховного Совета, а лишь о политическом маневре властей, о маневре пешкой в шахматной партии с Западом. И я (как и другие мои сокамерники) не из уважения к новой политике сотрудничества потянулся навстречу, а из рабочего смирения, из страха, из низкого чувства самосохранения. Да кто же поверил этому? Кто же подхватил?

И вот теперь в Указах — речь о помиловании. О прощении... Какую мою вину прощают? Не ту ли, что задолго до нынешних громких речей я проанализировал механизм «теневых» товарных отношений в стране, «технологии черного рынка»? Не ту ли, что до объявления гласности я заявил, что именно в открытом обсуждении общественных проблем — последняя надежда выжить?

Я никогда не был радикалом. Насилие политическое, идеологическое, любое иное — мне отвратительно.

Я говорю об этом не потому, что вот я оскорблен лично и требую удовлетворения. Нет. От меня не требовали отказа от моих убеждений, и я, сознавая, что живу в государстве чиновников, в конечном счете готов примириться и с той чиновничьей лексикой, которая использована в Указе,—

может, там пока и слова-то нет иного, кроме как «помиловать» — пусть!

Нет, оскорбительно не это и не это заставило меня писать. Оскорбительно, что освобождены не все политические заключенные. Многие — самые чуткие, самые душевно ранимые, — предчувствуя вероятность провокации, отказались писать что бы то ни было даже в самой компромиссной форме. Они остались в тюрьмах. Они справедливо ждали от Президиума Верховного Совета последовательного и полного уважения, уважения без условий. И пока не дождались. В московской Лефортовской тюрьме — Алексей Смирнов, Валентин Новосельцев, Валерий Сендеров... В минской или гродненской — Михаил Кукобака... В тбилисском изоляторе — Вахтанг Дзабидадзе, Гурам Гогбаидзе. В Вильнюсе — Альфонсас Сваринкас... В Чистополе — Иосиф Бегун... А сколько всего по стране? Унизительно то, что даже этого мы не знаем точно.

Во многих случаях пока и вообще нет речи об освобождении. Так, не ясна судьба «полосатых» (по каторжной одежде) узников особого режима 36-го пермского лагеря, где среди иных находится писатель Леонид Бородин. Не ясна судьба организатора христианского просветительского семинара Александра Огородникова, отбывающего возле Хабаровска в уголовном лагере свой (третий подряд, без выхода хоть на один день на свободу) многолетний срок. Не ясна судьба преподавателя иврита Юлиана Эдельштейна, заключенного в уголовный же лагерь по ложному обвинению.

Вот почему я обращаюсь через «Известия» к Президиуму Верховного Совета. Пока не освобождены безусловно все политические заключенные, немало остается оснований у тех, кто хочет воспринимать и наше освобождение лишь как маневр. Да и нам остается сомневаться: а не правы ли они?

Уважение государства к свободе убеждений может быть только полным — и тогда уважение будет взаимным. Сотрудничество может быть только искренним — и только тогда оно плодотворно.

Я готов к сотрудничеству. Я ишу социального мира. Я жду освобождения тех, кто пошел на страдания ради своих убеждений. Этого ждут многие и у нас в стране, и в мире.

Бывший политзаключенный
Лев ТИМОФЕЕВ, литератор

Вынужденный Р. С.

Через несколько дней после того, как это письмо было написано и отправлено, стало ясно, откуда пошли унизитель-

ные слухи. Начальник управления информации МИД СССР Г. Герасимов на брифингах начала и середины февраля упорно вбивал в головы западным журналистам, что освобождение политзаключенных произошло в ответ на их «просьбы о помиловании», в ответ на «отказ от противоправной деятельности». И ведь, кажется, ему хорошо удалось убедить корреспондентов, что вот примирились диссиденты, потому их и отпустили. Опасная ложь! Ложь, которую, видимо, запускают те, кому и мысль о социальном мире и сотрудничестве нестерпима.

Заявляю вполне определенно: наше освобождение есть факт торжества как раз тех самых идей, за которые люди сознательно шли в тюрьмы и в лагерь. Именно тех идей! Представить же это, напротив, как подавление, как нравственное поражение инакомыслия хотят те, кто сажал нас и два, и пять, и пятнадцать лет назад. Они и теперь мыслят репрессивными категориями. Насколько же они определяют политику, покажет ближайшее будущее.

20 февраля 1987 г.
гор. Москва

Лев ТИМОФЕЕВ

ПОСЛЕДНИЕ ПОКАЗАНИЯ ОБВИНЯЕМОГО

Я мало что знаю о собственной жизни. Я плохо вижу. В ежедневном течении явлений и событий мне дано увидеть только поверхность, только внешнюю сторону, только само движение — но суть происходящего остается закрытой — тайна! Сколько должно пройти времени, чтобы хоть чуть приоткрылся смысл происходящего с нами сегодня, — годы? десятилетия? века? Или должна завершиться вся История в целом, чтобы в ней вполне определились смысл и гармония каждой отдельной жизни? Почему мне удалось сделать эту книгу? Не знаю.

Я не раз задумывался, кто я такой. И чем старше я становился, тем менее заносчив был мой ответ. И вот как-то в лагере я, кажется, понял вполне. Мне вспомнилось, что некогда Он послал людей в недалекое селение привести молодого осла: «Скажите, что он надобен Господу». Вот я себя и чувствую тем ослом, которого отвязали и повели — для чего-то он надобен Господу. Я иду и не задумываюсь, куда и для чего именно. Все равно не понять — тайна!..

Май — июнь 1987 г.



АБИТУРИЕНТ-
91, 92

- Глубокие знания и прочные навыки,
 - уверенность в своих силах,
 - возможность индивидуального обучения у ведущих преподавателей столицы
- вы приобретете,
обучаясь по оригинальным методикам кооператива

«МОСКОВСКИЙ ЛИЦЕЙ».

«МОСКОВСКИЙ ЛИЦЕЙ» — это ассоциация высококвалифицированных преподавателей, обладающих большим опытом учебной, методической и репетиторской работы. Эффективность наших программ подтверждена многолетней практикой вступительных экзаменов. ЗАОЧНАЯ ФОРМА обучения предусматривает:

- обеспечение абитуриентов учебно-методическими пособиями и контрольными заданиями по любым предметам школьной программы;
- объективную оценку знаний и способностей каждого;
- систематизацию знаний, углубленное изучение наиболее трудных тем и вопросов;
- обязательный систематический контроль в течение всего года;
- индивидуальную работу с каждым абитуриентом;
- учет специфики выбранного вами вуза.

Если вы сомневаетесь в выборе будущей профессии, вам поможет система ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТЕСТОВ кооператива «Московский Лицей», которая позволит выявить ваши склонности и определить наиболее перспективные направления профессионального роста.

Для получения дополнительной информации об учебных программах, порядке и условиях обучения направляйте заявки с указанием необходимых вам предметов по адресу:
125190, Москва, аб. ящик № 140.

Не забудьте вложить в свое письмо конверт с вашим адресом.

Для абитуриентов-москвичей и жителей ближайшего Подмосковья с сентября действует очная форма обучения.

Телефоны: 457-26-75, 158-18-89, 299-99-56.

Зачисление на заочную и очную формы обучения в течение всего года.

Андрей КУЧАЕВ

НОВЫЕ КОЛУМБЫ

I

Почему я не еду в Америку?

Одно время я хотел укатить в Америку. Допекла семья — жена и дети. Все время называли меня дураком и требовали денег. Я стал дерганым, потерял сон, начал даже прикладываться к пиву.

Однажды в пивной хороший человек в разных валенках, дамском ватнике и собачьем треухе выслушал меня внимательно, не перебивая, вздохнул понимающе и дал бесплатный совет:

— Пошли ты их, земля, куда подалше.

— Послать-то я их, положим, пошлю. Да куда же они пойдут? Все у меня прописаны, а квартира — дрянь, неразменная...

— Тогда сам уезжай! — решительно заявил собачий треух. Он допил пиво, поморщился, давая понять, что оно разбавлено.

— Куда я поеду? — Я тоже допил пиво. — Мой трест через дорогу. А в других местах кому я нужен? Своих тунеядцев хватает.

— А ты рвани куда-нибудь подальше! — Треух заглянул с сожалением в кружку, давая понять, что и разбавленное пиво ему по нутру.

Я сходил и принес две новые кружки, как бы призывая развить у собеседника понятие, выраженное словом «подальше».

— Поезжай ты, земля, — треух отхлебнул с удовольствием, — в Америку. Вот что я тебе скажу.

— Почему туда? — изумился я, забыв сделать глоток.

— Потому что Америка далеко, и там тебя никто не знает. Глядишь, и устроишься... И потом там пиво не бавят. Факт.

Мне его совет чем-то понравился. Действительно, там меня никто не знает, может, устроюсь. Во-вторых, семейка от меня отвяжется наконец. И в-третьих, там, наверное, все-таки не разбавляют пиво. Решено! Еду.

От принятого решения мне стало как-то легче. В тот день я пришел домой в приличном расположении духа, и семье не удалось испортить мне кровь. К тому же по ящику показывали вполне приличные кино и спорт.

Весь тот месяц у меня было хорошее настроение. Весь тот год. Не

тянуло даже выпить пивца. Я уж стал забывать своего советчика, просто думал про себя: «Если что — махну». На работе стал оживленнее включаться в общий трудовой порыв, и это было замечено товарищами. Семья слегка сбавила обороты в смысле хамства. Мучило только одно: необходимость когда-нибудь собраться в дальний путь.

Я поделился своими тревогами с соседом, с которым курим на одной площадке у одного ведра. Тоже отец, муж, зять и прочая.

— С билетами будут трудности, — сказал сосед после глубокой затяжки. — С оформлением.

— Думаешь? — спросил я, чувствуя что-то вроде облегчения.

— Знаю. У меня братан собирался туда же. Плюнул. Морока.

Мы докурили, и я подумал уже у себя на кухне: «Действительно, морока».

Однако мысль все же где-то грела: «Допекут — рвану!»

Вчера встретил своего давнишнего советчика из пивной. Он шел без треуха, хотя опять в разных валенках. Его вели два милиционера, а третий нес собачий треух моего случайного друга.

Увидев меня, он радостно кинулся ко мне, насколько позволяли объятия власти, и завопил:

— Земеля! Друг! Ты туда или оттуда?

— Оттуда, — почему-то смутившись, буркнул я.

— А я туда! А я туда!

И он, впереди своего треуха, исчез за поворотом.

II

Почему я еду в Америку?

С некоторых пор меня преследовал один и тот же сон. Будто я сажусь на самолет и еду в Америку. Я думал, отчего бы это? Почему снится такое? Что, мне здесь, в моем родном городе плохо? В родном Отечестве? Да ничуть! Сейчас как раз, наоборот, мое время настало. Я ведь от природы менеджер. Мне так еще отец говорил, когда я ему из своей копилки давал под проценты на опохмелку. «Ты менеджер у меня, Сашка», — говорил отец. Есть у меня эта жилка. Бабушка моя, покойница, тоже во мне это подмечала. «Сходи, Сашенька, в аптеку, лекарство у меня кончилось». «Рупь», — говорю. «Ну и деловой ты у нас какой, Сашенька!» — говорила бабуля-покойница. А потом я уже с матери брал. Червонец — ночь. Сидеть с бабкой. По тарифу сиделок. А куда они делись бы? Отец выпивоха, а мать в ночную смену часто ходила для заработка. Кто с бабкой останется? В школе тоже подмечали. Я кассу взаимопомощи организовал. Тоже с процентами, закладами, выкупами и прочим. «Жук ты, Сашка», — говорили. А платили. Школу окончил, сразу две профессии приобрел — холодильники чинить и телевизоры. Хватило заработков, чтобы от военкомата откупиться. Обошелся без армейских будней. Купил машину, взялся за извоз. Чинно, отво-

жу, привожу, а тогда ведь никакими кооперативами и не пахло! Купил дачу, построил гараж, сдал халтурщикам в аренду — тачки после аварий к жизни возвращать. Под процент с их прибылей. Потом поделился с участковым и фининспектором информацией и доходами. Ребятишек прижали, они ко мне. Я назвал сумму. Или под суд. Куда им деться? Стали на меня работать, чтобы погасить. А ведь не пахло никакими хозрасчетами и подрядами. А уж когда запахло... На пять фронтов стал работать. Сам пригонял машины, принимал заказы, третьего рабочего нанял. Кислород, ацетилен — все везли. Запчасти, жестянку, краску — все в рамках кооператива «АХ». Тайная расшифровка: Александр Хреновников. Второй фронт — цветы. Лампы дневного света плюс ксенон и прочие инертные газы — осветил подвал, стеллажи с корнями и луковичками, пошло дело. Ну, а где цветы, там и шампиньоны — третий фронт. Жена на рынок возит. Теща помогает: цветы, грибы, огурцы да помидоры ранние — четвертый фронт — две теплицы. Я сижу с видаками, один смотрю, второй пишет — пятый фронт, торговля фильмами новейших западных суперлент, доход немалый, кооператив «АХ». Как тут не ахнешь? Стал устывать. Встретил хороших людей, ослаби визовые барьеры, пошли совместные предприятия. Организовал советско-швейцарское «АХ» и «ОХ». «ОХ» — это швейцарские дела, не знаю, как расшифровывается, и не собираюсь изучать швейцарский. Они мне — компьютеры, я им — опилки. Опилки местная мебельная фабрика плюс деревообделочный комбинат возят для меня прямо на причалы порта Находка. Ну, бывает, в опилки пустяк какой зароешь, таможенники тоже люди живые. Самоходная установка или зенитная — по конверсии чего не купишь под горячую руку. Вот тут и стали мне сниться эти чертовы сны. Я их гоню — что мне делать в ихней Америке? Там акулы — не чета нашим. Там биржа. Там секунды решают все. Опять же без языка. А тут у меня дача, сауна, бассейн под землей. Двухэтажная квартира и две квартиры на подставных. В любом кабаке мне рады, как мессии. В «Арагви» кабинет стоит, как пароход под парами. В Хаммерцентре только шепни — Хреновников! — сразу вся челядь навтыжакку. Даже та, что в форме. А что я буду иметь в этой Америке? Шни с маслом, вот что. Там кустари вроде меня сразу — под каток конкуренции. Идти в таксисты — четыре тысячи долларов в месяц. Здесь я имею в день столько. Во все фонды шлю, всем инвалидам, обездоленным и сиротствующим. На храм даю, на памятники, на экологию, лишь бы деньги хоть как-то уходили. А они все равно множатся. Рэкет только ахает и охает: кооператив «АХ» и «ОХ» — непотопляемый авианосец теневой экономики. А что я могу сделать?.. Но снится эта чертова Америка и все! Всех экстрасенсов перепробовал, всех телепатов

и прочих гипножуликов. Все швейцарские медикаменты глотал — снится! В подробностях: вот беру билет, вот сажусь в самолет, взлетаю, вот статуя Свободы под крылом приближается в своем колючем кокошнике...

Посоветовался с одним в пивнухе. Так, люблю с народом постоять за кружечкой пивка. «А ты, земля, езжай в энту Америку, вот и не будет снится». Действительно, тогда чему ж снится? Когда все достигнуто, статую Свободы из окна смотри — не хочу! От этой мысли мне стало легче. За две штуки купил очередь на билет, за пять — вызов. Приехал в аэропорт: в чемодане только дозволенное золото, в изделиях. Немного камней по разным местам. Кое-что удалось перевести по почте, что-то увезли знакомые, что-то швейцарцы

помогли устроить, еду не бедным. Но все равно что-то скребет. Поделится с одним в очереди на таможенный досмотр. Оказалось, профессор, на симпозиум летит. Он посмотрел на меня, подумал. Ответил уже в самолете, когда мы зависли над океаном. «Знаете, — говорит, — вас волнует, что вам будет снится в Америке». Вот как сказал. Огорошил. С этим я и заснул. Просыпаюсь — под крылом статуя Свободы в своем колючем, как вы догадались, кокошнике. Смотрю и вспоминаю, что же мне снилось только что? И знаете, что? Ни за что не угадаете — тот малый из пивнухи! Стоит и соль в пиво сыплет. Неужели теперь он мне каждую ночь будет снится со своим дурацким пивом? Это ведь задвинешься! И зачем я тогда вообще еду в Америку?!

Михаил КУДИНОВ

СЮР

Шли по дороге ноги,
Шли не по той дороге,
А по какой дороге,
Сами не знали ноги.
А руки? Что делали руки?
Томились они от скуки,
Порой подменяли ноги
И тоже шли по дороге.
Шли не по той дороге.
А по какой дороге?
Об этом, как стало известно,
Не знали ни руки, ни ноги.
И голова не знала,
И только глазами моргала,
И только вздыхала: «Ой, худо!
Кажется, я пропала».

ЧТО ПОСЕЕШЬ

Ни прямо, ни косо,
Ни в ночь и ни в день
Посеяли просо,
А вырос ячень,
Посеяли вику,
Пожали овес...
Что было тут крику!
Что было тут слез!
Что тут говорилось!
(И все невпопад...)
Как это случилось?
И кто виноват?
И как тут посмеешь
Воскликнуть: «Ну что ж!
Что посеешь,
То и пожнешь».

КОТЕЛОК

Жил на свете котелок,
котелок,
Все смотрел он в потолок,
в потолок,
Мух считал он день и ночь,
день и ночь.
День прошел, и ночь прошла —
сутки прочь.
Сутки прочь, а супа нет,
каши нет...
Где же завтрак? Где обед?
В чем секрет?
И ответил котелок,
котелок:

«Сам ты смотришь в потолок,
в потолок,
Посмотри-ка лучше ты
на меня:
Что сварю я без воды
и огня?
Как же ты понять не смог,
в чем секрет?
Раз не варит котелок,
ничего
нет!»

НЕСОВМЕСТИМОСТЬ

Не хотели кролики
В крестики и нолики,
В крестики и нолики
С тиграми играть.
Тигры удивились,
Тигры огорчились,
Стали тигры кроликов
В гости звать.
Звали что есть мочи,
Звали днем и ночью,
Сколько, между прочим,
Надо повторять:
«Приходите, кролики,
Сядем мы за столики,
В крестики и нолики
Будем мы играть».
И опять на это
Не было ответа;
Как ни огорчительно,
Но пришлось признать:
Не желают кролики
В крестики и нолики,
В крестики и нолики
С тиграми играть.

ОГОРОДНАЯ

Сажали в огороде
Петрушку и горох,
А вырос в огороде
Один чертополох.
Среди чертополоха
Два пугала стоят,
Ворон пугают плохо:
Работать не хотят.
Два пугала друг друга
Пугают целый день,
Но даже от испуга
Им шевелиться лень.
А шапки их линяют,
На пятаках вырос мох...
Ох! Плохо охраняют
Они чертополох.

В НОМЕРЕ:

Проза

Игорь БАСЫРОВ. Сказка о Нездешнем городе. *Повесть* (2)

Леонид БОРОДИН. Расставание. *Роман. Продолжение* (18)

Владимир ВОЙНОВИЧ. Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина. Книга вторая. Претендент на престол. *Окончание* (35)

Поэзия

Виталий КОРЖИКОВ (17), Геворг ЭМИН (56), Юрий КАЗАРИН (56), Виталий АМАРШАН (57), Илья ФОНЯКОВ (58)

Наследие

Николай СТЕФАНОВИЧ (59)
Иван ИЛЬИН. Наши задачи. *Предисловие С. Хоружего* (60)

Публицистика

Лев ТИМОФЕЕВ. Я — особо опасный преступник (72)

Культура и искусство

Два билета на бал-базар (33)

Зеленый портфель

Андрей КУЧАЕВ. Новые Колумбы (95)
Михаил КУДИНОВ. Иронические стихи (96)

Рукописи объемом менее авторского листа не возвращаются.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в издательство «Правда» по адресу: 125865, Москва, А-137, ГСП, ул. «Правды», 24.

Оформление первой страницы обложки
Вадима и Владислава Игониных
Главный художник Олег Кокин
Художник Юрий Цишевский
Технический редактор Ольга Трепенюк

Сдано в набор 04.06.90. Подп. к печ. 25.06.90. А 09 989
Формат 84×60¼. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 11,68.
Усл. кр.-отт. 19,53 Уч.-изд. л. 17,75.
Тираж 3 100 000 экз. Заказ № 2 357.
Цена 70 коп.

Адрес редакции: 101524, ГСП, Москва, К-6,
ул. Горького, д. 32/1.
Телефон для справок: 251-31-22.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции
типография имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда».
125865, Москва, А-137, ГСП, ул. «Правды», 24.

© Издательство ЦК КПСС «Правда»,
«Юность», 1990 г.



На стендах «ЮНОСТИ»

Нина ДАНИЛЕНКО г. Кишинев.

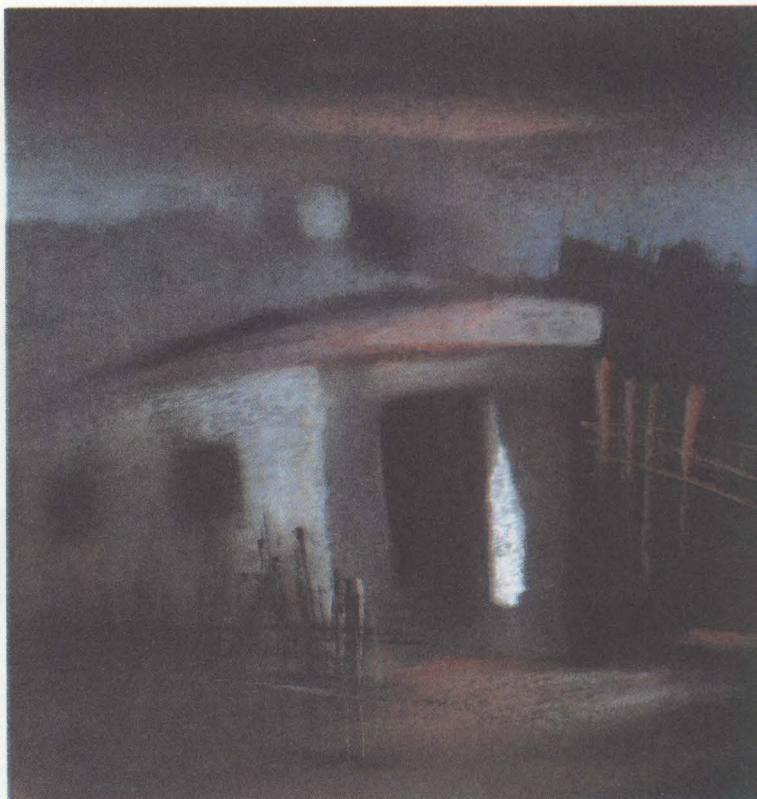
Возможно ли сказать о таинстве искусства художника? Я полагаю, что возможно, глядя на нее, созерцая живопись художника Нины Даниленко.

В Подмоскovie у колдовского озера Сенеж, в местах, где обитал Александр Блок, в Доме творчества художников, я увидел впервые ее живопись на одном из добрых, незапамятных вечеров-встреч молодых художников. Увидел утонченные, изысканные, нежно-перламутровые пастели и ее — устремленную, ушедшую в самое себя, в свой мир сопереживаний, духовности и милосердия. Сопереживание, сочувствие к близкому другу, к щенку в доме, птице в небесных далах, к созвездию в вечности космоса и, конечно, к миру ребенка, к непреходящим ценностям счастья материнства юной мамы. И во всех работах — тревога и боль за хрупкость этого мироздания, боль от возможных и реальных потерь и утрат. И мольба, мольба за слабое, легко ранимое, незащищенное существо, живущее в этом земном, но жестоком мире. И молитва, не церковная «Спаси, Боже», а молитва убеждающая — «О, сотвори себя сам, человек!». Если тебе действительно имя Человек.

Уставшая от пустословия о добре и зле, о морали и аморали, о чести и бесчестии, от мертворожденных догм, художник своим творчеством приглашает в мир таинства.

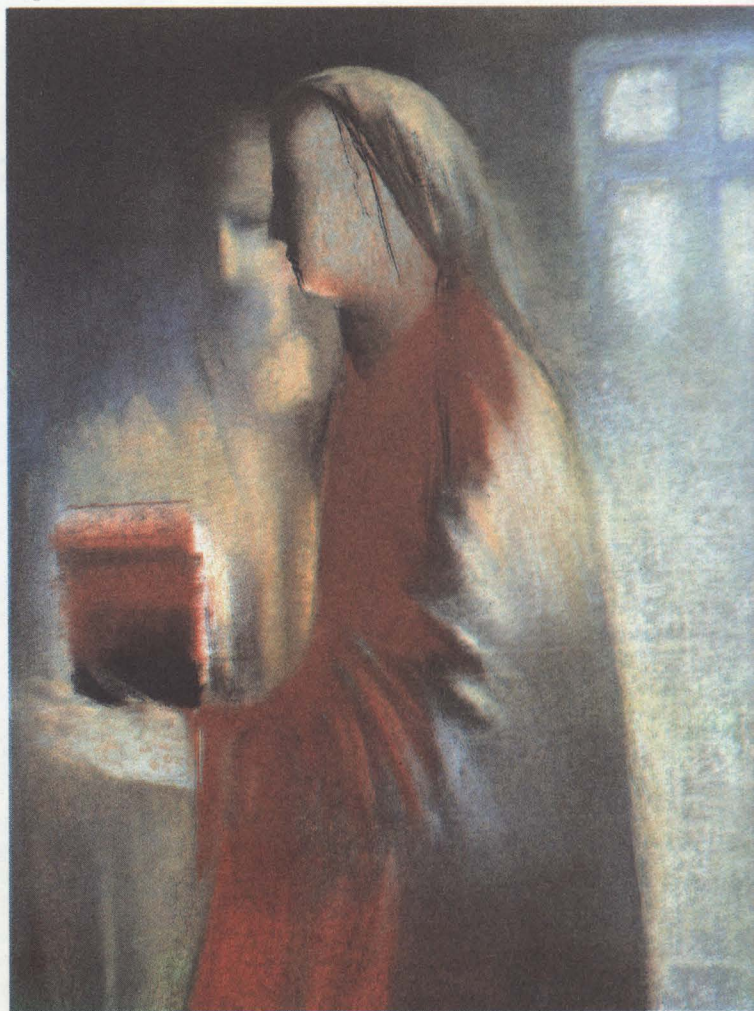
Экспозиция в нашем журнале Н. Даниленко, лауреата Всесоюзной выставки графики, приоткрыла нам необычное, первозданное явление природы — художника с верою в красоту юного, чистого таланта.

Народный художник РСФСР
И. ОБРОСОВ



«Пустой дом»

«Красное вино»



Научно-методический и учебно-консультативный центр «ЭРУДИТ» предлагает:
**НОВИНКУ — ИНФОРМАЦИОННЫЕ СБОРНИКИ
«МОСКОВСКИЕ ВУЗЫ И ПОДГОТОВКА В НИХ»**

В сборник включаются конкретные сведения об интересующем вас вузе, конкурсе, проходном балле, вариантах письменных работ, рекомендации по подготовке к экзаменам, информация по обучению интересующей вас специальности в вузах Москвы. Стоимость сборника — 15 рублей.

Если **ВЫБОР СПЕЦИАЛЬНОСТИ** представляет для вас трудность, психологи центра и преподаватели вузов предлагают **ПРОГРАММУ «ТЕСТ»**.

С ее помощью вы можете лучше узнать себя и свои возможности. Стоимость тестирования — 20 рублей.

ЦЕНТР «ЭРУДИТ» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОДГОТОВКУ по математике, физике, химии, биологии, истории, обществоведению, русскому языку и литературе, английскому языку по **ЗАОЧНОЙ СИСТЕМЕ**. Стоимость заочного обучения по одному предмету — 80 рублей.

Для москвичей на протяжении всего учебного года в центре «Эрудит» проходят **ОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ** в различных районах Москвы. Жители Подмосковья имеют возможность заниматься по **ЗАОЧНО-ОЧНОЙ СИСТЕМЕ**.

Для получения интересующего вас сборника, тестирования, зачисления на заочную подготовку необходимо сделать почтовый перевод (в размере указанной стоимости) по адресу:

123458, г. Москва, ул. Таллиннская, д. 22, центр «Эрудит».

На бланке почтового перевода в отведенном месте для письма необходимо указать:

1. Фамилию. Имя. Отчество.
2. Свой почтовый адрес с указанием индекса.
3. Для услуги по информации укажите интересующий вас вуз.
4. Для заочного обучения — вуз и предметы, по которым необходима подготовка.

Абитуриентам-москвичам следует обращаться по телефонам:
944-45-90, 190-79-19

Совместное советско-американское предприятие «ЭЛЬБА»
и PASIFIC FIDELITY Corporation (California, USA)
предлагают содействие желающим заключить брачный союз
с гражданами США.

Поступающая информация обрабатывается
на компьютерах СП «Эльба»
и включается в сетевую базу данных брачных фирм США.

Письмо в наш адрес
(117342, Москва, СП «ЭЛЬБА») должно содержать:
АНКЕТУ: имя, отчество, фамилию, дату рождения,
образование, профессию, рост, вес, наличие детей,
вероисповедание, национальность, увлечения,
знание языков, адрес, телефон,
какие качества цените в мужчине;
четыре фотографии (две в полный рост);
квитанцию о переводе через отделение Сбербанка
(или по почте) 35 рублей на расчетный счет № 609316
в Строительном отделении Жилсоцбанка г. Москвы,
МФО 201575, СП «ЭЛЬБА».

При получении приглашения в США для личного знакомства
расходы на авиабилеты,
проживание и сервис производятся за счет фирмы.

